

Н О В Ы Й

М И Р

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И**

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

**К Н И Г А
П Я Т А Я
М А Й**

М О С К В А
4 . 9 . 3 . 0

Главлит А 64.876.

СТАТ – формат 5

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Степанова „Известия ЦИК СССР и ВЦИК“. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Ник. АСЕЕВ.—Последний разговор, <i>стихотворение</i>	5
2. Леонид ЛЕОНОВ.—Соть, <i>роман</i> , окончание	12
3. Дм. СВЕРЧКОВ.—В десятом часу, <i>повесть</i>	37
4. Мариэтта ШАГИНЯН.—Гидроцентраль, <i>роман</i> , продолжение	59
5. Ал. ТОЛСТОЙ.—Петр Первый, <i>повесть</i> , продолжение	75
6. И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ.—Заморские рассказы	101

ЛЮДИ И ФАКТЫ:

7. И. МАЙСКИЙ.—Страницы прошлого	120
8. А. АЛЕШИН.—Стертые лики, <i>очерк</i>	127
9. С. ВОРОНОВ.—Из прошлого и настоящего Академии Наук	135
10. К. САМОЙЛОВ.—Красный флаг в океане, <i>очерк</i> , с иллюстр.	149

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

11. Арк. ГЛАГОЛЕВ.—О художественном лице «Перевала»	157
12. Ф. РОГИНСКАЯ.—К вопросу о пролетарском стиле, с иллюстр.	171
13. И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ.—В. Хлебников и футуризм (к выходу II тома собр. соч.)	187
14. И. СЕРГИЕВСКИЙ.—Путешествие по неведомому	196

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

Сергей ВЬЮГИН.—«Московские мастера»	201
Георгий ШТОРМ.—К. Шильдкрет «Гораздо тихий государь».	203
Борис ГРОССМАН.—Ив. Трусев «Собственник»	203
Ник. СМИРНОВ.—Зинаида Рихтер «Это и есть Москва».	204
Н. ЗАМОШКИН.—Иван Рахилло «Воспоминания Пушкина»	205
Виктор ГОЛЬЦЕВ.—П. Скосырев «В стране белого золота».	205
Н. ПРЯНИШНИКОВ.—В. А. Поссе «Мой жизненный путь».	206
И. СЕРГИЕВСКИЙ.—Н. О. Лернер.—Рассказы о Пушкине».	207

Последний разговор

НИК. АСЕЕВ

Володя!
Послушай!
Довольно шуток!
Опомнись,
вставай,
пойдем!
Всего ведь как несколько
кущих суток
Ты звал меня
в свой дом.

Лежит
маяка подрытым подножьем,
на толпы
себя разрядив
и помножив.
Бесценных слов
транжира и мот,
молчит,
тишину за выстрелом тиша,
но я
и сквозь дебри
мрачнейших немот
голос,
меня сотрясающий,
слышу.
Крупны,
тяжелы,
солоны на вкус
раздельных слов
отборные зерна,
и я
прорастить их
слезами пекусь
и чувствую —
плакать теперь
не позорно.
От гроба
в страхе
не убегу:

реальный,
 я сберегу поэтусторонний,
 их гул
 в мозгу,
 что им
 навеки заронен:
 — Мой дом теперь
 не там, на Лубянском,
 и не в переулке
 Гендриковом;
 довольно
 тревожиться
 и улыбаться
 и слыть
 игроком
 и ветренником.
 — Мой дом теперь —
 далеко и близко,
 подножная пыль
 и зазвездная даль;
 ты можешь
 с ресницы его обрызгать
 и все же —
 вовеки не увидеть.
 Сказал
 и — гул ли оркестра замолк,
 или — губ чугуна —
 на замок.

Владимир Владимирович,
 прости — не пойму.

От горя —
 мышление туго.
 Не прячьтесь от нас
 в гробовую кайму,
 дай адрес
 семье
 и другу.

Но длится тишь
 бездонных пустот
 и брови крыло
 недвижимо.

И слышу:
 крепче во мне растет
 упор
 бессмертного выжима.
 — Слушай!
 Я лягу тебе на плечо
 всей костной
 тяжестью гроба,

и если
 плечо твое
 живо еще, —
смотри
 и слушай в оба.
Утри глаза
 и узнать сумей
родные черты
 моих семей.
Они везде,
 где труд и учет
куда б ни шагнув,
 пошел ты;
мой кровный тот —
 чья воля течет
не в шлюз
 лихорадки желтой.
Ко мне теперь
 вся земля приближена.
Я землю
 держу за края.
И где б
 ни виднелась
 рабья хижина —
она —
 родная моя.
Я ночь бужу,
 молчанье нарушив,
коверкая
 стран слова
я ей ору:
 — Берись за оружие
пора,
 поднимайся,
 вставай!
Переселясь
 в просторы истории,
перешагнув
 за жизни межу, —
не славы забочусь
 о выпрленном вздоре я: —
дыханьем миллионов
 дышу и грожу.
Я так свои глаза
 расширил,
что их
 даже облако
 не заслонит,
чтоб чуяли
 щелки, заплывшие в жире, —
чь е й?

зоркостью
 я
 знаменит.
 Я слышу
 с моих стихотворных орбит
 крепчает
 плечо твое хрупкое:
 ты в каждую мелочь
 нашей борьбы
 взглядишь,
 не забыв про крупное.
 Пусть будет тебе
 дорога одна —
 где резкой ясности
 истина,—
 что всем
 пролетарским подошвам
 родна
 и неповторима
 единственно.
 Спеша на нее
 и крепче держись
 вплотную
 с теми,
 чье право на жизнь.
 Еврей ли,
 китаец,
 негр ли,
 русский ли, —
 взглянув на него,
 не бочись,
 не лукавь.
 Лишь там оправданье,
 где прочные мускулы
 на крепко сжатых
 в работе руках.
 Если же ты,
 Асеев Колька,
 которого я
 любил и жалел,
 отступишь хоть эстолько,
 хоть полстолько,
 очутишься
 в межпереходном жулье, —
 если попробуешь
 уместаться, —
 жизни похлебку
 кой-как дохлебав, —
 под мраморной задницею
 мещанства
 на их

доходных
если ослабнешь в меру хлебах,
сдашь, хотя б немножко
заюлишь, отшатнешься назад,
погибнешь, свернувшись,
как мелкая мошка,
в моих — рабочих —
всесветных глазах.
Мне и за гробом
мне и из праха придется драться,
вон они — придется крыть:
некоторые в демонстрации
медленно проявляют прыть.
Их с места сорвал
всеобщий поток,
понес
они спешат из подкорья рачьего,
чтоб вновь подвести мне итог,
назад поворачивать.
То ли в радости, то ли в печали
панихиду по мне отзвонив,
обо мне — как при жизни молчали —
так и по смерти оглэхнут они.
За ихней тенью, копя плевки,
и что
всего отвратительней, —
на взгляд простецкий
правы и ловки —
двудушья тайных вредителей.
Не дай им
урну мою
заплюнуть.
Зови товарищей

Осю и Семку,
 бригада в цепи!
 На помощь юность!
 дорогу
 ко мне
 моему потомку!
 Что же касается
 до этого выстрела, —
 молчу.
 Но молчаньем
 прошу об одном:
 Хочу,
 чтоб река революции
 выстирала
 это единственное
 мое пятно.
 Хочешь знать,
 как дошел до крайности?
 Вся жизнь
 в огневых атаках
 и спорах,
 долго ли
 на пол
 сразмаху грянуться
 если под сердцем
 не пыль, а порох.
 Пусть никто
 никогда
 мою смерть
 (голос тише,
 слух грубей)
 кто меня любит,
 пусть не смеет
 брать ее...
 в образец себе.
 Седей за меня,
 головенка русая,
 на страхи былые
 глазок не пяль
 и помни:
 поэзия — есть революция,
 а не производство
 искусственных пальм.

Смотрю
 на тучу
 пальто поношенных,
 на салогов
 многое множеств...
 Нет!

Он не остался
и тише
разлуки тревогой
тревожусь.
один-одинешенек

Небо,
которое нелюдимо
вечер
и две полосы
как два
раскинутые рукава,
в мелкую звезду оковал,
уходящего дыма,

С о т ь

Роман

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

(Окончание ¹)

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Нагоняло ветром воду в Соть наплывали слухи на деревни. Первее всех набежал шопоток, будто замиренье все-таки не состоялось, потому что воспротивился тому сам Березятов. Приговаривали, будто и не убит вовсе, а прострелена лишь тень его; сам же просидел все советские годы в погребу у шонохского старовера и, гадая по подземным звукам, ждал лишь поры, когда ему вернуться к прежнему ремеслу. Кстати припомнилось темное пророчество одного колченогого бродяжки, который, шагая с Волыни на Печору, вздумал навестить и тишайшую Соть. «Отрождается овес на девятые шутки, а рабенок на девятый месяц, — извещал бродяжка, почесывая вшивый затылок под собачьим малахаем своим, и все благоговейно находили, что похожи на диковинные стручки иссохшие его пальцы. — Воротитсе сынель шотландская на девятый год, и тоды будет большая кровь». Ясно было, про Березятова вещал, но то ли часы у героя в подвале остановились, то ли не выпалось его побитое воинство, запоздал Березятов со своим возвращеньем на Соть. В страхе верит мужик и деревяному скрипу, и куриному пенью, и тугнивому вранью.

Чем больше укорачивался день, тем тревожней становились ночи. Кургузые облака застилали сотинское небо, и бродяжка, сунув вверх свой указательный стручок, об'яснил однажды, что то и есть тени березятовского воинства, так как тени мертвых отражаются на небесах, и опять верили. Тут бы и взыграть Виссариону, потому что не особо дальней родней приходился Березятов его Атилле, но в том и была их совместная ошибка, что не прежнюю деревню заставлял теперь Березятов. Покидая Соть, все оглядывался пророк на тень свою, тут ли она, но та бегла за ним пока верней собаки... Деревня расщепилась, и из роща, все шире раздвигая его, новая выбивала людская поросль. Да и

¹) См. «Новый Мир», кн. кн. 1, 2, 3 и 4 с. г.

тех, кто еще качался на древнем корени, постепенно прямою выгодой засасывала сотинская стройка. В числе других двухсот, нанятых с подводами развозить опалубку на Сотьстрое, был один такой, Матвей Кискин, славный тем одним, что болел холерой и выздоровел. Первого октября на рассвете вышел Матвей коня кормить, а сарайные ворота настежь, и как бы вопит сарай всем своим раскрытым зевом. Выскочил Матвей на улицу, рот разет и глаза на выпуке, заорал лошадиным голосом, и тут встретился ему неубитый Прокофий Милованов:

— Чего квохчешь не по времени, тетерев? — пошутил.

— Милый, не я — конь мой орет. Овса четыре мешка у меня покрали... на колесах приезжали, бандюги. Меня-то за что, рази я советский? — с огорченья запомятовал Матвей, что за языки-то и вылавливают березятовское племя.

— Бандит, где он живет? — молвил Милованов, грузно упираясь взглядом, точно локтем, в самое Матвеево переносье. — На коне живет, конь ему дом и родина. И надо ему дом топить, чтоб не погибнуть досрочно. Ну, и терпи, от своего терпишь!

Так и случилось, как Пронька предполагал: на дыбы Матвей округу поднял. Как везли воры Матвеево добро, то сочилось из дырявого мешка по три зернышка; на шестой версте, когда заметно отошал мешок, спохватились воры и, обвязав копыта коня тряпицами, ехали дальше как придется, полем и болотом; путляла и обманывала осенняя колея. Этим следом и пошла облава; впереди собачкой бежал Матвей; стоило ему труда не залаять. На заре отыскали место: стлался низом костерный дым. Розовую тишину, одновременно не меньше восьми, долбили дятлы. Мужики ящерами поползли на животах, влача по хвое, как хвосты, свое домодельное оружие. Земля пахла махоркой и грибом. На постеле из елового лапника спала вповалку березятовская вольница; жестяной чайничек своеобразно коптился над огнем, единственный страж спящих. Не сдержав в себе военной отваги, Матвей выскочил из засады и в свирепом восторге закричал ура. Была свалка, выстрелы, брань и грузный топ погони...

...из растоптанного костра отвалился уголек. Малая искрица стала точить себе норку, чтоб отыскать угреву от ледовитого ветра. В прелых волокнах гнилушки вздулась она, и тотчас сотня юрких красных паучат разбежались от нее по сторонам. Некоторые гибли, но десятки во-время начали свое огненное размноженье. Гнилушка лениво закурилась дымком, и вдруг, точно одевшись в красную рубаху, кусток сохлой можжухи трескуче и пламенно вскинулся вверх. Жгучие комары засновали между стволов, а по хвойнику все ползло, множась и раскаляясь, паучиное потомство. Ветер гнал его вперед, они шипели, выкидывая тонкие рыжие жала. Скоро за клеткотом огня не слышна стала отдаленная пальба погони. На короткий миг в подобье шемаханскому алому шелку развернулся над лесом огненный лоскут... И опять возвселиться бы Атилле, имевшему притти в пламени и разореньи, но была осень.

Сравнимые только с бабами на сносях, собирались над Сотью облака. Получасом позже хлынули осенние воды, и невозросшее пламя поникло. Последний, самый живучий из паучков долго суетился у корней, пока не убило его каплей. Все новые наносило с моря глыбы воды, смывало с деревьев непрочную зелень; имелось на Балунии местечко лиственного леса. Соть линяла, цветная ржавчина пала на ее берега, и, когда Увадьев шел однажды утром мыться на реку, под ногами хрустели растреснутые льдинки зимы.

Тем еще отлично было это утро от прочих, что только теперь закончилась борьба за Сотьстрой, перекинувшаяся из высоких этажей в промышленную печать. Бумага спорила за первенство с металлом, кожей, энергией и обнаруживала несомненное равенство сил. В сущности это был спор стихий, и человеку оставалось лишь направлять течение единоборства. Соображение, что, вырабатывая бумагу, Сотьстрой работал тем самым на культуру, было самым слабым оружием в этой борьбе; одержали верх все те же испытанные потемкинские доводы о пролетаризации Соти. Резолюция говорила о необходимости вывести Сотьстрой в одну шеренгу с важнейшими строительствами республики. Самая сотинская неурядица расценивалась как следствие вынужденной остановки, и этому опыту справедливо придавались укрупненные масштабы. Комиссия полагала, что именно на этом крутом подъеме следует предельно развить скорость, чтоб непрерывным скольжением растереть упадочные настроения, кое-где скопившиеся в стране. В сущности комиссия воспользовалась теми выводами, которые давала ей сама действительность.

Снова наступили рабочие будни; обшивали толем тепляки, рвали подмерзлую землю на месте будущей водонасосной; в губернских известиях еженедельно печатались сводки о ходе строительных работ. Соть уходила как бы в забвенье: сперва одели ее осенние туманы, потом удалило от мира осеннее бездорожье. Выли ветры, точно выли вдовы. При полном бесснежии встала река. Двое суток длилась в природе чудесная и виноватая улыбка, — это была разлука и обещанье; потом пронзительная снежная иголка сыпанула скоса по Сотьстрою. Белая голизна места слепила взгляд. С полудня иголка пременялась на хлопья; воздух стал как сырая тряпка, так тряпкой все и дышали. Сушило и саднило знойким ветром, и Бураго, размечая с Увадьевым место под лесную биржу, низко спустил меховые уши шапки.

— Лепит, Иван Абрамыч.

— Зимишка прет.

После того разговора, пять месяцев назад, им трудно давалось начало бесед; всегда при встречах наедине им бывало неловко, точно однажды видели друг друга голыми. Теперь, может быть, эта метель, отделившая их на час от жизни сыпучей невещественной стеной, и внушала им позыв на новую откровенность; в сущности каждый говорил сам с собой, потому что говорил от одиночества своего. Их шествие сквозь метель по серому расквашенному полю

напоминает прогулку сумасшедших с какого-то виданного однажды рисунка.

— ...семьдесят восемь, восемьдесят. Здесь первый стаккер! — произносит Бураго, остановясь у вбитого колышка, и тычет пальцем куда-то в бок вьюге; кажется, что та шарахается, потому что в тычке инженера заключена сила в триста пятьдесят тонн, — вес стаккера. — Второй мы поставим там, где проходит Ераклин. Монтировать придется в самую распутицу. А все-таки, Иван Абрамыч, в этой стране напрасно ставить сроки: мы привыкли всюду опаздывать...

Тот смеется, не разжимая зубов, и Бураго знает, что означает этот зубной смех большевика.

— Что, социализм напирает очень?.. затормозить бы, а?

Бураго долго стоит в неподвижности, кукольно раскинув руки; на его брюзгливо торчащих усах лежит снег, похожий на хлопья взбитой целлюлозы.

— Я строю заводы, Увадьев, — думает он вслух, — и мне не важно, как вам необходимо назвать это. Я буду с вами до конца, но не требуйте от меня большего, чем я могу. Социализм... да... не знаю. Но в этой стране возможно все, вплоть до воскресения мертвых! — Он вытирает усы прямо рукавом. — Приходит новый Адам и раздает имена тварям, существовавшим и до него. И радуется. Я не умею писать стихов, мое дело строить. Скажете философия суперфосфата? Нет, я не Ренне. Мне еще лет... — Он думает, раздумчиво шевеля пальцы. — Нет, все-таки мне уж много: я помню и французскую революцию и несчастье с Икаром, и библейскую башню, и позвонок неандертальского человека в каком-то французском музее... Вы много моложе меня, Увадьев.

— А вообще, сколько вам?

— Пятьдесят.

— Бураго, есть вопрос. Река пойдет в трубы?

— Непременно.

— Целлюлоза будет?

— Твердо.

— Значит, командные высоты наши?.. Значит, возможно влиять на мелкие товарные хозяйства в стране?

— Вы страшный удачник, Увадьев!

— Так в чем же дело? — Бураго не отвечает. — Кстати, у вас есть где-нибудь дети, Бураго?

— Они умирали.

— А, так...

Опять они идут, зигзагами и петлями, от колышка до колышка, считая шаги и вымеряя место. Матовая от холода, неузнаваемая стоит перед ними Соть.

— Здесь слешера и корообдирки, гут! — и носком сапога, под которым сразу образуется лужица, тычет в снег. — Отсюда конвейера пойдут до самой рубилки. Вы подгоняйте ваших штабных устриц, Иван

Абрамыч. Уже рвут землю, а чертежей все нет. На устрицах Европы не обгонишь!

— Подстегнем, — зубным голосом говорит Увадьев.

— ...тем более, что устрицы не кусаются, — смеется Бураго.

Они идут в противоположный угол поля, где черемуха. Дерево спряталось в снег и потемки, и уже не разобрать до весны — какое. Бураго тычет пальцем в кору, и в ветвях дерева жалобней свистит снег.

— Вы правы все-таки, Увадьев: надо лить бетон, пока не застыл. Я смеюсь, потому что обидно. Тысячу лет мечтали и маялись, а когда пришло это самое, оказалось — устрицы... Здесь второй стаккер. Мне теперь на водонасосную... нам по пути?

— Я провожу вас до ворот. Мне еще к следователю... приехал.

Поле остается позади. Вечер странно укрупняет вещи, каждая стоит обособленно: сарай, дерево, неожиданная в просвете неба звезда; напрасно тщится связать их воедино ветер. На всем лежит глупый, толстый снег. Мир пятнист, и в нем сыро. Кажется, что кричат леса, но это все-тот же ветер зимы.

— Иван Абрамыч, вы совсем не пьете?

— И даже не курю, — признается Увадьев, и ему почему-то стыдно за эту нечаянную искренность.

— Обязательные постановления не распространяются на свадьбы...

— Вы про Горешина? — Увадьев смеется; он что-то слышал про долговязого рабочкомца и машинистку Зою, которая оказалась вполне практической женщиной. — Ну, Горешин меня не позовет...

— Вы ненаблюдательны, как все сильные люди, Увадьев! — В чуть выкаченном глазу Бураго блестит снисходительная искорка.

В снегу вырастают неравные пятна строений. Бураго, не прощаясь, сворачивает вправо; левая тропка ведет в поселок. Он продолжает свой дозорный обход, — путь его сперва на водокачку. Он появляется неожиданно, и дежурный кочегар, смутясь чего-то, торопливей закидывает в топку мокрые поленья. Котел дрожит, сигнализируя явный перегрев, и глаза главного инженера наполняются красными блесками из топки.

— Какое держишь давление?

Шипят лишь поршни, в одышке вскидывая вверх громоздкую тяжесть копра. Кочегар бежит к манометру, Бураго засматривает через его плечо. Перекрутившись на триста шестьдесят градусов, стрелка стоит на нуле. Все благополучно грозным благополучием. Бураго знает: котел работает на запасе прочности. Еще минута и лишний килограмм давления, потом вздуется белый пузырь пара, начиненный грохотом, и тот же манометр яростно вроеется в обнаженную грудь кочегара. «Так случается сто восьмая статья. Следовательно нечего уезжать со строительства... ему найдется постоянная работа!»

— Открой пар, — сквозь зубы кричит инженер.

Тот лезет вверх с проворством отчаянья и передвигает грузик предохранительного клапана; конусообразное ревущее дерево вырастает над котлом. Стрелка идет назад, нехотя минуя злополучные цифры перегрева. Бурого стоит боком к кочегару:

— Зачем вы закрыли клапан, товарищ?

— Фырчит очень... — виновато мигает кочегар.

— У вас нервы, товарищ? — Ему смешно: завтра неврастением заболели солдаты, и государство будет рассылать валерьянку в нефтяных цистернах! Ему смешно, но он не смеется. «Стрелка на нуле, но почему же не лопнул?..»

— Грамотный...?

— Точно так.

— Фамилия...?

— Аксенов.

Единственно для острастки записывая это имя в книжку, Бурого идет дальше, через щепу и снег, арматурные обрезки и снег, цементную тару, полузасыпанную снегом. По зыбким и скользким мосткам он поднимается на стройку, одетую в тепляки. В работе уже третья перекрытие сортировочного отдела. Вокруг электроламп качаются пыльные ореолы. В воздухе висит известковая, мусорная пыль. Пахнет сохнущим бетоном. Взасос хрюкают пилы, мычит усмиряемое железо, гугниво, точно сквозь бороду, бубнят молотки. Бурого идет, и в глазах его последовательно отражается все. Постный старичок в очках огромным циркулем расчерчивает на досках чертежные масштабы. Он строго смотрит на остановившегося Бурого и принимает с полу синий чертежник, которому угрожает грязный сапог инженера. «Почему не лопнул...?» — хочется спросить у старика, потому что тот знает это лучше всех, но старик озабоченно склоняется над чертежом, и Бурого проходит мимо.

По шаткой доске, проложенной через какой-то продолговатый мрак, где выются тонкие жилы вводных труб, Бурого идет к оконному проему; еще висят там путанные арматурные крюки. Кто-то позади, имея в виду то ли сучковатость доски, то ли вес инженерской массы, кричит, чтоб не ходил; но сучки кряхтят и выдерживают испытанье. Отставив оконный щит, Бурого высовывается наружу, на мокрый предзимний сквозняк. Отсюда — и это был тоже высокий этаж, подобный уадевскому, — видна вся разметка строительства, накиданная как бы вчерне чернотой толевых крыш по синей кальке снега.

Стемнело, ветер рассосал облака, и в одном овальном просесе уже свисали бахромчатые звездные лучи; это обманывали ресницы, еще мокрые от снега. Вдалеке среди мирного порядка домов светятся огни нового управления строительством; дальше — мгlistая, расплывчатая пустота небытия, в ней скука, волки, черти и враги. Но чем ближе, тем колючей очертанья предметов и лютей звук. Глухой подземный гул ударяет инженеру в грудь, — Бурого слышит его грудью: рвут землю для нового котлована. Дикобразами встанут леса варочного зда-

ния, и глаза инженера сурово ищут бетонных башмаков половочного корпуса. Стучит силовая — неугомонный маятник Сотьстроя; кричит паровоз, пробуждая спящие стихии; слух Бурого ласкают нетерпеливые лязги пара и железа. Во исполнение приказа форсировать в полтора года постройку Сотинского комбината работа велась и ночью. Было страшно оставаться только свидетелем, только тем толуолом, силой которого новый человек взрыхлял древнюю сотинскую тишину. «Почему не лопнул котел?..» Он не кричит об этом только потому, что сзади сидит старичок в постных очках, вопросительно устремивший в его сторону острие циркуля...

Увадьев, возвращаясь от следователя, находит Бурого стоящим на дороге и смотрящим в небо. Ноги его широко расставлены, руки заложены назад. Бурого смущается, точно советскому инженеру непозволительно глядеть на звезды.

— Это Возничий... созвездие. А голубая — Капелла... — сердито сообщает он.

Они идут вместе. Увадьев спрашивает:

— Шпунты уже забивают?

— Да. Странно, Иван Абрамыч... я начинаю думать, что напрасно учился. Вся технология человеческих возможностей на смарку... — И он рассказывает об изобретательном кочегаре.

— Под суд его... — говорит Увадьев, потому что образы Бурого преувеличены и ярки.

— Э, батенька, Россию под суд не отдашь. Ее преодолевать надо... да ведь я и не о том и говорил!

Увадьев не переспрашивает, его мало трогают прихотливые сомнения инженера. Они расстаются на перекрестьи дорог. Влажный запах палого листа и снега усиливается к ночи.

2

После неудачи в прошлом к работам по возведению водонасосной станции приступали с преувеличенной осторожностью. Гипсовые воронки средоточились только в одном месте на берегу, где убило выносом девочку, но Увадьев настоял, чтобы число контрольных буровых было увеличено до пяти. Совет Потемкина помнить о глазах снизу в особенности пригодился Увадьеву: теперь они смотрели подозрительно и угрюмо, тысячи требовательных хозяйских глаз. Новый промах повлек бы за собой чрезвычайные последствия. Установилась почти военная дисциплина, прогулов не стало вовсе, окрестные шинкари бедствовали, новому рабочему оставалась лишь канцелярская деятельность, и даже Акишин, мастер праздной беседы, точно на замок речь свою замкнул. Увадьев хоть и ввел поартельный расчет для землекопов, установив род круговой поруки, все же писал Жеглову, что чем ниже стоял человек по должности, тем крепче понимал он символическое значение этого периода работ. Ударность постройки

диктовалась тем соображением, что весна на Соти зачастую бывала ранней.

Повторное буренье, однако, подтвердило начальные изысканья: за промороженным слоем почвы шли в смешанной очереди глина, галька, мергеля, опять глина, и лишь дальше, с седьмого метра, простирались зыбучие моря пльвунов. Это и был враг, и какие маневры он предпримет через неделю, было не угадать. Уточнить направление пльвунов оказалось также невозможным; во всех пяти скважинах желонка бура опускалась как в квашню, и потом у всех, от прораба до землекопа, являлась одинаковая потребность поддержать на ладони этот жидкий серый ил. Он обтекал пальцы и грузно капал на лопату, застывая на ней хрупким карборундовым плитняком.

Сперва шли открытые котлованом, с откосами, дробя промерзлую породу гремучей силой толуола, и, когда река встала, половина котлована была уже готова. По мере погружения в сотинские недра число рабочих сокращалось: оставшимся тридцати приходилось всего по сажени пространства для работы; тем большее от каждого требовалось напряженье. В начале декабря, когда при полном бесснежье ударили знаменитые сотинские морозы, вокруг ямы, пшикая и скрипя, уже ползал на катках паровой копер. Полуторатонными ударами вгонялись в грунт плоско растесанные шпунты; они сближались на клин, образуя подобие широкого бревенчатого колодца. Ветры усиливались, земля твердела; дерево щепилось и трещало, несмотря на одетые сверху железные кольца бугелей. В канун нового года семи атмосферами котла едва впору было состязаться с тридцатью градусами мороза. Тогда над ямой возвели обширный тепляк, и с указанного времени этот толевый ящик на берегу Соти стал центром общего внимания.

— ...грезишша пошла! — сообщил однажды Фаворову десятник; и это означало, что строительство вплотную соприкоснулось с пльвунами.

Котлован разделился непоровну — на насосную и водозаборный колодец, который, учитывая меженное стояние воды, предполагалось вести на семь метров глубже. Внутри Акишин понастроил полатей; нижние лопатами вскидывали песок на верхний ярус, а оттуда его перебрасывали выше, до самых вагонеток; так тройной азиатской передачей добывали дна. Попытка сразу пробиться сквозь пльвун до самой отметки не удалась: грунт становился жиже, хоть бадьей вычерпывай, и тогда захрипели центробежные насосы, загрузив в глубину рубчатые свои хобота. Продвижение вглубь пошло с переменным успехом; иногда уже мерещился предпоследний метр, но просачивались грунтовые воды или перегорал мотор, и, пока перематывали его монтеры, уровень пльвунов катастрофически повышался. Работа становилась изнурительной, но рабочие молчали. В мокрых сапогах, облепленные грязью до затылка, осунувшиеся за день, они уходили на мороз, и, пока успевали добраться до барачной печки, грудь их

разрывало нудным, одуряющим кашлем; было понятно, отчего в суб-ботнюю баню шли они благоговейно, как на молитву.

Теперь Увадьев почти ежедневно приходил смотреть на эту черную, кропотливую работу. Мимо забрызганных ламп, повисших на перепутанных шнурах, он спускался по лестнице в яму. Затхлая теплота земли пьянила с непривычки. Шипел паропровод отепленья, и в черной жиже чавкали сапоги. Дежурные плотники, четверо, беспрерывно караулили шпунтовые стены, сквозь которые сочился пльвун. Увадьев глядел с полатей на согнутые спины и еле удерживался от желанья самому взяться за лопату. Его не удовлетворяла роль «состоящего на побегушках при Сотьстрое», как он однажды в шутку назвал сам себя; ему все хотелось делать самому. Его замечали, и шутники норовили кинуть лопату ила на его всегда отчищенные до глянца сапоги.

— Как, мокро...? — спрашивал он кого-нибудь, остановившегося дать передышку сердцу.

— Не, тута сухо, тута в самый раз. Слезай в сапожках-то! — ласково и беспокойно отвечал тот — и вдруг вскидывался поверх об-щего шума раскаленным матом. — Иэх, братишка, могилу копам! — кричал он со взбухшей от напряженья шеей, но кричал бодро, потому что копал ее не для себя.

Бычьим взглядом Увадьев уставлялся в дно колодца, полное жидких подвижных блесков. Мнилось, будто в углу Бурого; теребя седоватые усы, он раз'ясняет свою мимоходную мысль о новом Адаме. «Ты новорожденный, Увадьев, тебе и насос чудо, а это только старая диафрагмовая кляча, выхлебавшая сотни тысяч ведер до тебя. Мы рыли сотни таких котлованов, обходясь и без романтики; о них напи-саны книги, которые инженер обязан знать в самом начале ученья. А новорожденному чудесно все, приходящее извне». — Да, но так и это роют впервые! — почти вслух шепчет Увадьев.

Насос добирался до твердого пласта; снизу кричали остановить мотор, и злой рокот всасываемого воздуха прекращался.

— Эй, хозяин, скуп больно... прибавь копеечек-то! — смеялись снизу, и Увадьев видел белый ряд зубов в черном поту лица. — Ты на-шу кровцу понемножку пей. Много, смотри, лузичко заболит!..

— Ковырай, ковырай, хвороба!

Это была игра, попытка развлечься чужим конфузом, привычный способ разговора с хозяином. Он снова подымался наверх, где десят-ник, приладившись к стене, обводил что-то карандашом на синем чертеже. Это был старик, горбоносый и надменный; рабочие побаива-лись его насмешливых, пронизательных глаз.

— Ну, как, Андрей Иваныч?

Тот оборачивался, задумчиво черня губы себе карандашом:

— Да все так, Иван Абрамыч: на бога надежда! — Сам он в бога не верил и поминал исключительно из потребности дразнить Увадьева. — Страшнейший пльвун содит, сами видите. Придется четвертую смен-ку пустить... Коллективно наживаем ревматизм!

Увадьев отмалчивался; в эту пору он чувствовал себя комиссаром при воинской части. Не умея разобраться во всех тонкостях технической стратегии, он зачастую глядел в глаза подчиненному и по неприметным оборотам речи определял его сокровенные устремленья. Когда поднялся разговор о применении кессонного метода при постройке, он первым отверг эту возможность.

— За это, миленькие, под суд отдадут, — сказал он, набощупь расставляя слова, и не ошибался.

Садил пловун, но Бурого воздерживался от четвертой смены до самого февраля, пока не выяснилась необходимость чрезвычайных мер. Целых полторы недели длилось опасное равновесие между людскими усилиями и наступающим илом; враги караулили друг друга, выжидая хотя бы минутного ослабленья. Теперь дежурные плотники вылезали из ямы такими же грязными, как и землекопы. На экстренном совещании постановили одновременно с введением четвертой смены применить систему понижающих колодцев, смысл которых был в деформации и соответственном понижении уровня пловунов. Вместе с тем, судя по количеству кубов вывезенного песка, Бурого выразил опасение осадки зала бумажных машин: вычерпанный пловун мог образовать пустотелые пещеры на известном радиусе вокруг постройки. Десятник Андрей Иванович заговаривал о забивке второго ряда шпунтов, но предложения его никто не принял всерьез, потому что трудности эти были обычны при подобных постройках; кроме того, установка второго шпунта требовала сломки тепляка, а это вызвало бы недоумения в подозрительно-настороженной рабочей массе Сотьстроля.

В эту пору влечение к Сузанне странным образом совместилось для Увадьева с потребностью курить; все чаще, все убедительней представлялась ему бесполезность такого самоистязания. На окне его избушки валялась раскрытая коробка папирос, забытая Бурогой в одно из посещений. Пыль надела на бумагу, и невидимый паучок наплел над коробкой целые сети висячих мостов, шелковистых, потому что однажды Увадьев пытался прорвать их. Может быть, паучок и уловил бы Увадьева в свои щекотные сплетенья, если бы не смело однажды его самого непредвиденной стихией. Стихия эта была просто мокрой тряпкой, которую держала в руке новая хозяйка увадьевского дома. Она приехала внезапно в разгар январских морозов, и Увадьев, встретив ее на улице, не сразу признал в ней Варвару, мать. Видение показалось ему чудовищным: огромная фигура в новомодном и куцом драповом пальто шла к нему навстречу, скользя на обледенелой дороге и таща такой же огромный мешок; по правде сказать, к этому времени перина осталась единственным достоянием Варвары, — все остальное, даже икона, сносилось от частого и неистового употребленья. С изумлением он глядел, как она скинула на снег свою ношу и машисто поправляла шаль, которой была окутана поверх своего вершкового драпа.

— Дураки у вас тут живут! — начала она, размахивая руками. — Чего уставился, ровно гусь на молнию?.. тащи! Не видишь, — мать упарилась совсем.

— Ты что же, пешком с самой станции? — нерешительно спросил сын. Он глядел на посинелые, опухшие от холода руки матери и вспомнил тринадцать километров Сотинской ветки, тринадцать километров открытого пространства, где резвятся в эту пору северные ветроломы.

— Не, меня мужик вез... да мужик-то дурак, мы и повздорили слово за слово! Я тогда сани остановила, — катись, говорю, дьявол, взад... я и сама доберусь. — С такую ношей ей нипочем оказался сотинский январь. — Ну, где твой курятник, веди гостью-то!

В непонятном веселии взвалил на спину Варварину перину, Увадьев потащился к дому; по счастью, никто не встретился им по пути.

— На побывку приехала, не горюй! — говорила Варвара, пока Увадьев суетливо одну за другой раскупоривал консервные коробки. — Недельку поживу и поеду. Соскучилась больно...

— Живи, живи. Ты закуси сперва, закуси! Это вот... — он мельком взглянул на ярлычок жестянки — ...это скумбрия, а это крабы. А боишься запоганиться, тут и перец фаршированный есть. Я в роде крошки мешаю все вместе и ем ложкой: гладко выходит. Ну, ешь, мать, действуй...

Варвара нерешительно облизала губы:

— А щец у тебя нету, Вань?

Сын даже и железку выронил — обломок ножа, который он приспособил для открывания коробок.

— Вот щей, действительно, нету. Щи — хлопотливо, их варить надо. Ты ешь покуда скумбрию, а я печку затоплю. У меня и дров напасено: полное хозяйство. Ешь, мать, ешь!

Полчаса спустя они сидели рядом за столом; из чайничка выбивался пар. Разговаривая, сын подносил конфетную бумажку к белой струйке, и та свивалась в рыхловатую трубочку.

— А ты старый стал, Иван, осунулся. Старей меня, а ведь я на шешнадцать лет тебя старше. Ишь, рожа-то ровно сукном обтянута солдатским!

— Ну, мать!.. это я помолодел, не старь до поры. Самый разгар чувств у меня! Ты лучше расскажи, как с нэпманом-то раскрутилась. Я тогда спешил, не успел расспросить...

Очевидно, и у ней были вещи, о которых неприятно вспоминать:

— ...мужик-то вез, — совсем дурень! Утят, говорит, можно песочком кормить, посыпать песок мучкой, и корми. За милую душу жрут, говорит. А я ему: на воде-то как же, ведь потонут?.. да и косою к тому же. Смотрит в нос себе, ровно главней ничего на свете нет!

— Ты, мать, про другое думала сказать!

Варвара отодвинула чай и виновато кашлянула:

— Вань, а ведь я к тебе совсем приехала... не прогонишь? Холодно на табуретке-то сидеть. Сидишь, а рельсы-то все бегут, бегут... и так надо до конца сидеть, пока не застынешь. Вань, тебе не стыдно меня? Ты говори прямо, мне всякое можно! Ты мне плати двенадцать в месяц, а я тебе все буду делать, а?

Она была покорна и тиха, но именно в такую минуту и опасно было возражать ей.

— Ты чудачка, мать. Так и помрешь чудачкой...

По улице торопливо прошла кучка рабочих, совсем мокрых; задний почти бежал, накинув на плечи мешковину; обледенелые его подошвы раз'езжались на утоптанном снегу. Увадьев, пока видны они были в промерзлом окне, проводил их суровым и пристальным взглядом.

— Вот-вот, опять постарел, — заметила Варвара. — Вань, трудно тебе? Ведь один ты!

— Нас побольше, чем один... — засмеялся сын. — А трудно — хорошо. Что легко дается, легко и забывается.

— В поезде дьякон один рассказывал, будто у знакомого коммуниста голова от мыслей раскололась. Так и разошлась, как орех...

— Ну, это уж недоделаш какой-нибудь. Твое производство крепче стоит, — открыто улыбался Увадьев, и желваки переставали бегать по его щекам. — Я, мамаш, покуда на тебя не жалуюсь!

Она осталась у сына, как ей казалось, — навсегда. В избе, пока не переехали на новую квартиру, поселился небывалый порядок. Неутомимая тряпка не ограничилась подоконником; она обежала стены и полы, пробовала выбегать и на крыльцо, но там она быстро деревенела от мороза и снова пряталась за дверь. В доме установилось жилое тепло, оно пахло щами. Консервные коробки, весь запас Увадьева, мать тайком выменяла в кооперативе на крупу. Ей нравилось ждать к обеду сына, который всегда опаздывал; нравилось вступать с ним в ожесточенные перебранки.

Когда отношения наладились, Увадьев вызнал все-таки историю ее развода. Нэпман Петр Ильич, недолговременный Варварин муж, имел склонность к двум вещам — к философии и выпивке. Первая выражалась в том, что он затейливо хохотал, читая советские газеты; выпивать же ездил преимущественно на кладбище, где лежал под плитой какой-то бригадир Отечественной войны. Ему полюбился самый чин и тарабарская фамилия бригадира, и, кроме того, уравновешенный собутыльник его не препятствовал скрипучей болтовне Петра Ильича. Варвара терпела месяца полтора, а потом выкинула однажды вечером за дверь нэпмановы дожитки и самого, когда вернулся, не пустила ночевать. Кстати, и на рынке уже вытеснял Петра Ильича «Коопортрет»... Повествуя об этих сокровенных подробностях, Варвара имела целью развлечь угрюмое молчанье сына.

Причины крылись все в той же водонасосной; с каждым метром продвижения вглубь он становился все более молчаливым. Понижаю-

щие колодцы лишь в самой незначительной степени ослабили напор пльвунов. Совет десятника открыть тепляк и выморозить дно повторыли теперь все, все, кроме Бурого. Землекопные артели теряли терпенье, и только в этом одном заключалось их отличие от машин; казалось, было бы легче в воде высверлить подобный же колодец. Насосы были загружены до предела, и на строительстве со дня на день ожидали прибытия нового центробежного шестидюймового насоса, который удалось добыть Жеглову. Ночи Увадьева стали беспокойны: он верил, что несчастье может случиться только ночью. Его будил каждый звук, и когда однажды чуть дольше обычного ревел ночной гудок, он тотчас же схватился за телефонную трубку:

— ...что-нибудь случилось?.. слышите, гудок!

Телефонистка не узнала его голоса.

— Это гудок третьей смены... — сказала она сонным голосом. — Кто говорит, — товарищ Увадьев?..

Он медленно положил трубку и оглянулся на мать, которая тотчас же притворилась спящей. Сквозь неплотно замкнутые ресницы она видела, как он деловито шарил рукой по подоконнику, в надежде отыскать хотя бы крупинку табаку.

3

Отправляясь на Соть, Варвара заранее приводила себя в боевую готовность; она ехала в сущности на непримиримую распря с нелюбимой невесткой и была разочарована, когда место хозяйки дома давалось ей без всякой борьбы. При скудости и незамысловатости увадьева обихода ей предстояла праздная роль сыновней нахлебницы. Когда в доме водворилась невыносимая чистота и было перештопано все белье, Варвара впала в тоскливое оцепененье; по ее характеру ей бы при роте солдат состоять матерью и хозяйкой. Два дня она старательно выискивала, куда приложить свою неиссякаемую заботливость; она собственноручно выбелила печь, размела снег вокруг дома, наколола пропасть дров и, когда все было закончено, влезла на койку и принялась вбивать гвозди в стену; сын застал ее за одиннадцатым по счету четырехдюймовиком. Варвара смущенно покосилась на него.

— Чего ты смотришь, жалко, что ли?

— Вали, вали, мать: гвоздей хватит, — нетвердо пошутил он. — Только куда их столько, у меня и одежды вешать нехватит.

— Новая жена платьев навесит со шлейфами, — яростно кинула Варвара, вгоняя гвоздь по самую шляпку. — Увешает юбками, будешь посреди подолов сидеть да табак с горя нюхать. Отставят тебя к тому времени... — Она грузно опустилась на пол и приблизилась к сыну. — Тебе такая нужна, как я... она б тебя прищучила, куренка!

Сын сочувственно покачал головой:

— Ты б отдохнула, Варвара: столько сил тратишь попусту. Мотор бы к тебе приделать!

Отдых означал бездельное лежанье на перине, которую привезла с собою. Совсем того не разумея, он попал в самое больное место Варвары; именно перину, непременную спутницу всех кочевков, она начинала ненавидеть со всей силой своего неуживчивого естества: в перине и пряталась ее смерть, мягкая, умерщвляющая бездельным покоем. Еще она ненавидела ее за то, что не успела та сноситься и не давала поводов Варваре расправиться с ней по заслугам: Варвара была скупа. Недоставало дела, которое поглотило бы излишек сил, и Варвара нашла его: нужно было поженить сына на ненавистной инженерше. Может быть, после удачного выполнения дела ей понадобилось бы разделить его, но пока прельщала сама новизна и трудность предприятия. Сватовство заключало в себе уйму дипломатических уловок и хитростей, при этом не исключалась возможность женить сына по чванному дедовскому церемониалу: ей казалось, что стоило настоять. Ее теперешнее отношение к сыну крайне походило на его собственное к ней: затягивает счастьешко... ну, и дохлебывай свою погильбу до конца, пока не вырвет!

Она приступила к делу в величайшем секрете от самого Увадьева. В феврале выдалось одно слепительное воскресенье; небо было розово, точно одним огромным лепестком прикрыт был мир. В инейных ветвях старой ели, уцелевшей на задворках, по-обезьяньи кувыркались клесты. Все потрескивало и жило в этом алом, леденящем пламени. Варвара заперла дом на замок и сунула ключ в условленное с сыном место. Сузанна нашлась у себя в лаборатории; Варвару она встретила не без изумленья.

— Садись, милая, садись. Не узнала, поди, а ведь соседками сколько лет жили. Оно и правда, примелькается лицо-то, ровно ступенька станет... а рази все ступеньки в лицо упомнишь!

— Вы мать Ивана Абрамовича? — догадалась Сузанна.

— Мой... с лица видать! — Она села и стала распутывать головной платок... Вот, знакомиться пришла. Ну, и место у вас, ни одной бабы, почище монастыря, пра! И поговорить не с кем...

— Нет, тут есть женщины... да и какая ж я баба! — смутилась ее набега Сузанна, втайне подозревая, что Варвара пришла не спроста. — Я тоже по мужской отрасли работаю.

— А не брыкайся, из бабьего тела не вылезешь. Да и чего вы, нонешние, ровно бы отрекаетесь своего чина... зазорно, что ли? Граматный чин, как я смотрю. Мужики машины рожают, а мы самых мужиков.

— Ну, я думаю несколько по-другому, — улыбулась Сузанна. — Вам ничего, если я работать буду и говорить...?

— Работай, а я посмотрю. Мешаю, так уйду: скажи!

— Нет, сидите, я рада... Вы курите?

— До этого не дожила. Ты зови меня просто мамашей. Меня с двадцати годов все мамашей кличут, привыкла!

В агатовой ступке Сузанна растолкла несколько кусков золотистого кристаллического камня и, высыпав в колбу, наливала туда желтоватую смесь кислот. Через минуту, когда обняло колбу синее пламя спиртовки, ноздри Варвары задвигались: окись азота зашекетала ей дыхание; она кашлянула и укрошено опустила глаза.

— Видите, нам нужен будет серный колчедан... много колчедана. А тут, всего в двухстах километрах, оказались целые залежи его. Надо исследовать содержание серы, продуктов, мешающих производству, — селена и мышьяка, в процентах...

— Много ли выходит процентов-то? — с внезапной робостью спросила Варвара.

Сузанна мельком взглянула на нее и удивилась ее чрезвычайному сходству с сыном.

— Вы про серу?.. мне думается, тут процентов сорок шесть. А вы почему спросили?

Варвара испугалась.

— Нет, ты, девушка, не спрашивай... у меня мозги тугие. Гляди, гляди, закипело у тебя!

Неожиданный Варвару охватил страх: Сузанна нравилась ей... куда было тягаться с нею бедной Наталье. Ей пришлось по нраву уверенная самостоятельность будущей невестки, холодное спокойствие ее лица и даже та смелость, с какой она обращалась с этими хрупкими и незнакомыми Варваре предметами. Теперь она одобряла выбор сына и терялась от мучительного, уже физического недоверия к Сузанне. Вытяжной шкаф не всасывал всего количества газа; Варвара задыхалась и все же не отступала от своей роли свахи и искательницы сыновнего счастья.

— Одна живешь-то?

— Одна... да.

— А обед сумеешь сварить?

— Сумею, пожалуй... — Сузанна деланно засмеялась: подозрения оправдывались. — Ну, что же мне показать бы вам? — Ей хотелось свести беседу на вещи, не обязывающие к откровенностям. — Хотите взглянуть в микроскоп? Это занятно, кто не видел. Вот, идите сюда, я положила волокно от тряпки, видите? Смотрите теперь!

Варвара медленно, точно пугаясь обилия стекла, подошла к столу и нерешительно склонилась над окуляром.

— Сюда, что ль?

— Да, сюда... нет, вы ближе, ближе подойдите... — Она покрутила кремальерку, привычно устанавливая на фокус. — Видите теперь?

— Не видать, — глухо призналась Варвара.

— Да нет же, вы не так. Вы закройте левый глаз, а смотрите правым. Видите, в роде мохнатого бревна?.. это и есть волоконце.

— Все одно не видать!

Сузанна растерялась.

— Ну, как же тогда... погодите, я вам послабее поставлю об'ектив.

— Не надо, уроню я твою машину... — сдавленно отказалась Варвара и пятилась до самой своей табуретки.

Лицо ее покрылось испариной; ей стало жарко и обидно, что ее, огромную и сильную, мать большевика, заставляют подглядывать в щелочку за ниткой, которой, может быть, еще и нет на деле. Неудача ущемила ее самолюбие; положительно она близка была к подозрению, что и давешний газ и затея с микроскопом — только грубые тычки, которыми хотят поставить на подобающее ей место. Ей стало жалко самое себя, но она взглянула в смущенное лицо Сузанны и задержала обидное слово, готовое сорваться с уст. Теперь она вовсе не знала, как приступить к замышленному предприятю. На беду зазвонил телефон, и, когда посреди бегучего, непонятного чужому уху шопотка прорвалось вразумительное слово м и л ы й, Варвара ревниво насторожилась, словно у ней отнимали принадлежавшее ей одной.

— Братан, что ли...?

Сузанна вспыхнула, а Варвара так и впилась в нее просительным взглядом.

— Нет. Как это говорится... жених. То-есть, я женюсь!

— Замуж, значит, выходишь? — покровительственно и холодно поправила Варвара.

— Нет, женюсь. Я сама предложила ему, а не он. Значит, я и женюсь...

Некоторое время слышно было только шепелявое лопотанье пламени. Сузанна отставила горелку; смесь в колбе выпарилась досуха и обратилась в серебристый порошок. Варвара сидела неподвижно, как оскорбленная гора; багровая горечь стала приливать к ее лицу, — в эту минуту сын был неотделимой частью ее самой. «Ваня-то для тебя жену бросил!» — хотелось ей крикнуть этой, не заслуживавшей такой жертвы, и она вздрогнула, заставляя себя молчать.

— Непьющий сам-то? — спросила она потом. — Смотри, всю одежонку на барахолку перетащит!

— Да нет, этого не замечала...

С лестницы Варвара спускалась бегом, как-будто Увадьев мог застигнуть ее посреди такого срама. Негодование подхлестнуло ее неутоленную ярость; по мере того, как старела, в ней все больше пробуждалась мать. Теперь хотелось бы ей потрогать того невероятного удальца, на которого можно было променять ее Ивана; уж она-то разыскала бы на нем старыми своими глазами такие пороки, каких не усмотрели молодые. «Наверно этакий хухлик в пенсиях. Они, такие-то, пенсиястых любят...» Вторая мысль была злее: «Свое к своему котится. Не там искали! Что ей в Иване... он и обнять-то толком не сумеет, по-благородному, чтоб и щекотно, и заманчиво, и кружева не помять!» Третья вгоняла в крайнее неистовство: «Рыжая... у нас таких в роду не бывало. И щенята все рыжие, в мать пойдут. Вся природа увадьев-

ская окрасится!» Дома она металась, переставляла вещи, давая выход своему гневному негодованию, пока, наконец, не разбила новенькой тарелки. Вид черепков, разлетевшихся по полу, не образумил ее; не имея другого под рукой, она схватила свою перину и принялась жечь ее в печке. Кудрявое, барашковое пламя пробежало по слежавшемуся пуху и затихло. Тогда Варвара подкинула щепы, нанесла соломенного хлама со двора, и вот трескучим жаром обдало ей лицо и руки. Вместе с периной сгорало ее прошлое, вся ее углом выдававшаяся судьба, горел муж, горел нэпман Петр Ильич, горели долголетние скитанья по нужде... все горело, а Варвара, подбоченясь, стояла у шестка и злорадно взирала на свое обширное душевное пожарище. По поселку шел густой чад жженного пера, и дежурному пожарнику мерещилось, будто где-то в поле, за поселком, палят огромную, на все три тысячи сотьстроевских ртов курицу. Когда враг обратился в горку хрусткого вонючего пепла, Варвара выгребла его на двор, закрыла заслонку и села, сама не зная, с самкой какого зверя сравнить себя. До самого прихода сына она высидела в неподвижности.

За обедом она ухаживала за ним, почти заискивала. Сын спросил:

— Напроказила чего-нибудь?

— Тарелку разбухала. Больно некрепкие нонче делают. Разорила тебя на полтинничек.

— Ладно, за тобой будет, — усмехнулся сын.

С утра не оставляло его благодушное, поскольку это было ему доступно, настроение; драка с плывунами обещала закончиться успешно. Четвертый, шестидюймовый насос, работая с вечера, помог углубиться сразу на целый метр. Теперь Увадьев мог спокойно пробиваться вперед; с тылу его защищали Жеглов и мать.

— Вань... — запинаясь, позвала она минутой позже.

— Слушаю, — оторвался он от газеты.

— Вань, ты в этот... ну, в микроскоп глядел?

— Чего-о? — Он даже отложил газету. — В микроскоп? Доводилось.

— А видал... волоконце-то ихнее видал аль нет?

— Видал, ну?.. зачем тебе?

— Может, нашим-то глазам и вовек того не увидеть, что ихние видят? Она, поди, с детства в него глядела, навывкла...

— Кто это?

— Да инженерша-то твоя!

— Где ты ее видала?

— Где!.. а на улице. Увидала она меня, узнала, повела чай пить... Увадьев нахмурился.

— Не путай, Варвара.

— Истинный бог!.. приветливая бабочка. Кушай, говорит, мермелад, а меня с мермеладу-то, сам знаешь, с души воротит. Уж я вертелась-вертелась... Ну, не хошь, говорит, мермеладу, садись в микро-

скоп глядеть! Да пусти ты меня, чего за плечи держишь. Не держи, все равно сбегу! Думаешь, посадил за стол, щами накормил да и владай Варварой!?

— Никуда ты, мать, не сбежишь: поздно тебе. Поздно, попадали твои яблочки...

— А не дразнись: сбегу! — И опять было приятно сыну глядеть на нее, как на огромный мешок, полный спелого и звучного зерна. «Эх, сколько еще в тебе, мать, нерожденных большевиков!» — Я и босая от тебя уйду!

— Куда, старуха, в собес?.. на пятнадцать рублей?

— Посуду в кабаках мыть буду, в сиделки пойду! — Она не докричала до конца, а присела возле и погладила его по руке. — Вань, а Вань...

— Ну, утихомирилась?

— Вань, а ведь она замуж выходит.

Он понял сразу, он схватил ее за руку, и по тому, с какой силой вдавились в нее увадьевские пальцы, она узнала всю меру его влечения к рыжей девушке.

— За кого ж это?

— ...Володей называла.

Увадьев промолчал, потом снова взялся за газету: начатая статья не проникала в сознание. Ему пришел в память давнишний намек Бураго про недалекую свадьбу на Сотьстрое, и вот с необыкновенной силой потянуло видеть этого умного, всегда недовольного чем-то человека, говорить с ним о разном — о звездах, о возникшем, который сбился с дороги, о габарите бумажного зала, о циркуляре, предписывавшем всюду по возможности заменять деревом железо... о всем, исключая Сузанны. Он дождался, пока мать не вышла из комнаты, и почти вырвал трубку из ее гнезда.

— Бураго, есть дело.

— Добрый вечер!

— Что вы делаете сейчас?

— По радио передают Грига. Хотите слушать?.. приходите.

— Это что-нибудь военное? — переспросил Увадьев.

— Нет, война — это криг по-немецки, а Григ — это музыка.

— Я приду... погодите одну минуту! — Он выдвинул ящик из-под койки и, не глядя, пошарил в нем рукой. — Я думал — финики оставались, но таковых обнаружить не удалось. Приду так...

Бураго жил не один, а с ним котенок; одно время инженер приручивал сыча с перебитой ногой; оставаясь наедине, он смотрелся в сыча, как в зеркало; тот погиб от табачного дыма. Когда Увадьев вошел, Бураго играл сам с собою в шахматы. Рыжий клубок шерсти мурлыкал в его коленях. Увадьев скинул полшубок у двери, и оттого что говорить не хотелось, они стали играть в шашки; Увадьев, тугодум, не испытывал склонности к шахматам. Три партии подряд закончились вничью: в простом Увадьев чувствовал себя крепко... В ком-

нате бравурно звучал марш трелей, и, если закрыть глаза, представлялась пасмурная долина, заросшая хлопьями белых, без запаха, еще неописанных в душевной ботанике цветов.

— Это Пер-Гинт, — важно буркнул Бураго и передвинул шашку, образуя боевой треугольник на правом своем фланге. — Слушайте о Пер-Гинте, Увадьев! Это полезно и вам... — Он высоко приподнял котенка за шею и заглянул ему в сонливые щелки зрачков. — Кошачьи сны, наверно, все об одном. Этакая дужа сливок размером в Каспий и рядом пушистая дама с великолепным хвостом. Ваш ход!

— Ему рано о даме, ему пока о говядине, — сказал Увадьев, повторяя маневр Бураго. — А вы правы... запахло свадьбой. Своим выбором она показала, что есть еще и моложе нас, Бураго.

— Да, у него все благополучно... и мировоззрение его гладко и красиво, почти как романс. Второе поколение, Увадьев! — Так они бранились, обойденные выбором.

Телефонный разговор между ними происходил в начале восьмого, и аппарат действовал исправно, а в восемь на квартиру главного инженера примчался один из плотников и сообщил, что Фаворов много раз кряду вызывал квартиру Бураго, и все попытки его остались безуспешными. На водонасосной произошла неприятность, требовавшая присутствия главного инженера. Партия в шашки так и осталась неоконченной. В пустой комнате длилось меланхолическое и торжественное повествование о гибели мечтателя Гинта. Единственным слушателем его был рыжий котенок; выгибая спину, он бродил между раскиданных по полу шашек и недоуменно косился на неплотно притворенную дверь, из-под которой пушисто сочился холод.

Несчастье произошло на исходе восьмого часа, когда вступала вторая смена. Работа велась в водозаборном колодце, на том именно уровне, откуда начинался подводный канал в направлении реки. В штольне не было никого, сопели лишь насосы. Дело началось с того, что случайным камнем пробил храповик новой машины — железную фильтровальную сетку на конце заборной трубы. Производитель работ, инженер Фаворов, который и ночевал тут же, в водонасосной, даже и сквозь сон проверяя на слух мерное журчанье центробегов, первым обнаружил поломку. В пустую шахту немедленно были спущены люди сменить храповик, и тут-то был обнаружен небольшой прогиб шпунтовой сваи. Прогибы случались и прежде, — для того и существовало плотничье дежурство, чтоб своевременно ставить предохранительные крепи и подкосы. Прогибы не были опасны; вся шахта стояла в распорках, и, может быть, ничего бы не произошло, если бы предыдущая смена не вынула одну из них, в особенности затруднявшую движенья землекопов.

Пока готовили новую распорку, вздутие стены пошло с молниеносной быстротой. За криком людей и жужжаньем моторов треска не слышал никто. Сперва вспучило две шпунтины, потом зыбучая сила плывуна вклинилась в щель и вдруг раздвинула ее, как пьяный распа-

живает дверь. Вслед за тем в расщелину засвистал ил, и, когда началась эта беспримерная борьба, людям было уже по колено.

Бураго нашел Фаворова на втором ярусе полатей.

— Ну, как, жених? — спросил он тихо, мало заботясь о том, что выдает себя с головой.

— Ерунда прет... — осипшим голосом сказал Фаворов, пропуская мимо себя бегущих в яму людей.

— А вы интересовались, почему прет ерунда? — спросил старый инженер, обтирая заиндевелые усы.

— Очевидно, при забивке... — Лихорадка мешала молодому инженеру говорить слитно. — При забивке одна из свай надломилась. Вбивали в мерзлоту, раньше тут стояли гравомойки, мог случиться...

— Что могло случиться? — Губы Бураго опухли, точно искусанные злым насекомым.

— Мог произойти перекосяк... — Глаза Фаворова были воспалены, зрачки заплыли красным туманом и стали одного цвета с лицом. Разговаривая, он держался за стойку и старался отвечать по-военному кратко.

Бураго спросил:

— Почему вы дрожите?

— У меня грипп... — и, дрогнув, прибавил, — третий день...

Бураго выпятил губу, носки его сапогов стали вовнутрь. Его раздражило упоминание Фаворова о трех гриппозных днях, в течение которых не выходил тот из водонасосной; ему показалось, что Фаворов ждет похвалы своему энтузиазму. Невидимое насекомое ползало по лицу старика, оно опухало, и самые зрачки становились как два точкообразных укуса.

— Ваше место там, внизу, товарищ прораб. Потрудитесь спуститься... вы мне отвечаете за шпунт! — властно сказал Бураго, сунув пальцем туда, в одиннадцатиметровую глубину, где почти вслепую происходила драка со стихией.

Насосы хрипели, как люди; было и в этом что-то от первородного Адама, когда обрушивалась на него гора. Лампы казались слишком тусклыми; мало было бы и солнца осветить страх и ярость людей. В пролом толстым гнутым снопом лез плавун; соседние сваи медленно поворачивались на своих осях, образуя еще больший разворот. Похоже было, будто всей Соты с песками, лесами и болотами предстояло пробиться в эту скважину. Упираясь в ползучую трясину, мокрые люди пытались зажать досками открытую рану. Шел плавун. Подземный напор откидывал людей назад, доска скользила по течению, и опять в полном молчаньи возобновлялось неравное это соревнованье. Насосы не справлялись с нагрузкой; добавочная смена, вызванная до срока, еле успевала отвозить наверху вагонетки с породой, но уровень повышался. Жидкий, крупчатый холод затекал через голенища в сапоги. Представлялось, будто плавун становится жиже, и, хотя со стороны реки штольню защищала широкая свайная дамба, все ждали, что через минуту сюда бурливо и резво вплеснется Соть. Какой-то

длинный человек на нижнем ярусе метался и паясничал, чтоб подбодрить уже выбившихся из сил рабочих. Увадьев, наклонясь над провалом, едва узнал в нем того ворчливого десятника Андрея Иваныча, который еще недавно поддразнивал его богом.

— ...ей, ей! — непонятно выкрикивал он, — херувимушки, не уступайте!.. жми ее, сволоту... Братушки, жану отдам, молодуху, только сорок годков и пожили, ей, ей... Тесину-т справа заноси, упрись, упрись... Братушки!—Но крик перекатывался в нелепый взвизг, и вот становилось страшным и неоправданным его добровольное юродство.

Увадьев прыгнул вниз, в застылое, хрипучее молчание, где как будто не хватало его одного; бездействие стало ему невыносимо. Плывная гуша смягчила паденье. Нашлось место и ему, никто не узнавал его, несчастье сравнило всех. Теперь вместе с остальными он силился заткнуть дыру, и порой уже дразнила удача, но затем лишь, чтоб ослабить боевую бдительность бригады. Увадьева толкнули распоркой справа, потом слева; его притиснули к самой дыре, и вдруг стало ясно, что только пары его рук и не хватало в этой рукопашной. Мускулы его напряжились, и давно утраченная, грубая, почти ураганная радость физической силы вздыбила ему сознание, точно внезапно включили пропыленный мотор. Тяжко переваливаясь через доски, плывун лился ему на плечо, давил земляным знобом, затекал к спине и в итоге лишь умножал злую волю к преодолению.

— Погибнут, комиссар, твои сапожки.—прохрипел кто-то сбоку.
— Весь глянec к чортовой матери сойдет.

За спинами других Увадьев узнал Акишина; такая выпадала им судьба — встречаться только на несчастьях. Пятнистое от грязи лицо его изображало натуру и заразительное веселье: бывалому этому старику ведомы были в жизни и не такие приключения.

— Здорово, дед! Все льешь, поди?..

— Маненько выпивам... Заклинивай ее, заклинивай, колтушком забивай! — заорал Фаддей на парня, суетившегося с семиметровой распоркой.

Шпунтовины укрепили подкосами; нужна была особая сметка, чтоб не задеть никого в тесноте. Дыра уменьшалась, и, хотя поток плывуна не переставал, борьба с ним стала легче; четыре последующих крепи остановили его совсем. Шахта стала пустеть, пошли табачные дымки, Андрей Иваныч ругательно вызванивал новую смену. Бурого взглянул на часы; обе стрелки стояли на одиннадцати. Фаворов устало сидел у мотора, и, когда Бурого подошел к нему, он показался ему таким же старым, как он сам.

— Вам вообще чрезвычайно везет, молодой человек, — вразумительно сказал главный инженер. — Примите грамма полтора аспирина и попросите Сузанну Филипповну прикрыть вас ватным одеялом... я распорядился временно заменить вас Ераклиным. Ватное одеяло — великая вещь, молодой человек! — и, не дожидаясь ответа, вышел на улицу, ледяную как его судьба.

Над рекой вылупливалась из облака луна, и вдруг в лесных отдаленных, залитых бесплотным синим светом, длительный и знобящий понесся волчий лай. Бурого шел важно в направлении лая; сапоги его давили алмазы, и из каждого раздавленного возникала тысяча новых, и каждый был тысячекратно ярче прежних... Вскоре его перегнажи землекопы, спешившие переодеться в бараки.

4

Трудней всего давался последний метр, уставали и меторы, — работа круглые сутки велась с перегретыми подшипниками. Едва достигли уровня чертежной отметки, сразу обнаружилась последняя трудность: закончить возведение бетонного остова до начала мая, когда Соть выхлестнет из берегов. Неуловимые признаки весны дразнили в этом году Бурого с особой силой, он заразил и Увадьева обыкновенем, вставая по утрам, смотреть на градусник, привинченный за окном. Лиловая струйка все смелее взбегала вверх, к нулю, и до заветного рубежа, за которым враз откроются хляби, певчие глотки птиц и венчики первых цветов, оставалось не более полувершка. Страхи были преждевременны, Соть просыпалась поздно, и, хотя все синее становились тени на снегу, еще не появлялось в мартовских полях слепительного мартовского глянца.

Окно новой увадьевской квартиры выходило на южную сторону: солнце гостевало здесь по утрам. В шесть желтый ромб света полз еще по бревенчатой стене: солнцем Увадьев пользовался как часами. Когда он проснулся однажды, часы показывали восемь,—в отмену установившихся привычек он проспал начало дня. Зевая и потягиваясь, он щурился в голубой провал окна, одетый в пушистую раму ночного снега. Солнечный поток заливал ему ноги. Давно отцветшая шерсть одеяла пылала зеленым, и всему вокруг сообщался теплый, зеленоватый полусвет. В раскрытой его ладони тоже лежало приятное, почти весомое тепло, его можно было стиснуть и унести с собою, в хлопотливые будни. Весна сигнализировала не этим; другая причина удерживала его в кровати дольше положенного срока. В это утро возраст его увеличился еще на год, и в путанную цель ощущений, связанных с этим переломом, включился только-что прерванный и непередаваемый словами сон. Опыт сорока отжитых лет давал—так ему нравилось думать — особую мудрость к неизрасходованному остатку, каждый предстоящий шаг, каждый глоток воздуха он ценил теперь вчетверо против той стоимости, которую придавал им хотя бы в юности.

Это праздное лежанье на спине и тугое, почти кристаллическое чувство телесной неуязвимости привело его к мысли, что можно и следует любить свое нескладное тело, начиненное слабостями и оттого целых сорок лет мешавшее ему по-настоящему предаться работе, его не пугала пятая декада, в которую он восходил этим утром. Он сжал кулак и снисходительно разглядывал его грубые, пролиловевшие

складки. «Ха, неплохой инструмент... Варварина выделка, увадьевская сталь!» И если б резануть его ножом по складке, на метр брызнула бы из пореза великолепная, клейкая кровь. Сон видел не он, сон видел этот кулак, сон о поверхности округлой, живой и более шелковистой, чем не порванная никогда паучковая паутинка. Сон этот убедительнее синего реомюрова столбика возвещал о приближении весны...

Из кухни доносился дробный стук ножа, он вскоре прекратился, наверно, дорезав лапшу, мать ушла в кооператив. Солнечный ромб стал квадратом и, соскользнув с одеяла, придавал крикливую расцветку блеклым краскам тканого половичка. Теперь в цветистом этом пятне, как бы зевая, стояли грязные после вчерашней беготни увадьевские сапоги и терпеливо ждали хозяйского пробуждения. При первом же соприкосновеньи с сапогами призраки сна погасли; слегка поскрипывая и сурово пожимая пальцы ног, они повели Увадьева от термометра за окном к полочке на стене, где стояло кривое зеркало и лежала бритва. Самый факт существования бритвы вызвал необходимость пойти к рукомойнику, а вода толкнула его за полотенцем. Привычный и последовательный распорядок вещей заводил пружину увадьевского дня.

Полуодетый, он натягивал на себя свежую рубаху, когда мать, неслышно подобравшись, приложила холодную с мороза руку к голый его спине. Отскочив, сын неодобрительно поглядывал на мать, — высоко приподнятые брови ее выдавали душевную ее приподнятость.

— Уйди, Варвара... переодеваюсь я!

— Я тебя еще голей видела: всей и красы-то фунтов десять было...

— Лучше бы пиджак заштопала. Сквозь дырку-то кость видна!

— Некогда, Вань: еду нынче... Ворот-то расстегни, разорвешь!

— По железной табуретке соскучилась? Смотри, так и застынешь, как Лотова жена!

— А мы костерок разложим... Искры-то вверх бегут, Вань хорошо!

Сын стиснул зубы.

— Пора б тебе уняться, Варвара. Старуха ты, много веку знала. А мать смеялась, высокомерно косясь на сына:

— Погоди, я еще и внуков твоих рукастых нянчить стану... Хочу внуков!—Она сердилась, и сын отступил; единственная в мире, она умела вгонять его в панику. Вдруг она метнулась к окну.—В валенках, а легко как идет!.. обожаю легкую походку.

Улицей, проваливаясь в наметенном за ночь снегу, шла Сузанна. На узкой тропке ей встретился Геласий, более похожий на захолустного дьячка в своем рыжем нагольном полушубке; сойдя с тропы и прикрыв лицо рукавом, он пропустил ее мимо себя. Она не узнала его и прошла дальше. Увадьев продолжал стоять у окна, огромные сосульки, повисшие еще с одной январской оттепели, посылали тонкие розовые иглы ему в глаза. Потом он обернулся:

— Что ж, поезжай, мать! Тебе виднее...

Она уехала только через неделю, перештопав все, какие накопились, увадьевские дыры: больше на Соти не было нужды в Варваре. Сотьстрой открывал общественную столовую, и Варвара настояла, чтоб сын уступил ей по половинной цене ставшую ему ненужной алюминиевую посуду: надо же было с чем-нибудь возвратиться туда, в подвал, к барыне. Сын кинул в дрезину этот смешной и почти единственный Варварин багаж, а потом посадил и ее; она приняла с досадой его последнюю услугу. Впрочем, лицо Варвары сияло: молодило ее самое возвращение в жизнь. Минуту расставанья не обременяли ни уговоры о письмах, ни лишние и жалостливые слова, только в последнюю минуту, когда уже завели мотор, она вдруг высунулась из дверцы:

— Дурные вести получишь, — не приезжай, не люблю. И без того лежать тошно, а тут еще ныть почнут...—И откинулась на кожаную спинку сиденья.

Такою, с плотно сомкнутыми губами, она и застыла в памяти Увадьева. Мерзлым толосом визгнуло железо, дрезина тронулась, и Варвара не высунулась на прощанье обнять единственную свою родню. Не было надобности и у сына махать ей вслед платком и кричать неминуемое слово разлуки. Дрезина нырнула за перелесок. Увадьев повернулся спиной к железнодорожному пути и пошел домой.

В снежной тусклоте ранних сумерек он еще издали угадал свои окна; в них было темно. Он постоял, как бы примеряясь к раздрызганной множеством ног дороге, и вот, круто повернув, пошел назад. Ему незачем было возвращаться домой так рано. Дежурный милиционер у ворот, только-что видевший его уходившим, настороженно привстал, пряча что-то за спиною. Но дымок, вивясь из милицейской ладони, обходными путями дотянулся до увадьевских ноздрей.

— Вы это какие курите?—спросил он с совершенным спокойствием.

Тот сжался под его пристальным взглядом и еще раз на всякий случай козырнул хозяину строительства.

— Папиросы «Пушка» курим... — одурело выдохнул он табачную струйку.

Увадьев расширенными ноздрями втянул еще раз щекотный дымок и ясно представил себе дымящееся дуло милицейской папиросы, устремленное в него и грозящее выпалить забвеньем.

— Сам себя отравляешь... бросай, товарищ, бросай. Я вот уж давно не курю! — ...наверно, убежал он все-таки от искусительного дымка, потому что по мере приближения к реке шаг его становился ровней и спокойней. Незвестная потребность влекла его в эту пору на реку. Прокатанная глянцевитая дорога пересекала спящую под снегом Соть: песок возили и зимой. Две вороны, скрипуче болтая о своих вороньих удачах, спешили на ночлег к скитскому берегу. Увадьев поднялся на мыс и разыскал древнюю скамейку, на которой сидел год назад. Никто не встретился ему по дороге.

Тут, на распутье рек, всегда с особой силой резвился ветер, и нога легко прощупывала под тонким настом залубеневший травяной покров. Посбив с доски ледяную корку, Увадьев присел на краешек и сидел долго с руками на коленях, пока не засияли огни Сотьстроа. Через полчаса мокрый снег стал заносить человека, сидящего на скамье. Плечи и колени его побелели, снег таял на его руках; он все не уходил, а уже свечерело. Колючим, бесстрастным взглядом уставясь в мартовскую мглу, может быть, видел он города, которым предстояло возникнуть на безумных этих пространствах, и в них цветочный ветер играет локонами девочки с знакомым лицом; может быть, все, что видел он, представлялось ему лишь наивной картинкой из букваря Кати, напечатанного на его бумаге век спустя. Но отсюда всего заметней было, что изменялся лик Соти, и люди переменялись на ней.

Декабрь 1928—ноябрь 1929.

В десятом часу

Повесть

ДМ. СВЕРЧКОВ

1

— Товарищ Михайлов!—громко вызвал председатель.

Из задних рядов вышел высокий худой человек в гимнастерке.

— Садитесь сюда,—показал председатель на стул за столом президиума.—Товарищ секретарь, зачитайте сведения о товарище Михайлове.

Секретарь взял картонную учетную карточку и, поднеся ее к близоруким глазам, начал читать монотонным голосом:

— Михайлов, Иван Иванович, родился в 1889 году, образование среднее, служащий, в 1914—1917 годах работал на заводе, вступил в партию большевиков в 1915 году, во время гражданской войны работал в управлении чу-со-снаб-арма,—прочитал он с усилием,—потом в Наркомпроде, с ликвидацией которого перешел в Наркомторг, где теперь занимает должность заведующего сектором иностранного отдела. Партвзысканиям не подвергался.

— Расскажите нам о себе,—обратился председатель к Михайлову, придвинул к себе кипу бумаг и начал рассматривать верхние.

Михайлов готовился к тому, что ему придется откровенно все сказать перед сотнями собравшихся чужих людей. Но именно потому, что он долго к этому готовился, приглашение председателя захватило его врасплох. Ведь надо говорить даже о том, о чем никогда не хотелось вспоминать и что часто и назойливо приходило на память, бросало всю кровь в лицо и заставляло напрягать волю, чтобы перевести мысли на другое, чтобы не думать... Если бы можно было вернуть эти давно ушедшие дни, пережить их иначе, по-другому, или хотя бы истребить их навсегда из памяти! Нет, он не скажет. Все это давно забылось. Свидетелей нет. А вдруг есть? Что написано в этих заявлениях, лежащих кипой перед председателем? Сколько из них относятся к нему? Заглянуть бы хоть краем глаза... Будет гораздо хуже, если придется говорить, уже отвечая на вопросы. Станет ясно, что сам он умалчал намеренно. Ведь забыть невозможно!

Михайлов окинул взглядом исподлобья собрание. Сколько чужих лиц! Все смотрели на него. Может быть, тут, среди этих людей, есть кто-нибудь, кто знает?.. Кто это стоит у дверей в необычной крахмальной белой сорочке, в сюртуке, с бритым, как у актера, лицом и закинутыми назад длинными волосами?

— Мы ждем,—напомнил председатель.

— Я родился в 1889 году,—начал Михайлов, и вдруг горло его сразу пересохло. Он налил стакан воды. В голове стучало, как маятник: сказать? не говорить? ¡Лучше сказать... Нет, нельзя...

— Отец мой был мелкий чиновник в губернском отделении государственного банка. Он умер, когда мне было 10 лет. Осталась мать. Она стала давать уроки музыки и этим содержала семью. Я окончил реальное училище в Курске. Давал уроки и помогал матери. Дальше учиться не мог,—не было средств. Старый приятель отца устроил меня на работу в тот же банк, где служил отец. Я был там регистратором, получал 53 рубля, потом прибавили, и в конце я получал 90.

— В конце чего?—спросил перебиравший бумаги и, казалось, не слушавший председатель.

— В конце службы, когда ушел из банка. Наступила империалистическая война. Я не сочувствовал ей и старался отделаться от призыва. В 1910 году, когда призывали мой возраст, я был освобожден, так как у меня была сестра моложе меня на три года, но она потом вышла замуж. Чтобы избежать участия в войне, я поступил на военный завод браковщиком ручных гранат, где и работал до февральской революции 1917 года.

— Можно задать вопрос?—вдруг прозвенел чей-то возглас.

Михайлов вздрогнул и, чтобы скрыть свое волнение, стал пить воду.

— Вопросы после. Запишите себе пока, чтобы не забыть,—сказал председатель.

— На заводе я сошелся с рабочими, из которых многие принадлежали к партии большевиков. Их рассуждения о войне меня заинтересовали, и я начал получать у них и читать нелегальную литературу. Потом, через несколько месяцев, я примкнул к их кружку. Участвовал в забастовке, вел пропаганду. Прочитал «Капитал» Маркса. Признаюсь, что сначала он мне не понравился: вместо живого практического дела—отвлеченные сухие рассуждения. Товар—деньги—товар. Но потом я его все-таки осилил. Лишь спустя много времени я понял, что усвоил эту сухую материю, получаешь ключ для понимания отношений в классовом обществе и для усвоения основ классовой борьбы и роли в ней пролетариата. Помимо собраний, я хранил у себя партийную литературу, а одно время у меня в комнате лежало несколько пудов шрифта, принесенного наборщиками небольшими гранками. Партийный комитет хотел организовать свою типографию, но наступила революция.

— Были вы до революции арестованы?—спросил председатель.

— Один раз. Во время забастовки арестовали около 100 человек и меня в том числе. Но меня скоро освободили без всяких последствий. После революции меня выбрали в завком, при выборах в городскую думу я был внесен в список № 5 большевиков, но мы тогда собрали не так много голосов, и в думу прошли только четверо, а я был одиннадцатым. Потом уже к осени я был выбран в совет. Во время гражданской войны я был на Восточном, а потом на Кавказском фронтах, работал по снабжению армии. В начале 1919 года был у Камышина взят в плен вместе с другими. Мне удалось порвать свои документы, и я уцелел. Нескольких товарищей партийцев расстреляли. Помню одного комсомольца, Ваню Кружкина. Его били шомполами, чтобы он указал коммунистов и комиссаров. Он страшно кричал. Отказался. Его били опять, потом отливали водой и вновь били.

Михайлов остановился, опять выпил воды.

— Не сказал. Его забили на смерть. Потом меня зачислили в полк и послали на передовые позиции. Я растравил себе рану на ноге и попал в госпиталь, а потом весь госпиталь при отступлении денкинцев был взят Красной армией.

— Сколько месяцев вы пробыли в плену?—спросил председатель.

— Два месяца. Меня зачислили рядовым в полк, в большинстве составленный из офицеров. Я все время находился под особым наблюдением. Предупредили, что в случае малейшей провинности расстреляют на месте. Во время одного из сражений, когда я лежал в окопе, пуля задела подошву сапога, я этим воспользовался и в этом же месте ткнул в ногу штыком, а потом лежал в госпитале. После освобождения я работал опять по снабжению армии, а потом ушел на фронт рядовым бойцом. По окончании гражданской войны служил в Наркомпроде, а теперь в Наркомторге.

— Все?

— Да. Если нужны подробности, я отвечу на вопросы.

Михайлов вздохнул свободно. Как-то незаметно для него самого рассказ его вылился в короткое сообщение, и центр тяжести переместился на предстоящие вопросы.

— Приготовьтесь записывать,—сказал председатель.—Сначала вопросы буду задавать я сам.

Он взял в руки несколько заявлений и начал их пересматривать. Карандаш дрожал в руке Михайлова. Но председатель задал несколько незначительных вопросов и предоставил слово другим желающим.

— За кого вышла замуж ваша сестра?—послышался звонкий голос сзади.

2

В памяти встали образы прошлого.

Михайлов вернулся из банка вечером. Была срочная работа по составлению годового отчета, за быстрое выполнение которой управляющий обещал представить к награде.

Мать, сестра и незнакомый офицер пили чай за большим обеденным столом. Михайлов поцеловал руку матери. Сестра сказала:

— Ваня, позволь тебя познакомить: Григорий Васильевич Красовский.

Офицер встал и, щелкнув шпорами, любезно протянул руку.

— А это—мой брат,—докончила сестра, обращаясь к офицеру.

Михайлов пожал его руку. «Что это за форма?—старался он сообразить.—Синий сюртук с серебряными погонами, аксельбанты. Жандарм» — вдруг вспомнил он.

— Ванюша, ты будешь пить со сливками или с вареньем? Может быть, ты голоден?—спросила мать.

— Со сливками. Есть мне не хочется,—ответил Михайлов, усаживаясь рядом с офицером.

«Откуда он взялся?»—думал он, пока мать наливала в стакан с отцовским серебряным подстаканником крепкого чаю.

— Знаешь, Ваня, я познакомилась с Григорием Васильевичем на катке. Он дивно катается,—один из лучших фигуристов. К сожалению, ему неудобно участвовать в состязаниях, а то он, конечно, получал бы первые призы. Впрочем, что это я рассказываю о вас в вашем присутствии? Вы сами можете сказать, если хотите,—обратилась она к офицеру.

— Лидия Ивановна преувеличивает мои способности. — сказал офицер, разглаживая пышные усы. — После напряженной работы нужен моцион, — ну, вот я и решил бывать изредка на катке, а счастливый случай доставил мне такое приятное знакомство, — наклонился он в сторону сестры Михайлова.

— Позвольте узнать, где вы служите? — спросил его Михайлов.

— В губернском жандармском управлении. Вы, вероятно, понимаете, какая уйма у нас работы. Ведь последствия этого несчастного 1905 года еще далеко не ликвидированы. Государственная дума тоже отнюдь не служит целям успокоения России. Часто приходится сидеть даже по ночам...

— Господи, хоть бы поскорее кончилась вся эта смута и беспорядки,—вздыхнула мать.

Ехали из церкви. Михайлов сидел в карете против молодых. На груди у него была приколотая бутоньерка с белыми цветами. Роль шафера, сначала показавшаяся ему стеснительной, скоро увлекла его: он был на виду у тесной толпы, собравшейся посмотреть свадьбу блестящего офицера. Молодой муж распространял вокруг себя запах тонких крепких духов. Он был в мундире с вышитым серебром воротником и густыми эполетами и весь блестел и сиял. Лидочка смотрела на него восхищенными глазами и, склонившись к нему, что-то шептала.

— Насчет Вани не беспокойтесь,—говорил Красовский матери Михайлова. — Я понимаю всю невозможность для вас его призыва в армию. Я его устрою на завод браковщиком. Получать он будет не меньше, чем в банке, дело не хитрое, и от всяких мобилизаций освободится навсегда.

— Спасибо, родной. Уж так я тревожусь: ночей не сплю. Ведь один он у меня. Устрой, милый.

— Считайте, что все уже сделано. Для своих я на все готов. Знаете,—по секрету,—у нас шутят, что армия—это собрание людей, не сумевших устроиться на оборону...

Все это промелькнуло в памяти в несколько секунд. Михайлов поднял голову.

— Моя сестра вышла замуж за офицера. Я с ней не имею никакой связи, и не знаю, где она теперь.

3

— Расскажите поподробнее про ваш плен.

Михайлов посмотрел на задававшего этот вопрос, и увидел бородатого рабочего в потрепанной кожаной тужурке. Что-то тревожное вдруг всплыло в памяти. Но нет, не может быть! Ведь Иванихин убит тогда же...

Опять перед глазами поплыли воспоминания.

— Ну, поворачивайся, большевистская сволочь!—толкнул Михайлова прикладом в спину высокий поручик с нарисованными на солдатской шинели химическим карандашом погонами и с нашитым на рукаве трехцветным треугольником.

Михайлов покорно пошел по улице села.

Ночью белые неожиданно захватили комиссию управления по снабжению армии. Проснувшись, Михайлов увидел направленный на себя штык и вскочил, повинуясь короткому приказу, подняв руки вверх. Подошедший офицер быстро обшарил его одежду, снял с руки часы, вынул кошелек и спокойно переложил в свой карман. После этого Михайлова вытолкнули на двор и присоединили к другим пленным. Хорошо, что все спали одетыми, а то пришлось бы мерзнуть, — мелькнуло у него в голове, но сейчас же в сердце впиалась леденящая мысль о неминуемом расстреле... Офицер не заметил маленького кармана в брюках спереди, для часов, где у Михайлова лежали документы. Отвернувшись от конвоя, он тихонько вынул их и торопливыми неповинуящимися пальцами стал рвать на мелкие куски и втапывать обрывки в грязь. Сошло благополучно.

По селу щелкали выстрелы. Далеко за околицей справа длинными строчками стрекотали пулеметы.

Вышли за околицу, пошли по извилистой дороге. Навстречу ехали тачанки с офицерами и солдатами, прополз броневой автомо-

«Биль», на башне которого крупными белыми буквами было выписано «За Россию», проскакал эскадрон кавалерии, подтягивались батареи. Белые намерены были закрепить случайный успех и подготовить сильный отпор ожидающейся атаке. Михайлов стал вспоминать, какие силы остались к северу, и старался угадать распоряжения командования, которое, конечно, уже знает о захвате села. Слабо, чуть тлея, зародилась надежда на возможность обхода белых, окружения их частей, захвативших село. Слух напряженно ловил всякий звук, раздававшийся впереди. Вот-вот там вдали начнется беспорядочная стрельба, вдруг вылетит из-за горизонта красная конница, обрушится на белогвардейцев, освободит пленных... Какая радость! Михайлов уже ощущал на губах вкус прокуренных запыленных усов красного кавалериста, к которому он кинется на шею в восторге освобождения. Но впереди все было тихо, и стук колес далеких тачанок не превращался в правильную дробь пулеметов.

Михайлов оглянулся на конвоиров. Их было человек двадцать под командой полковника, шагавшего широко развернутыми ступнями ног и равнодушно глядевшего по сторонам. Конвоиры посматривали на пленных холодными злыми глазами. Им, верно, досадно, что приходится идти по длинной дороге с винтовками за спиной и с наганами в руках, сопровождая пленных, вместо того, чтобы отдохнуть после бессонной и полной тревоги ночи налета. А может быть, они и довольны, что уходят из опасного села от необходимости участвовать в близком сражении?

За перелеском открылся уездный город. По команде полковника отряд остановился, пленных согнали в кучу, велели сесть и окружили. Конвоиры вынули из походных сумок хлеб и колбасу и стали закусывать. Полковник угостил из походной фляжки поручика. Один из пленных попросил воды. В ответ последовал грубый окрик:

— До смерти не издохнешь и так!

Село осталось далеко у горизонта и задернулось легкой дымкой тумана. Вдруг оттуда донесся глухой удар. Все невольно обернулись. Над селом повисло белое облачко разрыва.

Полковник скомандовал встать и построиться. Отряд вновь зашагал по дороге к городу. Шли, не оглядываясь назад, но чутко прислушивались к все учащавшемуся артиллерийскому обстрелу, к которому стал присоединяться слабый треск винтовок.

Там, всего в нескольких километрах позади, свои, там спасение. Но отряд неумолимо уходит вперед, ведя пленных навстречу смерти.

Штаб помещался в двухэтажном каменном доме. Пленных ввели во двор, окруженный высокими стенами. Полковник с бумагами пошел внутрь здания. Кто-то из пленных сел на землю, но был поднят грубым окриком конвоя, приказавшего выстроиться в одну шеренгу.

Через несколько минут из штаба вышел тот же полковник с двумя офицерами. Михайлов вздрогнул. Сейчас решится судьба...

— Григорьев! — послышался чей-то голос. — Кто из вас Григорьев?

Григорьев вышел из рядов пленных.

— Я.

— Это твои документы? — протянул ему полковник отобранный при обыске мандат и партийный билет.

— Мои.

— Ты — коммунист?

— Да.

— Показания давать согласен?

— Нет.

Михайлов взглянул на Григорьева. По лицу его разливалась зеленая бледность. Под ушами напряженно двигались желваки, как будто он что-то жевал.

— Отойди налево. Принять его! — скомандовал он конвойным.

С трудом передвигая налившиеся свинцом ноги, Григорьев отошел.

— Кузнецов! — вызвал дальше полковник.

После такого же опроса Кузнецова присоединили к Григорьеву.

Туда же отвели Сидоренко, Седых и Иконникова, над которым товарищи всегда шутили, убеждая переменить фамилию, совершенно не соответствующую званию члена партии, и который почему-то никак не желал этого сделать.

Полковник подошел к Кружкину.

— Сколько тебе лет?

— Шестнадцать, — ответил тот белыми губами.

— Красногвардеец?

— Нет. Я просто был при армии.

— Кого из этой публики знаешь? — указал полковник на пленных.

Кружкин молчал.

— Покажи, которые из них коммунисты, и мы тебя освободим на все четыре стороны.

— Н-н-не зн-н-наю, — чуть слышно прошептал Кружкин.

— Шомполов захотел? — закричал на него полковник. — Дать ему полную порцию!

Принесли скамейку и приказали Кружкину раздеться. Тот торопливо сбросил рубашку и штаны. Обнажилось худенькое тело с выступавшими ребрами.

— Ложись!

Кружкин покорно лег и крепко обнял скамейку руками. По сторонам его стали двое конвойных с шомполами в руках.

— Не скажешь?

Кружкин повернул к полковнику искаженное лицо и неожиданно громким тонким голосом закричал:

— Бейте, сволочи! Все равно ничего не скажу!

— Ах ты, стервеныш! Дайте-ка ему десяток попробовать!

— Раз!.. Два!.. Три!..—начал считать он.

Михайлов широкими от ужаса глазами смотрел на трепещущее тельце, покрывавшееся багровыми полосами, по которым медленно ползли и тяжело падали на землю капли густой крови. После трех ударов со скамейки полился тонкий писк, перешедший в вой. Отсчитав десять, полковник остановил конвойцев.

— Вкусно? Будешь теперь говорить?

Кружкин молчал, закусив зубами руку и стараясь задавить рвавшиеся стоны.

— Будешь говорить, или еще хочешь?

— Не.. буду.. ничего.. не.. знаю..—выдал из себя Кружкин.

— Дайте еще десять!

Вой перешел в рев и вдруг прекратился, как обрезанный. Наступившая тишина и липкие удары шомполов по искромсанному мясу были еще страшнее. У Михайлова колотились зубы. Голова Кружкина свесилась на скамейку. Он хрипел.

— Окатите его!—приказал полковник.

Принесли ведро воды и вылили на Кружкина. Под скамейкой образовалась большая розовая лужа. Он поднял голову, посмотрел невидящими чужими глазами на пленных и на полковника и поднял искусанную руку.

— Бейте... еще...—прохрипел он.—Убивайте... сволочи...

— По собственной просьбе мерзавца дайте еще десять!—скомандовал полковник.

Опять хлипко застучали шомпола по мокрому кровавому месиву. Тело Кружкина стало сводить судорогой, раскрытый рот ловил воздух, ногти скребли землю. Вдруг голова его опять упала вниз и руки повисли.

— Убрать!—сказал отрывисто полковник.

Скамью с телом унесли вглубь двора.

Пленным, за исключением группы, отведенной налево, приказали спуститься в подвал и заперли тяжелой дверью. Войдя туда, они легли на пол. Со двора раздался залп, потом отдельные револьверные выстрелы.

Ночью загромыхал замок. В подвал вошел конвойный и вызвал Михайлова. Тот встал. Сидевший рядом с ним у стены Иванихин сжал его руку. Михайлов оглянулся и увидел во взгляде Иванихина напоминание. Он бодро и уверенно кивнул ему головой.

— Прощайте, товарищи!—неожиданно для самого себя громко произнес Михайлов.

— Иди, стерва! Еще будешь тут церемонии разводить!—оборвал его конвойный.

Михайлова провели наверх и втолкнули в кабинет, освещенный только стоявшей на письменном столе лампой. За столом сидел офицер, лицо которого оставалось в тени.

— Подойди сюда!—грубо сказал офицер голосом, показавшимся знакомым Михайлову.—А вы выйдите в коридор,—приказал офицер конвойному.

Тот молодежато повернулся налево кругом и вышел из комнаты.

— Ну, садись и рассказывай, как это тебя угораздило попасть к большевикам?—услышал Михайлов.

Он поднял голову. Красовский! Муж сестры! Спасение! А вдруг...—сверлила мысль. Но нет, не может быть!

— Григорий Васильевич?—полувопросительно произнес он.

— Я самый, к счастью для тебя, хотя и не знаю еще, к счастью ли.

Обращение на «ты» кольнуло Михайлова, но он сейчас же решил, что это мелочь, на которую не стоит обращать внимания.

— Я-то здесь, на стороне тех, кто любит Россию и не хочет ее гибели. А ты как оказался там, с этими сволочами?—продолжал Красовский.

— Мобилизовали,—ответил Михайлов.

— Если так, то еще ничего. Я знаю, что ты принимал участие в забастовке на заводе, куда я тебя устроил, что был арестован. Я считал, что это просто по слабыхарактерности, из ложно понятого чувства товарищества. А теперь тебя нахожу в рядах большевиков! Говоришь, что мобилизовали. А душа у тебя к кому лежит? К ним или к нам?

— Я плохо разбираюсь в политических вопросах. Живу, лишь бы жить, как придется. А где Лида?—вдруг вырвалось у Михайлова.

— Лида в Крыму. Я мог бы жить с ней, ни о чем не заботясь, но исполняю свой долг перед родиной не в тылу, а на фронте. Что же с тобой теперь делать?

— Заступитесь... — прошептал Михайлов, вспомнив про Кружкина и про других, отведенных налево.

— Вот что,—сказал Красовский, помолчав.—Про наши родственные связи никто не должен знать. Это — во-первых. А во-вторых, я могу тебе обещать только, что тебя не расстреляют. Никакой протекции от меня не жди. Я передам дело о тебе нарочно другому лицу. Вероятно, тебя зачислят в какой-нибудь из наших полков. Искупи свою работу у большевиков службой у нас. Но ты должен сказать все, что тебе известно о взятых вместе с тобой в плен большевиках.

Михайлов осунулся. В мозгу молниями мелькали мысли. Надо было сейчас же, сию же секунду найти объяснение своему нежеланию предавать товарищей. Как это он не обдумал это раньше? Но кто же знал, что произойдет такая встреча!

— Но я... никого не знаю...—начал он, запинаясь.—Меня зачислили в социалистический полк, находящийся в Семibrатском, а в село, где меня захватили, я был послан с бумажкой в отдел снабжения армии, чтобы получить белье для полка. Бумажку взяли, приказали притти на следующее утро, а ночью я попал в плен.

Рассказ этот вырвался как-то сам собой. Михайлов облегченно вздохнул.

— А Иванихина ты тоже не знаешь? Он ведь вместе с тобой в этом, как его? социалистическом полку.

— Его... встречал...—с трудом выдавил Михайлов, не успев подумать. Только после ответа ему пришло в голову, что у Иванихина нашли только какое-то письмо и что Красовский никак не может знать, где он работает и какую роль исполняет. Неужели попался на пушку? И почему он спросил об Иванихине?

— Он—коммунист?

Красовский повернул зеленый колпак настольной лампы так, что свет упал на лицо Михайлова.

— Не знаю.

— Не ври. Фамилия Иванихин нам хорошо знакома. Какой-то Иванихин состоит комиссаром дивизии, с которой мы деремся. Но тот ли это или другой, мы не знаем. Видишь, я говорю с тобой прямо, без утайки. Ты должен отвечать так же открыто.

— Вы же сказали, что он в социалистическом полку?—вырвалось у Михайлова.

— Ну, да. Был комиссаром социалистического полка, а потом, за особые заслуги перед революцией, или как это у вас там называется, получил повышение. Он это или нет?

Михайлов молчал.

— Эх ты, тряпка! И тут не можешь быть правдивым! Я верю, что ты не с большевиками, но, конечно, не решаешься им сказать в лицо, что ты с ними не согласен и что они—подлецы и изменники. Такие, как ты, нам не нужны. Нам нужны честные, искренние люди, к которым ты не принадлежишь. Ну тебя ко всем чертям. Передам тебя ротмистру Валуеву,—пусть делает, что хочет. Вряд ли он поверит, что ты безобидный человек, которого, видите ли, мобилизовали большевики, а он, как баран, шел туда, куда приказывали. Пустит тебя в расход, и от этого никто ничего не потеряет.

Он встал и пошел к двери, чтобы позвать конвойного. Михайлов схватил его за руку.

— Григорий Васильевич... Подождите... Как же это?.. А Лида?..

Красовский остановился.

— На Лиду кивать нечего. Она ничего не узнает. А ты, как видно, просто плесень, которую надо стереть грязной тряпкой.

— Ведь мы—родные...—прошептал Михайлов.

Красовский сочно расхохотался.

— Жаль, что тебя не слышат сейчас твои приятели-большевики. Родные! Ха-ха-ха! Это мы с тобой! Я, которого арестовывало даже правительство Керенского, бывший жандармский офицер,—и ты, верный слуга большевиков, которые со мной и разговаривать бы не стали, если б я попал к ним в руки! Ну, что же, скажешь про Иванихина?

Красовский опять сел за стол и уставился в упор на Михайлова. Михайлов молчал.

— Ну, чорт с тобой! По крайней мере не опровергай. Будут считать молчание за знак согласия.

Лицо Михайлова сделалось багрово-красным. Он стиснул руки и напряг всю волю, чтобы выдать из себя отрицание, но сжатое горло не пропускало ни звука.

— Ну, спасибо хоть за это. Скажу, что ты можешь быть зачислен в полк. Побудешь там месяц—другой, а потом, если уцелеешь, возьму тебя к себе писарем. До свидания.

Он позвал конвойного и приказал отвести Михайлова обратно в подвал.

Возвратившись к товарищам, Михайлов, не отвечая на вопросы, лег в углу к стене.

Через несколько минут вновь загромыхал замок, вошли конвойные и вызвали Иванихина.

Тот ушел и больше не вернулся.

— Рассказать про плен?—повторил вопрос Михайлов. Он опять выпил воды и передал события во всей их последовательности, ни слова не сказав про Красовского.

Перед ним встало лицо Иванихина с устремленными на него ободряющими глазами, какими он смотрел, когда Михайлова вызвали из подвала наверх, пожатие его руки... Это лицо никогда еще не было таким четким, даже в те бессонные ночи, когда он грыз подушку и сжимал голову, чтобы отогнать страшное видение.

4

— Что вы делали в Красной армии, когда освободились от плена?

— Первое время вернулся на старую должность в управлении снабжении армии, а через несколько дней попросил зачислить меня в полк. Там принимал участие в боях под Царицыном, под Ставрополем и на всей линии вплоть до Новороссийска. Вызвался охотником в разведку, под Ставрополем был ранен, но остался в строю, что было отмечено в приказе по армии. Был рядовым красноармейцем. Во время стоянок участвовал в работах политотдела полка.

— Позвольте мне слово, — раздалось из рядов собрания.

Михайлов увидел поднявшегося товарища Крундышева, который, улыбаясь, смотрел на него.

— Я хочу сказать про товарища Михайлова, когда он был в полку. Лучшего товарища и не надо. В самых опасных местах, всюду, где надо было рисковать собой во имя революции, товарищ Михайлов был всегда на боевом посту. Правильно он говорит, что работал в политотделе. Много делал нам докладов и разных объяснений, чтобы значит, повысить наш уровень. Как человек с подпольным стажем, он

это мог вполне. Сколько раз в окопах мы с ним рядом лежали, в наступление ходили. И когда он раненый был, не захотел уходить: перевязали его, чем было, и остался он с нами добивать белогвардейцев. Так что вполне он достойный товарищ, и это все скажут из нашего полка и даже из дивизии.

Михайлов радостно и жадно слушал слова живого свидетеля этого периода своей жизни. Как это он не видел Крундышева перед чистой? Ведь последним куском хлеба с ним делились! Где он работает теперь? Надо его встретить, вспомнить старое, поговорить. Эти месяцы были самыми светлыми в жизни. Вспоминая их, он отдыхал душой от других тяжелых воспоминаний. Но и здесь было одно, никому неизвестное, мучительное...

В управлении по снабжению армии вернувшийся из плена Михайлов не нашел почти никого из старых сослуживцев. Многие были убиты при захвате села, судьба других, захваченных вместе с ним и рассортированных по полкам белых, была неизвестна. Михайлов принялся было за знакомую работу. Деникинцы удирали так, что часто наступавшие красные части теряли с ними всякую связь. Казаки стали переходить на сторону Красной армии целыми сотнями. При отступлении деникинцы бросали склады оружия, обмундирования и продовольствия. Почти вся армия оделась в английские шинели и френчи. Шутили, что надо бы послать благодарность английскому королю за заботы о красноармейцах, которым теперь щедро раздавали обмундирование, обувь, английские сигареты, консервы, какао, — словом, все то, о чем и не мечталось раньше. Всему захваченному надо было вести учет, распределять, большую часть посылать в Москву и в другие армии, снабжать лазареты.

Однако, эта работа, в которую Михайлов ушел с головой, не считаясь с временем и не отрываясь зачастую по суткам, не давала успокоения. Картина пережитого в мельчайших подробностях снова и снова развевалась перед глазами, разговор с Красовским тянулся в мозгу бесконечной повторяющейся лентой, и некуда было от него уйти, негде было забыться... А когда он, доведя себя до последней степени изнеможения, бросался на койку и закрывал глаза, вставало лицо Иванихина, его высокая сутуловатая фигура, глубокая складка между бровями, прорезавшая лоб, когда кричал под шомполом на скамейке Кружкин, и оставшаяся неразглаженной до последнего момента. И не было сна, и бесконечно тянулась ночь, и при первых проблесках раннего утра Михайлов вскакивал, обливался холодной водой и принимался вновь за работу.

Он жадно ловил все сведения о захвате в плен отдельных штабов белых, старался раньше всех узнать подробности. Перед Красовским лежали тогда на столе какие-то бумаги... Он держал в руках карандаш... Может быть, он сделал какие-нибудь записи, после того, как отправил обратно в подвал Михайлова, или тогда, когда допрашивал

и выносил приговор Иванихину?.. Неужели он сказал Иванихину про его предательство? Если остались какие нибудь следы...

В одну из бессонных ночей у Михайлова вдруг родилась мысль, заставившая его вскочить с койки. Как он раньше не подумал об этом! Надо записаться в полк, надо принять участие в окончательном разгроме белых, надо настичь Красовского, вырвать у него бумаги, захватить его самого, собственноручно расстрелять его. Ведь даже если он ничего не записал, но **вдруг там**, на заводе, куда он определил Михайлова, осталась его рекомендация... рекомендация жандармского офицера, служащего в жандармском управлении, требующего принять на работу его, Михайлова... Уж это одно может вызвать подозрение о прикосновенности самого Михайлова к охранке... Разве он сможет доказать, что тогда, в 1914 году, он вовсе не интересовался политическими вопросами, **не считал жандармов врагами**, что Красовский устроил его, охраняя от призыва, по просьбе его матери? Никаких доказательств! А **самый факт требования жандармского офицера** принять его на завод —налицо! Потом, правда, оказалось, что весь архив завода пошел на топливо в голодные годы. Но тогда он этого еще не знал.

На следующее же утро Михайлов подал рапорт о переводе из управления по снабжению армии в один из полков на передовые позиции. Его просьба была удовлетворена.

Поступив в полк, он первым старался ворваться в деревни, села и города, отбиваемые у белых. Он бросался в атаку, не разбирая количества врагов, не слыша артиллерийского урагана и строчивших пулеметов. Он принимал участие в глубоких обходах, каждый раз ожидая, что там, в охватываемой местности, где-нибудь находится Красовский с его бумагами; он после боя, в то время как другие искали разрешенных пищи и отдыха, справлялся о взятых в плен, шел к ним, разбегающимися от нетерпения глазами искал среди пленных единственного, ради которого пошел бы куда угодно, на самую грозную опасность. И лишь убедившись, что его не было, присоединялся к отдыхающим товарищам, мечтая о завтрашнем дне, готовый молиться, чтобы он принес, наконец, осуществление его страстного, единственного, нестерпимого желания.

Перед наступлением на Ставрополь прошел слух, что там находится штаб Кутепова. Михайлов вздрогнул. Красовский должен быть в этом штабе. Он не может не быть там. Никогда он не был так уверен в близости Красовского, как теперь.

От волнения он не спал всю ночь.

На рассвете пошли в наступление. Разгорелся бой. Перебежками под огнем белых цепи приближались к городу. Вот уже отчетливо видны церкви, многоэтажные дома. Еще солнце высоко. До вечера успеем взять. Красовскому уйти теперь некуда. Но надо торопиться: вдруг наступит ночь прежде чем ворвемся в город. Под покровом тьмы штаб может удрать. Посланы ли части для охвата города с юга?

Из третьей линии цепи Михайлов перебрался во вторую, из второй в первую. Скорее, скорее.

Вдруг во время одной из перебежек кто-то сильно ударил его по руке. Михайлов оглянулся, но позади никого не было. В рукаве стало мокро. Он посмотрел на руку. По ней текла струйка крови. В глазах затуманилось, он пошатнулся.

— Ты ранен? — спросил его лежавший рядом красноармеец.

— Кажется, да, — ответил Михайлов.

— Иди назад. Или оставайся здесь, подойдет летучка, — перевяжут.

Остаться? В то время как товарищи ворвутся в город? Никогда!

— Пустяки. Не стоит возиться. Обойдется.

— Экий чудак. Ну, давай, я перевяжу.

Красноармеец подполз к Михайлову. Общими усилиями они стянули рукав. Пуля прошла около предплечья, не затронув кости. Индивидуальный бинт был разорван и на рану наложена повязка. Сверху для крепости рану перевязали оторванным рукавом рубашки Михайлова. Стало легче.

— Спасибо, — поблагодарил Михайлов. — А теперь — вперед! Товарищи! За мной!

Он легко поднялся из цепи и, держа винтовку в здоровой руке, побежал к городу.

Ставрополь взяли к вечеру. Штаба Кутепова в городе не оказалось. Красовского Михайлов не нашел.

— Вы женаты?

— Женат. Имею сына 4 лет.

— А что ваш сын крещеный или нет?

Михайлов опустил голову. Вспомнилась жестокая ссора с женой, угрозы бросить его, уйти к матери вместе с ребенком.

— Жена окрестила. Тайком от меня, — ответил он тихо.

— Ваша жена — религиозная?

— Позвольте мне, товарищ председатель, — произнес чей-то женский голос. — Скажите, товарищ Михайлов, вы никогда не хвастались, что ваша жена — бывшая графиня?

На этом фронте Михайлов никак не ожидал нападения и растерялся.

— Хвастался? Нет. А если и говорил, то в шутку, что вот-де теперь как, раньше такая на меня и не посмотрела бы, а теперь замуж за меня вышла.

— Вы венчались в церкви? — спросил председатель.

— Нет, — поспешил ответить Михайлов. — Мы зарегистрировались в загсе, — и все. Как полагается.

— Где вы познакомились в вашей теперешней женой?

— Она служила в Наркомпроде, когда я туда перешел. Потом ее сократили. Стал с ней встречаться, ну и сошлись.

— Я еще хочу спросить, — прозвучал тот же незнакомый женский голос, в котором слышалось острое тонкого неумолимого стального лезвия. — Правда ли это, что ваш сын всегда одет во все заграничное и что, когда вашу жену спросили об этом, она заявила: «Конечно, я не позволю его одевать в совдрань»?.. И что ваша жена сама тоже носит все заграничное, красится, мажется, душится Коти и все такое?

— Товарищи! — умоляющим голосом произнес Михайлов. — У моей жены есть пережитки... Я стараюсь их выправить... Многого уже достиг... Но, конечно, еще многое осталось... Нельзя судить строго... Только насчет совдраня это неверно. Не могла она так говорить. Никогда таких слов от нее не слышал.

— А сама она тоже одевается в заграничное? — продолжал тот же неумолимый голос.

— За границей дешевле... Потом многого у нас вовсе не достанешь... — бормотал Михайлов.

— Каким путем вы получаете предметы из-за границы? — заинтересовался один из членов проверочной комиссии.

— Есть товарищи в торгпредствах. Они присылают. А я взамен даю их родственникам здесь деньги. Все равно они им переводили бы.

— Положим, вовсе не все равно. Валюта оставалась бы у государства, а не у иностранных торговцев, а это имеет особенное значение в наш период индустриализации страны, — жестко произнес председатель.

— Совершенно верно, товарищ... — бормотал Михайлов. — Но это такие гроши...

— Скажите, если бы вы не занимали ответственной должности в иностранном отделе Наркомторга, эти товарищи из торгпредства тоже присылали бы вам всякую всячину из-за границы по вашим заказам? — спросил опять член комиссии.

— Это с моим служебным положением не связано... Я их не принуждал...

— У вашей жены есть брат? — опять зазвенел стальной женский голос.

— Есть... То-есть, был...

— Где он сейчас?

— Сослан.

— За что?

— За спекуляцию, — все тише и тише отвечал Михайлов.

— Чем он спекулировал? Не заграничными ли вещами и парфюмерией?

— Нет, валютой.

— Когда он был арестован, не обращались ли вы в ГПУ с какими-нибудь просьбами насчет него?

— Я написал туда лично и секретно одному члену коллегии и только просил его сообщить причину ареста.

— Что вам ответил этот член коллегии?

— Ничего не ответил. Никакого ответа я не получил.

— Не считаете ли вы, что это отсутствие ответа было самым лучшим ответом на ваше письмо? — спросил председатель.

— Да. Я понял неуместность моего обращения.

Насколько раньше Михайлов чувствовал теплую товарищескую атмосферу, особенно усилившуюся, когда выступил Крундышев, настолько теперь его окутал холод отчужденности и враждебности всего собрания. Сыпавшиеся с разных сторон вопросы были убийственны, и острота их была особенно сильна потому, что до сих пор Михайлов ни разу не задумывался над этими мелочами жизни. Как это началось? Уезжал за границу из Наркомторга Вейсман. Михайлов рассказал об этом жене. Она попросила поручить ему купить для Вовочки шерстяной костюмчик. — «Он будет такой забавный — совсем как медвежонок». Попросил. Вейсман исполнил поручение, и Вовочка действительно стал похож на медвежонок. Потом понадобилось пальтишко, башмачки, — там такие изящные делают! — тут подоспели именины жены, которые регулярно и неизменно праздновались при всех обстоятельствах, — захотел чем-нибудь ее порадовать, попросил купить и прислать флакон духов Карон «нарсисс нуар» (говорили, — верх шика!), перчатки, хорошую сумочку с новой металлической застежкой «рейс-сфершлюсс», две пары чулок из настоящего шелка. Привезли. Как рада была Нюточка! Едва развернула пакет, как прыгнула ему на шею и повисла, болтая в воздухе ногами и заливаясь счастливым смехом. Потом прислали тончайших батистовых рубашек, шелковой прозрачной пленочкой лежащих на ее стройное тело... Когда же он перешел черту допустимого? Разве было преступлением выписать для Вовочки шерстяной костюмчик? Или пальтишко? Конечно, духи, шелковые чулки и подобная дрянь, — это уже было лишнее. Но в тот момент об этом вовсе не думалось! Потом это выражение «совдрань»... Сколько раз говорил Нюточке, что надо быть осторожнее. Но она такая непосредственная, такая прямая... А какая-то сволочь подслушала и вынесла на чистку!

После вопросов были прения. Подвели итоги. Дали заключительное слово. Путаясь и сбиваясь в слова, Михайлов смог только напомнить свою работу на пользу революции до злосчастной службы в Наркомпроде и в Наркомторге. Собственно, до женитьбы, так как ставшая теперь впервые очевидной для него самого бытовая распущенность началась после встречи с Нютой. Представитель бюро партийной ячейки сказал о нем, что все партийные обязанности Михайлов выполнял удовлетворительно, в уклонах и шатаниях не замечен, но что про его личную жизнь и про выяснившиеся злоупотребления своим служебным положением ячейка ничего не знала. Потом председатель сказал ему, что он свободен, и вызвал следующего.

Михайлов, опустив голову, пошел к выходу. Надо было пройти через ряды собрания. Ему показалось, что товарищи брезгливо сторонятся от него, чтобы не прикоснуться даже к его одежде. Встре-

тился взглядом с Крундыщевым. Но тот быстро отвел глаза и заговорил о чем-то со своим соседом. А всего полчаса назад Крундышев смотрел на него так радушно и с такой дружбой!

Перед чисткой Михайлов думал о предстоящем решении комиссии. Но был уверен, что ему ничего не грозит, если только как-нибудь не всплывет фамилия Красовского, если не обнаружатся обстоятельства гибели Иванихина. В остальном он считал себя крепко забронированным: членские взносы платит исправно, партнагрузка солидная, общественная работа значительна, служебных промахов нет, бюрократизма за ним никто никогда не замечал. Наоборот, даже курьеры говорили о нем, как о простом и хорошем человеке. И в голову не приходило, что обвинения будут предъявлены совсем в другой области... Что теперь будет?

5

Итти домой было тяжело. Нюточка в заграничных чулочках и ботиночках, в шелковой так нравившейся ему кофточке возбуждала теперь враждебность. Всему она виной. И чорт его дернул связаться с последышем старого дворянства! Нечего сказать, воспитали, приспособили для теперешней жизни дочку! Ведь ей во время Октябрьской революции 1917 года было только 11 лет. Вполне могли приучить девочку не к придворным реверансам и к шелковым тряпкам, а к настоящей трудовой жизни. Уже тогда было ясно, что дворянские замашки ни к чему, кроме самого скверного, не приведут. Родители, чорт бы их побрал! Прекрасно делают, что теперь таких лишили прав и выгнали отовсюду. Последние остатки выметут при чистке аппарата. Так и следует. Раньше бывало «из грязи в князи», а теперь — всех князей в грязь. Туда им и дорога. И из Вовочки она неизвестно кого делает, только не того, кого нужно. Парню 4 года, а он до сих пор сам чулок надеть не умеет! Тоже приучает к нянькам и лакеям. Надо все это изменить, перевернуть. Кто в конце концов хозяин?

...Дома все уже спали. Молча разделся и лег в кровать. Жена спросила сонным голосом: — «Ну, как дела?» Пробурчал ей в ответ, что ничего особенного не случилось. Она повернулась на другой бок и заснула. Конечно, чуждый элемент. Как это он допустил себя так обмануть? Разве другая удовлетворилась бы таким ответом? Ни за что. Наоборот, расспросила бы все подробности, заставила бы рассказать все от начала до конца, помогла бы осудить создавшееся положение. А эта дрыхнет, как корова!

На утро болела голова. В комиссариат пришел с опозданием. Швейцар у вешалки поздоровался с ним как-будто не так, как всегда, а со скрытой усмешкой. Секретарь был почему-то особенно предупредителен. Регистраторша посмотрела с любопытством, будто никогда его не видела. Все, конечно, знают о происходившем на собрании. Те, которые не присутствовали, расспросили других. А теперь ищут на его лице признаков растерянности, смотрят на него, как на подсудимого,

о судьбе которого судьи еще совещаются, но который несомненно будет приговорен и снят с должности. Теперь каждое его слово, каждое движение, которое раньше никто не заметил бы, служит предметом усиленного внимания и подвергается всесторонней оценке. Это мешает быть естественным и работать, как обычно.

6

Постановление комиссии:

«Михайлова, Ивана Ивановича, за использование своего служебного положения в личных целях из партии ВКП (б) исключить, как разложившегося».

7

За две недели, прошедшие от дня чистки до объявления постановления комиссии, Михайлов приготовился к тому, что получит выговор. Может быть, даже строгий выговор. Пусть даже с предупреждением. Конечно, в то время как страна перестраивается, индустриализируется, когда ломается тысячелетний уклад крестьянской жизни, и на смену мелкому сельскому хозяйству приходят мощные коллективы, более чем легкомысленно хлопотать о духах, губной помаде и шелковых чулках. Сам он многое множество раз с увлечением говорил о великой эпохе социалистического строительства, о невиданном росте всего хозяйства страны, — в самых неблагоприятных условиях нашей финансовой бедности и обостряющихся отношений с капиталистическими государствами. Логически и неопровержимо при этих условиях ясна необходимость предоставить в распоряжение правительства каждый лишний доллар, каждый грамм золота для обмена на машины, на тракторы. Как же так случилось, что он сам, восторгавшийся нашими успехами, жадно прочитывавший в газетах сведения с промышленного и колхозного фронтов, радовавшийся хорошим сообщениям и хмурившийся при обнаружившихся прорывах, не забывал в то же время и о духах, помаде и перчатках? Конечно, тут диссонанс, тут расхождение. И как это ни разу мысль об этом не пришла ему в голову до чистки? Чистка имеет величайшее значение, не только потому, что каждого члена партии проверяет комиссия, но главным образом потому, что отчетливо рисует перед глазами проверяемого его собственную фигуру. Это зеркало, в которое раньше и не думал заглядывать.

Но исключение — невероятно жестокая мера. Разве он пал так низко, что уже не может исправиться? Разве он стал балластом, позором для партии? Несомненно, постановление об исключении будет отменено следующей инстанцией. Это проверочная комиссия просто хотела быть намеренно слишком строгой.

Вместе с Михайловым исключили из партии Майзеля, Игнатова и Круковского, на чистке которых он присутствовал. Эти товарищи безусловно заслуживают исключения. На собрании многие недопустимые

факты из их деятельности остались неосвещенными и неизвестными комиссии. Про Майзеля и Круковского кое-что знал сам Михайлов, но не выступил и не сказал: все-таки они парни славные, и вредить им не хотелось. Тем не менее комиссия чутьем поняла, что они — чужой элемент в партии. Здесь она оказалась прозорливой.

8

В мироощущении Михайлова все переменялось. Как-будто он попал в другой город или даже в другую страну. Снаружи все было то же самое: автобусы, трамваи, магазины, кооперативы, красноармейцы, улицы, площади, огромные здания, театры, газеты, милиционеры, весы... Давно знакомая и известная вдоль и поперек Москва. Но вместе с тем она стала чужой, не такой близкой.

Вот по улице идет колонна рабочих с вышитым красным знаменем. Под это красное знамя он, Михайлов, стал еще тогда, когда на него кидались с нагайками казаки, когда за него сажали в тюрьмы, ссылали на каторгу и расстреливали. Правда, тогда оно не было таким красивым. Простой кумач, на котором были нашиты неровными белыми буквами боевые лозунги революции. Часто теперь думалось, что то знамя—дороже, что под этим, шелковым и красиво расшитым, идут многие и многие из таких людей, которые никогда не стали бы под то, простое, кумачевое. Но борьба еще далеко не окончена. Придется еще кровью защищать и это, шелковое. Здесь, в нашей стране, под него роют подкопы изнутри, а там, с Запада, по ту сторону границ, мечтают втоптать его в грязь и заменить прежним, трехцветным. Еще поборемся. Но теперь и это красное богато вышитое знамя стало не таким, каким оно было для Михайлова вчера. Постановление комиссии вытеснило его из рядов коммунаров, и он оказался уже с беспартийными, которые идут под этим знаменем, может быть, только из-за шкурных соображений и которым оно вовсе не является родным и дорогим...

Поют «Интернационал». Опять разница: петь ли его, бросая в лицо врагу мощные звуки гимна революции, — как это происходит на Западе, — или со скукой разевать рот, втихомолку жалуясь на осточертевший, навязший в зубах мотив, и повторять машинально, думая совсем о другом, до приторности известны его слова, — как делают многие. Для Михайлова этот гимн всегда был гимном торжества революции в единственной стране мира, где власть находится в руках труда, а не капитала. Но одна строчка постановления комиссии вдруг отбросила в лагерь тех, кто шевелит губами по обязанности, кто встает при исполнении «Интернационала» не потому, что в этом выражается уважение к гимну, а потому, что неловко сидеть, когда все стоят, да, кроме того, не встать нельзя, — примут за враждебную демонстрацию. Ведь и вредители, ныне расстрелянные или сосланные, вставали, пели, шли за красным знаменем и подписывали резолюции с осуждением

уже разоблаченных своих приятелей и единомышленников и с клятвенными уверениями в своей преданности советской власти. Раньше Михайлов знал твердо, что те, бок о бок с которыми он идет и поет, являются авангардом мирового революционного движения, твердым, искренним, непоколебимым, что они крепко спаяны друг с другом общностью цели и единой партией и что партийный билет, на коричневатой картонной обложке которого написано: «Всесоюзная Коммунистическая партия (б). Секция Коммунистического Интернационала», является величайшим обязательством, добровольно принятым на себя перед всемирным пролетариатом, перед историей, перед революцией, что никогда, ни при каких обстоятельствах служебной, общественной или личной жизни нельзя ни на долю секунды терять ощущение присутствия этого маленького билета в кармане, что партии должна быть подчинена вся жизнь, во всех ее мельчайших проявлениях. И вот теперь, по его собственной вине, вдруг билет исчезает.

Из-под ног выбита точка опоры. Он вытолкнут из рядов партии, шеренга сомкнулась, и для него нет больше места. Оторвано самое близкое, самое ценное, самое дорогое в жизни. Но только теперь он почувствовал, насколько партия была ему близкой и дорогой. А несколько дней назад об этом не думалось: были заботы о сахаре, без которого Вовочка не хочет пить молочко, о сливочном масле, которое необходимо для здоровья Нюточки, о шерстяном материале, которого почему-то долго не выдают из кооператива и который, говоря откровенно, вовсе не нужен, но нельзя же упустить случай получить дефицитный товар. Словом, ноги спутала тина домашних семейных интересов. Как же это случилось? Где первая ступенька лестницы, по которой он спустился в болото обывательщины?

В далеком закоулке подсознания появилась щемящая мысль. Ведь пребывание его в партии было с самого первого дня основано на обмане! Разве его приняли бы в рабочий кружок на заводе, если бы знали, что он поступил на работу по требованию жандармского управления? Может быть, и приняли бы, если бы он честно и откровенно рассказал об этом. Но он умолчал... Потом — допрос Красовским, Иванихин... Товарищи и не подозревают всего этого. И странно! между этим обманом и духами Коти вдруг почувствовалась какая-то связь! Откуда, почему, что между ними общего? Что-то есть! Неуловимое, тончайшее, как плывущая в воздухе осенняя паутина, как золотистый волос Нюты. Не это ли первое волокно тины, спутавшей его ноги и мешавшей ему итти в ногу с партией?

9

Михайлов вошел в под'езд с вывеской «Районная Контрольная Комиссия ВКП (б) — Районная Рабоче-Крестьянская Инспекция» и поднялся по широкой лестнице на второй этаж. Часы показывали четверть десятого. Хотя работа начиналась в десять, но коридоры уже

кипели жизнью. Служащие, рабочие, комсомольцы, пионеры группами и в одиночку озабоченно проходили в отдельные комнаты, оживленно говорили друг с другом.

Михайлов сел на скамейку. Рядом разговаривали рабочие.

— И вот, значит, теперь пришел я с докладом. Была у нас промашка на заводе, слов нет. Прошлепали в прошлом месяце. Прогулы по пьянке, лодырничество и тому подобная дрянь. Собрались мы, старики, потребовали у завкома созвать собрание. Заупрямился было завком,— а мы в ячейку. Добились. На собрании мы и вылили все настоящими словами. Обиделась было на нас спервоначалу братва, но как заявили мы, что организуем ударную бригаду из стариков и снижаем себе расценки, чтобы весь завод от всесоюзного позора спасти,— сдали. Пошли за нами. Первые подхватили комсомольцы. Полтора месяца прошло,—прогулов как не бывало, план исполнили на 112 процентов, себестоимость снизили, качество выработки хорошее. Одним словом, переломили. Хотим теперь попросить райком, чтобы в газетах про нас пропечатали. Не для похвальбы,— хвалиться еще рано,— а для примера другим. И завком наш по профсоюзной линии тоже выправился. Но, надо сказать, без ячейки нашей большевицкой — ничего не получилось бы. А тут как прихлопнешь Лениным,— ну и крыть нечем!

— А у нас еще плохо,— заговорил молодой рабочий. Я от ячейки послан в райком сюда для обсуждения дела. Оборудование завода нашего старое, одним словом, слабое. Кругом говорят, что никак нам плана не выполнить. Борьбу ведем, слов нет, только не развернешь ее никак во весь масштаб. Есть у нас один товарищ Лопатин; нарочно на самый паршивый станок стал и вполне доказывает, что норму выработать вполне даже можно, так на него все волком смотрят...

Михайлов слушал, и тяжесть на сердце увеличивалась. Раньше он расспросил бы их, вмешался бы в разговор, а теперь... Вдруг они спросят: — А вы, товарищ, по какому сюда делу? — Разве можно сказать, что исключен из партии и пришел обжаловать постановление? Сразу вырастет холодная стена, замолчат, отодвинутся, как от чужого.

Он встал и пошел по коридору. У дверей комнаты с надписью: «Плановый отдел РКИ» щебетала группа пионеров. Их старший раздавал поручения.

— Сегодня, значит, вы пойдете в ВСНХ. Явитесь там к комиссии по чистке аппарата. Получите задания. Работа такая же, как проводили в Молокосоюзе. Поняли?

— Поняли, товарищ Васильев. Всегда готовы.

Смеясь и толкаясь, детвора побежала вниз к выходу.

У стены слышался разговор:

— Никак не вдолбишь нашим, что соцсоревнование — не ударная кампания, а система работы. Вызвали мы громаднейший завод, — и утерли ему нос!

Все это было давно знакомо Михайлову, об этом он читал в газетах, слушал доклады. Но весь смысл этого почему-то не был раньше таким ярким. А теперь все виделось ему совсем в ином свете. Как-будто исключение из партии отодвинуло Михайлова от кипучей работы, и он издали яснее увидел всю ее необычайную огромность, всю ее величайшую важность, все счастье отдаться ей целиком, быть в рядах первых борцов... Среди них нет места лжецам и лицемерам, партийный билет — не маска, которую можно надевать при всех и снимать, вернувшись домой, как производственную одежду. А он снимал!

Нельзя, надо кончить. Пятнадцать лет он обманывал партию. Как он смел называть коммунаров товарищами? Как не краснел он, когда его называли старым уважаемым членом партии? Как он вытерпел восторженную речь Крундышева, как не сказал тут же, перед всеми, что его отвага на фронте вызывалась вовсе не преданностью революции, а стремлением первому захватить и уничтожить документы о расстреле Иванихина? Грязь, мерзость, позор.

Рука опустилась в карман и нащупала бумагу с обжалованием постановления комиссии. Родилось нестерпимое желание хоть раз, один только раз в жизни сделать достойный настоящего члена партии поступок.

Он вынул заявление, порвал его в мелкие клочки и вышел на улицу.

Гидроцентрль

Роман

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

(Продолжение¹)

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Бумажки

1

Проведя ночь без сна и не в собственной комнате, а в самом нижнем бараке, у жены Маркаряна (о чем крупно написано в примятых губах, опухших глазах и красноте носа), Володя-контрщик шествует домой, из приличия держа в руках пойманную курицу. Впрочем, уже давно на участке принято говорить, встречая Володю-контрщика, чересчур рано идущего по тропочке снизу вверх: «Ага, опять курицу ловил». Мать Володи, глуховатая старуха-армянка, прямая и тощая, в длинной складчатой юбке и темном платочке, повязанном низко на лбу, ворочается возле примуса. Примус шипит яростно, на примусе уминается рисовая жирная, желтая, пятнами шафрана окрашенная масса. Стройная талия старухи издалека напоминает девичью. Большой ложкой она мнет вниз желтую гущу и облизывает ложку сухими тонкими усатыми губами. Бросив перед ней на пол курицу, Володя не стал пить чай, не стал разговаривать. Жена Маркаряна подлила масла в огонь, — захватив стопочку бумаг со стола, Володя даже красоты перед зеркалом не навел и без чая, без завтрака, не слушая мамашиних причитаний, заторопился в контору. «Завидуют, — думал по дороге Володя, — правильно она говорит, — зависть. Армяне всегда завидуют своему брату! Выдвинулся, понравился, лоу, играю, образованный все-таки, имею наружность, — нет, надо тебе ножку подставить. Не дают ходу! Другое дело, ежели б грузин или иностранец...»

Войдя в контору, где уже потрескивали дрова в печке, он первым делом вскинул глаза на место, где раньше валялся архив. Место было очищено. За шесть дней, проведенных рыжим на участке, весь этот мусор устарелой бумаги, неизвестно для чего сохраняемый, расположился стройными колонками в шкафах и вдоль стен, занумерованный,

¹) См. «Новый Мир», лет. кн. 1, 2, 3 и 4 с. г.

сшитый, снабженный таинственными литерами и даже законспектированный. Каждый в конторе запомнил первый день преобразования мусора. В работе рыжего был метод, как, впрочем, и во всем его поведении: сперва, придя сюда, он постоял некоторое время и покачался даже на эластичных ногах, руки в карманы, разбитые стекла очков, задумчиво вперенные в бумажный хаос. Губы его оттопырились слегка, — словно в раскашке и в позе, и даже во взгляде рыжего была тайна какой-то внутренней музыки или внутреннего танца. Он и впрямь танцевал мысленно перед каждой работой, танцевал, словно приглашая ее, перед самым ее носом, подобно жесту, с каким люди потирают руки прежде чем приняться за дело. И так, накачавшись змеей, неожиданно для конторских служащих архивариус не прыгнул и не набросился на работу, как они ждали, а очень медленно и спокойно, сопя носом и крепко стискивая губы, стал выбирать одну за другой разорванные папки.

Казалось, он говорил с ними. Голова его моталась на длинной шее с необыкновенной выразительностью, руки двоились, троились, учетверялись перед изумленными конторщиками, сопенье переходило в бормотку. Но самое странное — это была цепкая неутомимость инерции, медленное нарастанье энергии, не пожирившей себя, не разбрасывавшейся, не переключавшейся по-женски в тысячи мелочей, не дававшей утечки в пустяках быта, разговора, ходьбы, папироски, рассеянного вниманья, взгляда в окно, ассоциаций, лирической педали воспоминанья; нет, разматываясь с чудовищным однообразием, неутомимость рыжего нависала над канцелярией как грозное нечто, с каждой минутой становясь непреодолимей. И умный зритель мог бы невольно задуматься, какую же страшной силой обладает любовь Арэвьяна или его ненависть, если, конечно, этот белотелый и гибкий человек, дурно одетый, умеет ненавидеть или любить.

Взглянув на очищенное пространство, конторщик Володя тотчас увидел руки рыжего. Из кучки, лежащей на столе, эти руки сухо и с приятным шелестом кожи о бумагу выбирали некоторые разного размера документы, подносили их к разбитым стеклам очков, отодвигали потом, как бы для того, чтоб проверить, и застегивали вместе булавкой. Потом рыжий выбросил перед собой левой рукою блокнот и занес в него что-то мельчайшим почерком, похожим на микроорганизмы или запятые азиатской холеры.

Контора между тем начала наполняться. Шумно вошла очень большая женщина в собачьем меху, распространяя запах дешевых духов и подмышечного пота, — телефонистка, жена Маркаряна. Муж ее, завхоз, был в вечной командировке. Ворчливо сел на свое место счетовод, красноносый старичок. Поднял стеклянное окошко кассир, мутным взглядом озирая очередь. Позже всех прибыл начканц Захар Петрович, с подозрительно углубившимися глазами и нервной зевотой, — к нему после долгого отсутствия приехала ранним утром жена, Клавдия Ивановна.

День начался, как обычный день, за вычетом, впрочем, субботнего настроенья. В коридоре перед окошком сезонники получали деньги, артельщик за спиной кассира готовил брюхастый чемоданчик, чтоб уложить в него квадратики повязанных денег и тяжелые трубки медяков. В субботу занятия кончались рано, и настроенье служащих было предпраздничное. Даже Левон Давыдович казался менее педантичным, его шукастый профиль в стеклянной будочке с задумчивостью вскидывался от бумаг к окну.

А за окном падал легкий, вьющийся мартовский снег, опутывая горизонт мутноватую белью и совершенно исчезая на теплой земле. В такие душные и влажные утра у людей ресницы слипаются от хандры и от лени.

Как вдруг, пренебрегая этикетом службы и зависимостью человека, получающего по самой ничтожной категории, рыжий фыркнул, вскочил и стал ходить взад и вперед, размахивая длинными руками. Потом он остановился перед столом начканца, глядевшего на него с неудовольствием.

— Захар Петрович!

— Ну-с, батюшка?

— Горячее вам спасибо за эту работу. Я архив кончил. Завтра я вам представлю подробный отчет и опись. Извините, что перебиваю вас, но это замечательный архив, замечательный!

— Да чего ж в нем замечательного, Арно Алексаныч?

Рыжий собрался было ответить, но тут помешало маленькое обстоятельство. В контору вошла уборщица, неся чай. Обычно она застигала служащих в самый неподходящий час: один говорил по телефону, теребя свободной рукой свободную ушную мочку; другой наваливался брюшиной на стол, дописывая работу; третий вышел из помещения; четвертому мешал пятый, досказывая дело. Чай, разбросанный по столам, стынул в стаканах, проткнутых оловянной ложкой, и сахар жидко разлагался на доньшке. Но сегодня все обрадовались чаю, и рыжий стремительно взял свой стакан, отойдя к собственному столику.

— Чем же он замечательный?

Рыжий мотнул головой, — он завтракал. Персидская поговорка гласит: к голодному не подходи, сытого не беспокой. Процесс пищеваренья был для архивариуса химией. Медленно и молчаливо наполнял он свое чрево, покуда липнули чьи-то носы с наружной стороны конторского окна: это младший возраст наслаждался видом завтракающих. Из кармана своей голливудской амазонки архивариус извлек один за другим огромные ломти свежего хлеба и окунал их в чай, а потом откусывал. Так чай никто не пил. Это был тоже метод рыжего. Хлеб, окунаясь в сладкий чай, издавал особенный аромат, — мокрой пшеницы. Дьявольское однообразие этого аромата и вкусов рыжего было уже известно в конторе, как и то обстоятельство, что ест он единожды в сутки, после того, как поработал.

— Я подобен персидскому царю Киру, — объяснил он сослуживцам в первый же день, — и вообще спросонок ни одно умное животное не ест, потому что вы сперва израсходуйте теплоту! Спросонок всякое тело голодно только по работе и по движенью. А что касается разнообразия, — так разнообразнее сена пищи нет. Жуйте одно и то же и мысленно представляйте себе, что кушаете сено.

— Чорт тебя поberi с твоим сеном! — пробормотал Володя-конторщик, следя за третьим намоченным в чае ломтем. — Выдумывает он, Захар Петрович. Ничего замечательного в этом архиве нет, я сам видел. На повышение напрашивается!

Но начканц покачал головой. В глубине своего выдавшего виды ума начканц уже давно поставил перед личностью архивариуса большой знак вопроса. Он ловил себя на неудовольствии. Он сожалел, что опрометчиво связался с неподходящим типом. Человек сей был странный и не поддавался шаблону. При нем лишнее слово само собой проглатывалось. И даже его прилипчивость к труду оказалась чересчур необыкновенной, — в ненормальности ее начканцу чудился злой умысел.

— Вот вы увидите, — продолжал нашептывать меринос, покусывая грязноватый мизинец, которым он предварительно выскоблил ухо, — ничего такого из романов не бывает, чтоб человек зря трудился. Дураков нет. Рано или поздно...

Тут рыжий встал, кончив пятый ломоть, и, вставая, собрал с живота широкими ладонями опавшие хлебные крошки.

— Вы меня спросили, чем этот архив замечателен. Знаете ли вы, Захар Петрович, какие тут папки?

— Из правления, за два года, — неуверенно сказал начканц и вдруг тоже встал. Ему вспомнилось нечто. Кровь, синяя подагрическая кровь метнулась на круглое лицо, сделав его багровым. Колени Захара Петровича дрогнули. И тотчас же его беспокойство передалось конторе, потому что все, от телефонистки до счетовода, знали серьезность начканцовой натуры.

— В этом хаосе, мною разобранном, — рыжий сделал пластический жест акробата, словно кувыркнулся рукой в воздухе, — я нашел семнадцать замечательных папок постороннего содержания, не имеющих к нашему гидрострою никакого отношения!

Чувствуя слабость в коленях, Захар Петрович сел. Страшная истина осенила его: бумага из старого правленья, где прежде валялся совнаркомовский архив! Бумага смешанная, неразобранная. Грузили ее за спешкой простые амбалы. А ну если попали сюда секретные документы? Пропал ты, Захар Петрович, добрый человек, хитрый человек, умный талейранище, пропал ни за грош!

Собрав мысли, он кинул на архивариуса добродушный взгляд что-то вспомнившего начальника:

— Ты, Арно Алексаныч, повремени рассказывать. Тебе там из города порученье какое-то, — работа кончена, сбегай, прошу, к Клав-

дни Ивановне с этой цыдулкой... Память у меня! Хоть к доктору иттить.

Он схватил почтовый листочек, размашисто намарал что-то, запечатал в конверт и надпись сделал «Клавдиванне», — а когда говорил и писал Захар Петрович, разыгрывая простеца, в воздухе пахло высокой политикой. Дожидаясь, покуда рыжий возьмет конверт, начканц нетерпеливо дрыгал ногою, ни на кого не глядя. Но лишь только за рыжим стукнула дверь, наконечники кавказского пояса так и запрыгали от юношеской быстроты, с какой вскочил начканц и, перебежав канцелярию, скрылся за стеклом инженеровой будки.

Левон Давыдович был занят. В политике Левон Давыдович ничего не хотел понять. Шопот начканца показался ему: нестоящим вниманья и во всяком случае —

— Я-то здесь ни при чем, абсолютно ни при чем! Вы помните, я вас направил к месткому. Этого человека я не знаю, абсолютно не знаю! Делайте, что хотите.

Проклиная скудомыслие своего патрона, бедный Захар Петрович вернулся в контору, где уже, побросав работу, на все лады обсуждали чудовищное происшествие. Счетовод усиленно рылся в столе архивариуса. Телефонистка, наслаждаясь событием, красила губы. Володя-конторщик говорил. Убитый конферансье воскрес в нем:

— Такого человека, чтоб зря работал, — чорта с два. Плюньте на меня, ежели за ним не Англия! А то — здравствуйте, пожалуйста, «усидчивый работник», — вот вам, Захар Петрович, ваш усидчивый работник перепрет какие-нибудь чертежи за границу, тогда как бы вам самим усидчивым не сделаться, — понимай в другом смысле...

Надо сказать правду, непредвиденное открытие облегчило душу решительно всем. Арно Арэвьян — агент заграницы или попросту Арно Арэвьян — архивный жулик, — это делало личность Арно Арэвьяна близкой и понятной каждому служащему. Ненормальность исчезла. Напряжение шести дней, невыносимо высокий вольтаж чужой личности, для которой попросту не было подходящих в данном месте линий передачи, одинокое пятно на сплошном фоне, злая необходимость уверовать в человека лучшей, чем ты, породы, — все это счастливо отпадало, расплывалось в увеселяющей душу спокойной истине: чудес не бывает! Чудес не бывает, Захар Петрович! Чудес не бывает, наивнейший Захар Петрович!

И даже начканцу Захару Петровичу показалось в эту минуту, несмотря на крайнее душевное беспокойство и боязнь «пострадать персонально», будто дышать стало легче.

— Ты, паря, заткнись. Сядьти, товарищи, по местам. Допрежь всего не набрасывайтесь на человека, дайте ему высказаться.

Орфография и синтаксис дошли у начканца до высшей простецкой точки. Он не хотел вмешиваться, как за минуту перед тем не захотел вмешиваться Левон Давыдович. Он не комментировал и не определял, и даже казалось, — он берет архивариуса под защиту. Полити-

ка научила его мудрому правилу: ждать, чтоб всякое дело, неминуемо наступающее, сделано было вместо тебя другими. Неминуемо наступающим фактом стал тоненький желтый блокнотик и большой лист бумаги, извлеченные счетоводом с торжествующим возгласом из Арэвьяного стола.

— Вот, Захар Петрович, смотрите сами, кого вы на советскую должность приняли, — ехидно произнес счетовод, вкладывая и желтый блокнотик и лист бумаги перед начканцем.

2

Быстрыми шагами прошел, почти пробежал рыжий по косогору, неся в руке конверт, на котором так странно написано:

«Клавдиванне».

Ни с какой женщиной не ассоциировал рыжий это имя. Он напевал «Клавдиванне-Джиованне», представляя себе нечто итальянское. Большую белую красотку с ноздрями, как у деревянной лампадки, в лиловом старом платье, пахнущем валерьянкой и китайским чаем, он забыл прочно, забыл прочно вплоть до той минуты

— стук-стук-стук, можно войти?

войдите, пожалуйста! —

покуда не распахнул дверь и не столкнулся с Клавдией Ивановной носом к носу. Она, — тут надо быть очень внимательным, а рыжий никогда не был внимательным к ней, — еще и не окончила, повидимому, утреннего туалета, хотя кое-какие подробности встречи с мужем, — тазик, стоявший посреди комнаты, тряпка, брошенная в самый угол, развороченная кровать, — объясняли до некоторой степени опоздание. Запах жилья начканца был омерзителен. Логово пахло зверем, живущим на своих нечистотах. Углы, затканые паутиной, пятна на деревянной стене, говорившие о клопах и подошвах, грязь подоконника, где заплесневевший стакан торчал из набитой сором кастрюли, обувь и брошенные носки, корзинка в углу, наполовину развязанная, — длинный белый хлеб почему-то очутился внизу, на газете, — Клавдия Ивановна вынимала привезенное добро, — но что это все значило, когда радостным хохотом отодвинула Клавдия Ивановна паутину, пятна, мусор, корзину, вонь, как натюрморт на вычурной картине больного честолюбца, и почти вцепилась в белые руки рыжего. Она взяла их ладонь к ладони, глядя на него хохочущим взглядом.

— Здрате, у вас тут снег, а в городе прямо лето, я вчера утром в декольте гуляла, ой, какой вы тут стали... Это мне письмо? С какой еще стати?

Она читала, все еще левой рукой цепляясь за рыжего, хотя он упорно отводил ее руку. Пока читала, Арно Арэвьян рассматривал и вспоминал. Клавочка изменилась. Что-то в Клавочке изменилось. Она похорошела необычайно, вредоносно и ослепительно. Прежде всего похудела и побледнела особою бледностью, про которую, если не сдо-

брены щеки фальшивым румянцем, старухи безошибочно говорят «гулящая». Блестящие глаза Клавоочки обведены беспокойными кругами, медь пышных волос, губы ее, — но кто помнит сейчас неутомимую девушку Декамерона, чьи губы обновляли себя тысячу поцелуев? Рассуждая без филологии, рыжий мог бы сказать, что женщина перед ним дьявольски заряжена электричеством, потому что ею обладали не неврастеники. Но и еще одна перемена — в одежде. Халатик на Клавоочке был дорогой. Под халатиком, неплотно запахнутым, шелковое черное трико. Лакированные дорогие туфли... Правда, вкус у нее не улучшился. Дурной вкус. А вот и еще перемена.

Пока она читала, в лице ее медленно творилось нечто, и рыжий, за неделю привыкший к начканцу, безошибочно узнавал круглую, крепкую физиономию мужа в этом бледном и узком женском лице. Grimаса начканца, морщинка начканца, быстрый и осторожный взгляд начканца, неожиданный смешок и закушенная губа, — могучая биология, создающая род: перед рыжим жена обращалась в мужа тысячу деталей, как это часто бывает и остается неразобранным и незамеченным. Сожительство сливает даже и почерки, этот размашистый почерк на письме как две 'капли' походил на ее собственный, подобно схожим почеркам тысячи других супружеских пар. Муж написал:

«Будь с ним осторожна. Задержи на сколько сумеешь у себя и не пускай в контору».

Вчетверо сложив бумажку, Клавдия Ивановна спрятала ее в сумочку, а сумочку бросила на подоконник. Некоторое время она думала, выжидательно глядя на рыжего, и потом вдруг:

— Ах, да.

Через плечо оборачиваясь на него, не ушел ли, она поспешно опустилась перед корзиной, марая халатик в грязи и мусоре. Коробки, жестянки, чулки, белье полетели на хлеб, — вынимая одно за другим, Клавдия Ивановна деловито твердила ему: — Вам письмо, письмо от Аршака, сейчас, куда ж это я его... — Инстинкт подсказал ей, что задержать рыжего можно лишь этим бескорыстным и деловым голосом. Даже и подурнев от усилий и прилива крови к лицу, встала она, наконец, с пола и огорченно принялась вспоминать, где письмо.

— Да вы сядьте... Чего ж вы стоите-то? Вон табуретка. Письмо я вам отыщу — в корзине? Нет, не в корзине. В сумочке? — нет, не в сумочке. Разве в подушке? А ну, в подушке посмотрю.

— Не беспокойтесь, я после зайду.

— Какое ж беспокойство! Аршак — вот армяшка забавный какой... А про портрет вы слышали?

Рыжий не слышал про портрет. Он действительно заинтересовался. Как из туманного далека встал перед ним покинутый город, — работа и участок совершенно отеснили его. Что-то поделявает ху-

дожник-леф? Цела ли крыша? Что виноторговец Гнуни? Дочка его? Жених ее?

Сев возле рыжего на развороченную кровать и не замечая, как отогнулись полы халата, открыв ее длинную ногу в трико, женщина обстоятельно и громко рассказывала:

— Портрет он написал — уж и портрет! Вы почему не сказали, какая теперь мода? Стала бы я такому художнику даваться портреты писать, лучше бы на открытке у фотографа снялась. А некоторым понравилось. Наркомпрос для музея купил. Я Аршаку сказала: если за такую дрянь деньги брать, так по крайней мере дайте мне половину. Три дня рисовал и сразу тысяча рублей. Гнуни я не видела. Походите, куда вы? Я про портрет подробнее расскажу...

Но тут, не вытерпев, Клавочка сделала плохой ход. Слова — не ее оружие, и связывать речь — не в ее власти. Цепкие нежные ладони схватили рыжего за белый кончик шеи, выглядывавший из амазонки, и, пройдясь по затылку, со сладострастнейшей лаской вошли в густые волосы. А потом, словно вспомнив урок, с затуманенным зрачком, одним только глазом поглядывая на него, Клавочка перевернула руку и уже не ладонью, а тыловой стороной, словно исчерпав зарядку ладони и пуская в ход запасное электричество, — легко и быстро скользнула по щеке рыжего. Этой азиатской ласке научилась она у Аршака.

— Вы кончили? — спокойно спросил рыжий, поднимаясь с табуретки. — А теперь я пойду.

Когда он пошел к двери, Клавочка, не найдя, что сказать ему, осталась сидеть на постели, потупившись.

3

Начканц прочел лист бумаги и крикнул. Нечто гоголевское было в этой сценке: чрезвычайно бледные и многозначительные лица, тесно сошедшиеся над бумагой, примятой указательным перстом начканца. Но и мануфактурный кризис выполнил свою роль, подведя под событие экономику: на канцелярских окнах не было занавесок. Расплюснутые носы, не смысля в Гоголе, понимали все-таки, что в канцелярии творится необычное, и мальчишка-почтальон, размахивая пустой сумкой, помчался в соседний, месткомовский, барак. Встретив на пути начальника милиции, он только подбородком кивнул, — дескать, там, в конторе, и ринулся дальше, оставляя за собою в фарватере густой запах чесноку.

— Это карикатура, что ли? — спросил, наконец, Захар Петрович, осилив свою историко-литературную позу. — Карикатура на советскую власть?

Перед ним лежала плотная белая бумага, великолепно разграфленная и покрытая сеткой диаграммы. Вверху красивым и четким почерком стояло:

Кривая темпа устарения архивных бумажек».

— Шифр! — веско изрек Володя-конторщик. — Под видом на-смешки — обыкновенный политический шифр. Видите цифры? Это он секретные данные спер.

Конторская дверь хлопнула. В конторскую дверь вошел начальник милиции Авак. Это было некстати, — и еще более некстати мелькнула в окне быстренькая горбатенькая фигурка Агабека.

— Ну, поехало, — неопределенно пробормотал начканц, чувствуя необходимость объяснений. — Поди сюда, Авак.

Дождавшись милиционера, он приказал, мельком оглядываясь на дверь:

— Опечатай.

Широкий взмах руки пояснил, что опечатать надобно весь разобранный и приведенный в порядок архив:

— Опечатай, покуда не выяснено. Дело в том, товарищ Агабек, — вот хорошо, что зашли во-время, — у нас тут неполадки. Бумаги-то в архиве, оказывается, не наши. Может, чего секретного попало, так вот как бы не вышло неприятности.

— Ерунда!

— Конечно, возможно и ерунда. А все-таки, для порядка. Сами знаете, наш участок не подлежит ни с'емке, ни фотографированью без особого разрешенья, также и архивная бумага.

Говоря это, начканц смахнул со стола себе на живот не только таинственный шифр архивариуса, но и желтый блокнотик. А уж спрятать их в широкий карман под кавказскую рубашку особого труда не представилось. Только маленькая неожиданность помешала погребенью блокнота: полные пальцы Захара Петровича, просовывая в карман желтый корешок, ощутили дружеское пожатие неприятных, холодных, влажноватых пальчиков горбуна, выдававших плохой обмен веществ и болезненность своего владельца.

— Дайте-ка уж и я заодно посмотрю, — сказал Агабек, вынимая из кармана Захар Петровича блокнотик.

Когда рыжий дошел до конторы, она оказалась запертой. Дернув за щеколду, он вопросительно перевел глаза на рабочих, толпившихся в коридоре перед кассой, и, не добившись ответа, вышел. Здесь доброхотцы окружили его. Чесночное дыханье мальчишки-почтальона было путеводною нитью для десятка заинтересованных детских носов. Пробираясь в тыл канцелярии, через канавы и грязь, доброхотцы взобрались прямо на мусорную горку перед конторским окном. Подняв рыжие брови, Арно Арэвьян заинтересовался. Арно Арэвьян к восторгу мальчишек даже засопел слегка и сел вместе с ними на тоненькую дощечку, серьезно и внимательно смотря в окно, где маленький горбун с его собственным блокнотом в руках шевелил не особенно быстро губами, давая начканцу заглядывать через плечо в текст.

Вот что они читали:

«ПАПКА № 4.

Чигдымское дело.

Пояснительная записка.

Село Чигдым, 19 тысяч жителей, сыроварни, крупное молочное хозяйство, маслособойные заводы, мыловарня, ректификационный завод, в проекте текстильная фабрика. Два мнения: увеличить имеющуюся дизельную станцию или строить новую, используя большой Кумарлинский оросительный канал.

Решено строить новую, 5.600 лошадиных сил.

Организован комитет по постройке Чигдымской гидростанции. Трудность добыть деньги: Наркомфин требует сметы.

Извещение от Эльмаштреста об открытии в Баку отделения (Электромашинный трест, объединяющий заводы бывш. Симменс-Шуккерт, динамо-машинный и аппаратный, бывш. соединенные кабельные заводы Дюфлон, арматурно-электрические и ламповые «Светлана», изготовляет динамомашин, электромоторы, турбоагрегаты, трансформаторы, аппараты, провода, кабели, лампы, арматуру, принимает установки и оборудование фабрик, заводов, трамваев и электростанций, гарантирует соперничество с мировыми фирмами, получил заказ от Волжостроя).

Район большого Кумарлинского канала.

Комиссия инженеров обследовала большой Кумарлинский канал, чтоб установить можно ли его использовать для гидростанции, — от головняка канала, до места, где предположена станция. Получение профилей и планов местности.

Организация.

Комиссия состоит: из инженера-гидравлика, инженера-механика, инженера-электрика. Техническая контора: чертежник, делопроизводитель, машинистка.

Изготовление проектов, разбивка работ.

1) Рабочий канал (5 верст) начать с осени после оросительного периода и кончить к весне, чтоб во-время подать воду садам. Приготовить вдоль всего канала нужный материал.

С сентября разбить канал на 5 участков, работать одновременно, палатки для рабочих. Кладка стен на цементном растворе — в теплое время.

2) Станционное помещение — по проекту фирмы, которой будет передан заказ на турбины и генераторы.

3) Машинная часть. Иностранные фирмы берутся выполнить в 7 месяцев, русские в 9 месяцев. Железные напорные трубы заказать русским заводам.

4) Сеть. Трансформаторные будки.

Решено придать органу, которому перейдет постройка, максимум автономности. Забронировать 238.000 рублей реальным золотом.

Рабила.

Цена: мастеровые 1 р. 20 к. в день.
рабочие — 50 к. в день.

Договорились с артелью каменщиков и щебнебойцов.

Какие понадобились рабочие по специальности: каменщики, каменотесы, каменоломы, бурщики, кузнецы, щебнебойцы, плотники, погонщики ослов.

Как трудно было достать цемент, известь, лопаты.

Лопаты и пр. взяты у военного начальства (начштабдвинж)

лопат железных	300 шт.
кирок	150 »
ломов	60 »
топоров	20 »
кувалд	40 »
пил поперечных	6 »
разводок к ним	3 »
цапок	10 »
буров стальных	50 »

Выступает Новоросцемторг.

Новоросцемторг предлагает цемент, копия технического испытания цемента: 1) измол, 2) условия схватывания, 3) цвет (светло-синевато-серый), 4) постоянство объема, 5) проба нагреванием в плитке, 6) проба водой — через 28 дней, 7) вес литра в рыхлом и плотном виде, 8) площадь разрыва, 9) испытанье при раздавливании...

Первый участок — где будет станция (станционное здание, жилой дом, напорный бассейн, шлюзы, отводной канал, фундаменты для напорных труб и пр.). Второй участок — на головняке канала (головной шлюз, сливной полузапруды и пр.).

Дваглавных участка работ.

Когда начались работы, между профсоюзом строителей и комитетом был заключен колдоговор. Гидрострой обязался давать преимущество членам союза и нанимать рабочих со стороны только в случае, если биржа не представит рабочих в течение 3 дней. При приеме и увольнении участвует представитель профсоюза. Нанимаются как сдельно, так и поденно, но в случае сдельной получают наряд в письменной форме с обозначением расценок.

Коллективный договор с профсоюзом.

Рабочий день 8 часов, сверхурочных не более 2-х часов. Кипяченая вода. Оплата и освобождение одного рабочего для месткомовской работы.

А когда приступили к работе, выяснилось: комитет организовал работу при помощи подрядчиков. Подрядчики, их типы. Заявления подрядчиков о новом определении грунтов, требования увеличить оплату, т. к. приходится корчевать деревья. Нажим на подрядчиков — декрет о принудительном размещении среди них шестипроцентного займа. Война подрядчиков с профсоюзом.

Подрядчики и биржа.

Профсоюз все время агитирует за нежелательность сдельной работы, запрещает сдельным работам свыше 8 часов. Биржа труда присылает своих рабочих в половине девятого утра без инструментов, и хотя десятник отказывается их принять из-за позднего времени, профсоюз настаивает и отбирает для передачи им инструменты у части вольнонаемных. Снятые рабочие потребовали, чтоб им заплатили за целый день. Фактически хозяева на работе профсоюз и его представители. Позиция профсоюза привела к отказу всех рабочих от сдельной работы, вследствие чего производитель работ уволил рабочих.

Вопрос о сдельщине. Как он решался в 1923 году.

Чем грешны подрядчики? Они часто не регистрировали рабочих и, перейдя на сдельщину, не представляли договоры и условия в соответствующие учреждения.

Десятники и техники стали манкировать, приходиться на линию позже всех и уходить раньше в виду того, что им было отказано в сверхурочных. Несколько рабочих самовольно сбежали. В марте — катастрофическое положение, все рабочие (сезонники) начинают покидать работу. Между тем окончание канала предполагается 15 мая, чтоб дать воду на поливку садов. 29 марта созывается экстренное заседание Комитета для урегулирования отношений с подрядчиками, которые по докладу производителя работ медленно ведут работу. На повестке — недостаток в рабсиле, возрастающая задолженность.

Развал работ.

В районе канала начинаются злоупотребления и разбои. Для донесения: 1) от подрядчика 1-го участка: в воскресенье 3 февраля какие-то лица сломали замок головного шлюза, подняли щит и намеренно затопили весь первый пикет. Одновременно сняли шкив и унесли шпонку от вала. 2) 6 февраля десятник 2-го участка донес, что рано утром 80 человек сделали набег на сады в районе 2-го участка с топорами и инструментами и начали рубить деревья. Он хотел отнять топоры, но порубщики ранили десятника палкой, а рабочего топором. Необходимо организовать охрану по всему району канала.

Безобразия в районе работ.

Рабочие тоже наносят ущерб садам. В Наркомзем поступила жалоба садовладельцев Мешади Кяфар Карпалай Касим-Оглы и Гусейна Али-Оглы.

И рабочие не на высоте.

На одном из участков запальщик, получив для запальных работ динамит, стал глушить рыбу в канаве динамитом.

Мирабы (распределители воды) малого Кумарлинского канала не отпускают воду для нужд подрядчиков, работающих на гидрострое.

Конфликты между рабочими и местным населением.

Воду рабочим доставляла агдахская канава. В марте воды стало недостаточно, временами она прекращалась вовсе. Выяснилось, что воду расхватавали по дороге крестьяне для поливки.

Дело крестьянина Гайсеряна. Он разрушил дамбу на первом пикете, устроив ниже островка рыболовные приспособления. Пущенная вода стала значительно размывать насыпанную землю у нижней стены. Тогда рабочих Харибов разрушил плотину, устроенную Гайсеряном, и частично восстановил дамбу. Гайсеряна обвиняет Харибова в порче его рыболовных принадлежностей.

Вопросы, разбирающиеся в технической комиссии по гидро-строю:

1) О ливневых водах на существующем Кумарлинском канале (пропустить их самостоятельными железобетонными лапками или каменными акведуками, оградить канал с нагорной стороны).

2) О порогах и водосборных шлюзах. Пороги углубить и устроить через каждую версту.

3) О трассировке канала. Трасса взята правильно. В узких догах допустить радиус кривизны трассы канала до 5 сажен, с уширением сечения канала для уменьшения скорости.

4) Об облицовке дна канала, — особо тщательно, т. к. скорость воды в канале значительная.

5) Об ограждении канала с нагорной стороны от падающих камней устройством берм и др. сооружений.

Инженер Григорян докладывает о своем проекте удешевить станцию при помощи габионов Пальвиса. Итальянец Пальвис избрал материал, заменяющий цемент. «Габионы Пальвиса» — разнообразной формы ящики, сплетенные из оцинкованной проволоки и наполненные камнями. Они скрепляются вместе и хорошо и крепко держат воду. Из них можно соорудить разгрузочную, водосливную стенку форканала, водосливную плотину, низовую подпорную стену деривационного канала и напорный бассейн.

Рабочие укрылись от дождя под откос песчаного карьера, где работы были прекращены вследствие угрожающего положения. Произошел обвал, их засыпало, троих спасли, одного на смерть.

Несчастный случай с двумя рабочими. Акт. 15 февраля при уширении канала от удара кирки произошел взрыв динамита, которым тяжело ранило двух рабочих. Расследование выяснило, что до 13 февраля работы по уширению производились динамитом вследствие сильной мерзлости грунта. В цилиндры 12 вершков глубины закладывалось по 1½—2 заряда динамита, при чем капсюль закладывался только в верхний заряд. Очевидно, какой-то заряд в одном из цилиндров не дал взрыва, в то время как верхний взорвался. Пролежав 2 дня в промерзлой земле и оттого став особенно чувствительным к детонации, заряд взорвался от удара кирки.

Новое заседание Комитета от 10 мая. Решено устранить подрядчиков 2-го участка, а также артель союза строителей за то, что не ликвидировали задолженности рабочим. Подрядчики 1-го участка арестованы за саботаж и отказ от выполнения договора. Затребованы рабочие из Ленинанкана.

20-го июля канал готов, вода пущена, — оказался слишком большой напор.

Техническая мысль продолжает свою работу.

Отдельные инженеры проявляют инициативу.

А тем временем учащаются несчастные случаи.

Экстренные меры, принятые Комитетом против развала работ.

Конец первого этапа работ.

IV

Здесь горбун передохнул и поднял глаза на Захара Петровича. Смутное воспоминание встревожило его. Что-то странное, не совсем обычное было в прочитанном, и свое, и как-будто не свое, и приблизительное сходство с действительностью, и очевидное несходство.

— Надо бы...

Но тут прервал его начмилиции Авак. Начмилиции вошел с сургучом в руках, который он только для виду пытался согреть на свечном огарке. Начмилиции никогда ничего не опечатывал, и приказ начканца поставил его в тупик. Скобля пальцем большую круглую печать и дуя на сургуч, как только начинал он бурчать на свечке, милиционер Авак в глубине души жаждал подмоги, и подмога явилась в лице рыжего. Крепко постучав в дверь, Арно Арэвьян появился, покрытый легким пухом снега, прозябший, отсыревший. И вместе с Аваком предстал сейчас перед Захар Петровичем.

— Они не велят опечатывать! — впопыхах заговорил Авак с видом человека, насильственно оторванного от дела. — Они говорят: стой! А у меня сразу сургуч простыл. Это не дело, — двадцать раз сургуч нагревать.

— Совершенно бессмысленно опечатывать архив, — серьезно сказал рыжий, — не понимаю, чем это вызвано. Вы прочли мой конспектик? Ну, так это и есть посторонние папки, несколько штук, вот они, я законспектировал их из жалости, потому что, видите ли, эти папки подлежат...

Длинный палец рыжего показал на отметку красными чернилами: «уничтожить за давностью и ненадобностью».

— Но я не мог их уничтожить сразу, — уютно продолжал рыжий. Он опять был хозяином положения. Он поискал глазами, спиной нащупал за собой стол и, легко приподняв на руках тело, мячиком уселся на край стола, — я их сразу уничтожить не мог. Ведь это постройка чигдымской гидростанции, той маленькой, захудалой, что дает энергию Чигдыму.

— А, вспомнил! — вырвалось у горбуна. — То-то читаю и удивляюсь. Пять лет назад...

— Четыре года назад. Завтра я собирался сделать об этом маленький докладик перед рабочими.

— Да вам-то какое дело! Кто вас уполномочивал? — не стерпел Захар Петрович.

— Инженер новый нашелся! Доклады делать!

Но дверь в канцелярию, настежь открытая, уже забилась головами. Весь коридор, с самого окошка кассира, слушал с жадностью. Младший возраст, подобно подростку, настойчиво дышал в чужие штаны, протискиваясь головами вперед. Слух шел из отдаленных углов коридора, что кого-то арестовали, и, поднимаясь на цыпочки, давя друг друга, дальние лавиной перли на ближних.

— Как на мануфактуру идти, — язвил Захар Петрович наипростейшим своим стилем. — Айда, вали назад!

— Нет уж, товарищ Малько! Рабочих будоражить, — это не дело. Опрометчиво не он, а, извините, вы опрометчиво поступили. Я так думаю: пускай он объяснит в чем дело. Кто поймет — поймет, кто не поймет — не поймет. Говори, товарищ!

Уютно размещаясь на столе, рыжий опять приподнял на руках тело, будто собирался вскинуть его для полета. Очки блеснули на встречу местному. Добродушный рот медленно жевал, подыскивая слова с той вкусной и заставляющей любопытствовать осторожностью внимания, какая пленяет детей в часовнике, ковыряющем иглой или щипчиками в бесконечно малых искомах. Этот архив, куча казенных бумажек, имевших хождение от — до, был для него своеобразной школой предметности; он мог говорить бесконечно о сложных профессиях, неведомых большинству людей (одних, например, каменщиков четыре названья: «каменщики», «каменотесы», «каме-

ноломы», «щербенобойцы»), об инструментах, чье звучанье вызывает к действию («цапка», инструмент цапка, — это хватает, как собака за ногу), — но в сущности начинать с мелочей не следовало, и, вкусно пожевав губами, рыжий проглотил про себя начало. Он назвал свой конспект романом. Он стал пересказывать его, как делают ребяташки, возвращаясь домой с киносеанса: сперва место действия, потом действующие лица, картина первая, вторая, третья. Село Чигдым без описанья природы, в цифрах и докладных записках встало перед случайными слушателями рыжего с яркой выразительностью стендалевского городка, некогда начатого Стендалем, по приему архивных дел, с описанья городских мельниц и их доходности.

— В голодный год, когда большие города думали в первую очередь о продовольствии, безработных, размещеньи беженцев, село Чигдым задумало построить гидростанцию, — так начал свой роман рыжий. — Село Чигдым задумало, а в ответ сразу со всех концов Союза разволновались те, до кого это дело касается. Где-нибудь за границей чигдымцев завалили бы сотней реклам сотни предприятий. У нас при царе чигдымцев стали бы распирать конкуренты, а какому-нибудь нужному человеку подсунули бы тайком в руку или, как тогда называлось, «заинтересовали бы», и заказ получил бы один из конкурентов. Но в нашем Союзе вместо сотни реклам — одна; к чигдымцам посылает визитную карточку такое хвостатое чудище, что даже перечислить его трудно, Э л ь м а ш т р е с т, в животе которого рядком сидят все прежние конкуренты. Прочитайте характеристику этого героя. Какой поэт придумает сказать так мало и так много сразу?..

Он говорил, оживляя каждый столбец папки. Перед слушателями, словно на экране, проходили подрядчики, — ни один не похож на другого. Жирный, со свисающими усами, в высокой барашковой шапке побежал садовод Мешади Кяфар Карпалай Касим-Оглы жаловаться в Наркомзем, — и на длинной неразберихе этого имени рыжий остановился многократно, рыжий балансировал в воздухе звуками этого имени, он предлагал в пространство: «а ну-ка, выдумайте нечто подобное из головы». Диалектика пьянила его, делая изложение почти театральным. Драматизируя обстоятельства, он принимал то одно, то другое выраженье лица, голос его изменялся как по волшебству. Люди вели свою линию, они строили, вторгались в частную жизнь поселян, станция вплывала большим китом в лужицу мелкого сельского быта. Тогда начинал мстить быт: крестьяне отнимают воду, разрушают дамбу, разбойничают, жалуются. Но диалектика шла еще глубже. Великолепен был в изложении рыжего инженер. Он возник перед слушателями деловой фигуркой, усеченной, как пирамида, форменною фуражкой, — весь в чувстве касты и кастовой инерции. Сквозь зубы он жалуется на помехи, жалоба протекает даже в язык казенной бумаги, желчью желтеет в папке. Читая, рыжий оживлял эту желчь, и там, на другом конце качелей, показывал союз и биржу, животом налегшие на ту же доску.

И тут вдруг, обернувшись к местному, внезапно скользнул с об-разной и театральной декламации к самой деловой прозе:

— Товарищ Агабек, у вас есть директивы о сдельной работе?.. А посмотрите, как барахтался союз четыре года назад. Он агитировал рабочих пр о т и в сдельной работы, он инженерам и хозяйственникам не давал строить, он их держал в хроническом бешенстве, он на пер-вый взгляд прямо разорял работу, — сухие бумаги кричат об этом. Сейчас, через четыре года, эта диалектика нам яснее видна, и еслиб инженеры могли, наконец, диалектически воспринимать жизнь, — а ин-женеры долго этого не смогут, они ублюдки дела, — им все стало бы гораздо понятней. Мог союз четыре года назад поступить иначе? Нет, он не мог поступить иначе! Почему? Потому что инженеры работали с подрядчиками. Эта старая крыса, подрядчик, был эхом старого мира и его практики. Он на рабочих наживался. Нельзя было при системе подрядчиков допускать сдельщину, — это вело к эксплуатации, а не к повышению производительности. Борясь против сдельщины, союз боролся за новую организацию труда, и не мог иначе, и был тысячу раз прав, и победил, потому что подрядчики исчезли, их больше нет, мы теперь работаем с артелеводами. В будущем, может быть, и артели исчезнут, появятся группы, бригады. Выиграло от этого строитель-ство? Выиграло. Мы строим лучше, чем раньше! А тогда казалось, что профсоюз губит стройку... Дайте мне мою диаграмму, где она?

Секрет таинственной бумажонки, политический шифр Володи-ме-риноса раз'яснился. Подняв ее над головой, рыжий громко прочел:

«К р и в а я т е м п а у с т а р е н и я а р х и в н ы х б у м а ж е к».

— Только четыре года прошло, товарищи, а куда мы скакнули, как быстро мчимся, взгляните только. Все уже переменялось. Возь-мите тогдашний бюджет, стоимость рабсилы, кустарное начало строи-тельства, ударный порядок, отсутствие плана, отсутствие экономиче-ских записок. Никаких в деле документов о загрузке, о потребителях энергии, никакого намека на кустованье, на будущую сеть станций,— это не входило в радиус постройки, радиус был короткий, не плано-вый, кустарный, дело рождалось одиночкой. Наш теперешний архив и этот чигдымский архив — две разных эпохи. А если вы вздумаете сравнить их с дореволюционными архивами, — разница будет другая. У нас архивы ежегодно стареют, а до революции они были неподвиж-ны, они ужасны своей прочностью: за десяток лет ни условия, ни отношения, ни цены, ничто не менялось, время и быт стояли... Вот что может извлечь архивариус из своей работы.

Он передохнул и тихонько опустил тело на прежнее место, как после полета в воздухе. Он был очень доволен тем, что высказался. Но, быть может, ему не следовало быть довольным или показывать свое довольство? Где-то там, над низколобою головой Захара Петро-вича, он опять воздвигал этим невыносимо-высокий вольтаж своей личности. И, нащупывая слабое место, в наступившей тишине За-хар Петрович взял слово:

— Так-то так, Арно Алексанч. Мы тебя выслушали. В своем времени ты, разумеется, волен. Но!

(Опять особенное, большое НО вышло у начканца, как тогда, после собранья):

— Но с волками жить по-волчьи выть. Тут у нас люди из-за куска хлеба работают. Нехорошо, знаешь, между своими выдаваться. Работа пыльная, трудная, сидячая, а ты сиди, ежели пить-есть надо, — ведь вот какая обыкновенная-то наша совслужеская психология. Ну, а ты, брат, видимо не из-за куска хлеба стараешься. Это, — как бы справедливей выразиться? — для простого служащего человека обидно выходит, не по-товарищески выходит. Да!

(Продолжение следует)

Петр Первый

Повесть

АЛ. ТОЛСТОЙ

(Продолжение ¹⁾)

19

Если верхние бояре, думавшие в кремлевском дворце государеву думу, все еще надеялись жить, как бог пошлет;— «молодой царь-де перебесится, дела образуются, тревожиться не-зачем, что бы ни стряслось, — мужики всегда прокормят»; если в Преображенском Петр со всякими новыми людишками, алчущими жизни, с купцами иноземными и своими, дворянами, променявшими дедовскую честь на ялонжевый парик, — теперь безо всякого удержу истощал казну на воинские и другие потехи, на постройку кораблей, солдатских слобод и дворцов для любимцев, шумел и бесстыдничал, веселился беспечно; если государство попрежнему кряхтело, как воз в трясине, — на Западе — в Венеции, в Римской империи, в Польше, — так поворачивались дела, что терпеть московскую дремоту и двоедушие более не могли. В Северном море хозяйничали шведы, в Средиземном — турки, — их тайно поддерживал французский король. Турецкий флот захватывал венецианские торговые корабли. Турецкие янычары разоряли Венгрию. Подданные султану крымские татары гуляли по южным польским степям. А московское государство, обязанное по договору воевать татар и турок, только отписывалось, медлило и виляло: «Мы-де посылали два раза войска в Крым, а союзники-де нас не поддержали, а ныне урожай плох — надо бы подождать до другого года, воевать не отказываемся, но ждем, чтобы вы сами начали, а мы-де ей-богу подсобим...»

В Москве сидели послы крымского хана, на подарки боярам не скупились, уговаривали заключить с Крымом вечный мир, клялись русских земель не разорять и прежней стыдной дани не требовать. Лев Кириллович писал в Вену, Краков и Венецию к русским великим послам, чтобы цезарским, королевским и дожеским обещаниям не верить и самим обещать уклончиво. Третий уже год шла эта волокита.

¹⁾ См. «Новый Мир», кн.кн. 7—12 за 1929 г. и кн.кн. 1—4 с. г.

Турки грозились огнем пройти всю Польшу, в Вене и Венеции воздвигнуть полумесяц. И вот из Вены в Москву прибыл цезарский посол Иоган Курций. Бояре испугались,— надо было решаться. Посла встретили с великой пышностью,— провезли через Кремль, поместили в богатых палатах, кормовые определили вдвое против иных послов и начали путать канитель, лгать и тянуть дело, отговариваясь тем, что царь-де в потешном походе, а без него решить ничего не могут.

Все же говорить пришлось. Иоган Курций припер бояр старым договором, добился, что приговорили' быть войне, и на том поцеловали крест. Курций, обрадованный, уехал. В Москву прислали благодарственные письма от римского цезаря и польского короля, где именovali царя «величеством» со всем полным титулом вплоть до «государя земель Иверской, Грузинской и Кабардинской и областей Дедич и Отчич...» После сего удалось протянуть еще некоторое немалое время. Но уже было ясно, что войны не миновать...

20

После масляной недели, когда великопостный звон поплыл над засмиревшей в мягком рассвете Москвой, про войну заговорили сразу на всех базарах, в гостиных рядах, в стрелецких слободах, на посадах меж ремесленниками. Будто в одну ночь нашептали людям: «Будет война — чего-нибудь да будет... А будет Крым наш — торгуй хоть со всем светом,— не то что гнить на московском базаре... Море великое, там ярыжка за копейкой за щеку не полезет...»

Приходившие с обозами пшеницы из-под Воронежа, Курска, Белгорода мужики-хуторяне и омужичившиеся помещики-однодворцы рассказывали, что в степях войны с татарами ждут не дождутся... «Степи нашей на полдень и на восток — на тысячи верст. Степь, как девка ядреная,— над ней только портками потряси,— в зерне под шею бы ходили... Татарва не допускает... Сколько нашего брата в плен в Крым угнали,— эх... А воля в степях, а уж воля! — не то что у вас, москали...»

Более всего споров о войне было на Кукуе. Многие не одобряли: «Черное море нам не надобно, к туркам, в Венецию лес, деготь, да ворвань не повезешь... Хлеб у них свой на Кубани... Воевать надо северные моря...» Но военные, в особенности молодые, горячо стояли за войну. Этой осенью ходили двумя армиями под деревню Кожухово и там, не в пример прочим годам, воевали по всей науке. Про полки Лефортов и Бутырский, про потешных Преображенцев и Семеновцев, наименованных теперь лейб-гвардией, иноземцы отзывались, что не уступят шведам и французам. Но славой кожуховского похода гордиться можно разве что на пирах под заздравные речи, шум литавров и залпы пушек. Офицеры в вороных париках, шелковых шарфах до земли и огромных шпорах не раз слыхивали в догонку: «Кожуховцы, храбры бумажными бомбами воевать, татарской пульки попробуйте...»

Колемались только самые ближние,— Ромодановский, Автоном Головин, Апраксин, Гордон, Виниус, Александр Меньшиков: предприятие казалось страшным... А вдруг — поражение? Не спастись тогда никому, всех захлестнут возмущенные толпы... А не начинать войны — того хуже, — и так уже ропот, что царя опутали немцы, — душу подменили, денег уйма идет на баловство, люди страдают, а дел великих не видно...

Петр помалкивал. На разговоры о войне отвечал двусмысленно: «Ладно, ладно, пошутили под Кожухом, к татарам играть пойдем...» Один только Лефорт да Меньшиков знали, что Петр затаил страх, тот же страх, как в памятную ночь бегства в Троицу. Но и знали, что волевать он все же решится.

Из Иерусалима двое черноликих монахов привезли письмо от иерусалимского патриарха Досифея. Патриарх слезно писал, что в Андрианополе прибыл посол французский с грамотой от короля на счет святых мест, подарил-де великому визирю семьдесят тысяч золотых червонных, а случившемуся в то же время в Андрианополе крымскому хану — десять тысяч червонных, и просил, чтоб турки отдали святые места французам... «И турки отняли у нас, православных, святой гроб и отдали французам, нам же оставили только двадцать четыре лампы. И взяли французы у нас половину Голгофы, всю церковь вифлеемскую, святую пещеру, разорили все деисусы, раскопали трапезу, где раздаем святой свет, и хуже наделали в Иерусалиме, чем персы и арабы. Если вы, божественные самодержцы московские, оставите святую церковь, то какая вам похвала будет?.. Без того не заключайте с турками мира, — пусть вернут православным все святые места. А буде турки откажутся — начинайте войну. Теперь время удобное: у султана три больших войска ратуют в Венгрии с императором. Возьмите прежде Украину, потом Молдавию и Валахию, также и Иерусалим возьмите и тогда заключайте мир. Ведь вы ж упросили бога, чтоб у турок и татар была война с немцами, — теперь такое благополучное время, и вы не радеете! Смотрите, как мусульмане смеются над вами: татары-де — горсть людей — и хвалятся, что берут у вас дань, а татары — подданные турецкие, то и выходит, что и вы — турецкие подданные...

Обидно было читать в Москве это письмо. Собралась большая боярская дума. Петр сидел на троне, молча, угрюмый, — в царских ризах и бармах. Бояре отводили душу витиеватыми речами, ссылались на древние летописи, плакали о попрании святынь. Уж и вечер засинел в окнах, на лица полился из угла свет лампад, — бояре, вставая по чину и месту, отмахивали тяжелые рукава и говорили, говорили, шевелили белыми пальцами, — гордые лбы, покрытые потом, строгие взоры, холеные бороды и пустые речи, крутившиеся, как игрушечное колесо на ветру, оскоминой вязли в мозгу у Петра. Никто не говорил прямо о войне, а, косясь на думного дьяка Виниуса, записывающего с двумя подьячими боярские речи, — плел около... Страшились вымол-

вить — война! — разворотить покойное бытие... А вдруг да снова смута и раззорение? Ждали царского слова и, очевидно, как бы он сказал, так бы и приговорили.

Но и Петру жутко было взваливать на одного себя такое важное решение: молод еще был и смолоду пуган. Выжидал, шурил глаза. Наконец, заговорили ближайшие и уже по-иному, — прямо к делу. Тихон Стрешнев сказал:

— Конечно, воля его, государева... А нам, бояре, животы должно положить за гроб господень поруганный да за государеву честь... Уж в Иерусалиме смеются, — куда же позору-то глыбше?.. Нет, бояре, приговаривайте созывать ополчение...

Лев Кириллович по тихости ума понес было издали — с крещения Руси при Владимире, но, взглянув на кислое сморщившееся лицо Петра, развел руками.

— Что ж, нам бояться нечего, бояре... Василий Голицын ожегся на Крыме. А чем ополчение-то его воевало? Дрекольем... Ныне, слава богу, оружия у нас достаточно... Хотя бы мой завод в Туле, — пушки льем не хуже турецких... А пищали и пистолы у меня лучше... Прикажет государь, — к маю месяцу наконечников копий да сабелек поставлю хоть на сто тысяч... Нет, от войны нам пятиться не можно...

Ромодановский, посипев горлом, сказал:

— Мы б, одни жили, мы бы еще подумали... А на нас Европа смотрит... На месте нам не топтаться, — сие нам в неминуемую погибель... Времена не Гостомысла, а жестокие времена настают... И, думаю, первое дело — побить татар...

Тихо стало под красными низкими сводами. Петр грыз ногти. Вошел Борис Алексеевич Голицын, обритый наголо, но в русском платье и веселый, подал Петру развернутый шершавый лист. Это была челобитная московского купечества: просили защитить Голгофу и гроб господень, очистить дороги на юг от татар и, если можно, то и города рубить на Черном море... Винус, подняв на лоб очки, внятно прочел бумагу. Петр поднялся, — мономаховой шапкой под самый шатер.

— Что ж, бояре, как приговорите?

И глядел зло, рот сжал в куриную гузку. Бояре восстали, поклонились.

— Воля твоя, великий государь, — созывай ополчение...

— Цыган... Слушай меня...

— Ну?

— Ты ему скажи, — подручным, скажи, был у меня в кузне... и крест на том целуй...

— Стоит ли?

— Конечно... Еще поживем... Ведь эдакое счастье...

— Надоело мне, Кузьма... Скорее бы уж кончили...

— Кончут! Дождись... Вырвут ноздри, кнутом обдерут до костей и в Сибирь...

— Да, это... Пожалуй... Это отчаянно...

— Льва Кирилловича управитель был в Москве и взял грамоту, чтоб искать в острогах нужных людей — брать на завод... А это как раз мое дело,— я и разговорился... Они меня помнят... Э, милый, Кузьму Жемова скоро не забудешь... Есть мне дали шти с говядиной... И обращение — ничего, без битья... Но — строго... Позовут, ты так и говори,— был у меня молотобойцем...

— Шти с говядиной? — подумав, повторил Цыган.

Разговаривали Цыган с Жемовым в тульском остроге, в подполье. Сидели они вот уже скоро месяц. Били их только еще один раз, когда поймали на базаре с краденой рухлядью. (Июде тогда удалось убежать.) Они ждали розыска и пытки. Но тульский воевода с дьяками и подьячими сам попал под розыск. Про колодников забыли. Осторожный сторож водил их каждое утро, забитых в колодки, на базар — просить милостыню. Тем питались, да еще кормили и сторожа. И вот — негаданно — вместо Сибири — на оружейный завод Льва Кирилловича. Все-таки ноздри останутся целы... да и убежать будет легче...

В тот же день Цыган сказал про себя так, как учил его Жемов. Из острога их в колодках погнали за город через пловучий мост на реку Упу, где по берегу стояли низкие красно-кирпичные постройки, обнесенные тыном, и в отведенной из реки канаве скрипели колеса водяных мельниц. Было студено, с севера волоклись тучи. У глинистого берега толпа острожников выгружала со стругов дрова, чугун и руду. Кругом — пни да оголенные кусты, омертвевшие поля. Осенний ветер. Тоской горел единый глаз у Цыгана, когда подходили к окованным воротам, где стояли сторожа с бердышами... Мало того, что и били и гоняли, как дикого зверя по земле, душу вытряхивали,— мало им этого!.. Работай на них, работай... Сдохнуть не дают...

Ввели в ворота, на черный, заваленный железом двор... Грохот, визг пил, стукотня молотков. Сквозь закопченные двери видно — летят искры из горна, там люди, голые по пояс, размахиваясь кругом, куют полосу, там многопудовый молот от мельничного колеса падает на болванку и брызжет нагар в кожаные фартуки, там у верстаков — слесаря... Из ворот по доскам на крышу приземистой печи тянутся тачки с углем, огонь и черный дым выбрасываются из домны. Жемов толкал локтем Цыгана:

— Здесь самое мое занятие... узнают они Кузьму Жемова...

В стороне от кузниц в опрятном кирпичном домике в окно глядело розовое, как после бани, бритое лицо в колпаке. Это был управляющий заводом — немец Клейст. Он постучал о стекло табачной трубкой. Сторож торопливо подвел Жемова и Цыгана, объяснил, кто они и откуда. Клейст поднял нижнюю часть окошечка, высунулся, поджав губы. Колпачная кисточка качалась впереди полного лица. Цыган с враждой, со страхом глядел на кисточку... «Ох, душегуб» — подумал...

Позади Клейста на чистом столе стояла жареная говядина, румяные хлебцы и золоченая чашка с кофеом. Приятный дымок от трубки полз в окно. Глаза его, бездушные, как лед, проникали в самое нутро русское. Достаточно оглядев обоих колодников, проговорил медленно и внятно:

— Кто обманывает — тому плёхо. Присылают негодных мужикофф, свинячьих детей... Ничего не умеют,— о, свольоч! Ты добрый кузнец — хорошо... Но если обманываешь — я могу повесить (постучал трубкой о подоконник)... Да, повесить я тоже могу, мне дан закон... Сторож, отведи дуракофф под замок...

По дороге сторож сказал им вразумительно:

— То-то, ребята, с ним надо сторожко... Чуть-чуть упущение, проспал али поленился, он без пощады.

— Не рот разевать пришли,— сказал Жемов.— Мы еще и немца вашего поучим...

— А вы кто будете-то? слышно — воры-разбойнички? За что вас, собственно?

— Мы, божья душа, с этим кривым в раскол пробирались, на святую жизнь, да чорт попутал...

— А, ну это другое дело,— ответил сторож, отмыкая замок на низенькой двери.— У нас порядки, чтобы знать, вот какие... Идите, я свечу вздую... (Спустились в подклеть. Лучики света сквозь дырки железного фонаря ползуче осветили нары, досчатые столы, закопченную печь, на веревках — лохмотья...) Вот какие порядки... Утром в четыре часа я бью в барабан,— молитва и — на работу. В семь — барабан, завтракать — полчаса... Часы при мне, видел? (Вытащил медные, с хорошую репу, часы, показал.) Опять, значит, на работу. В полдень — обед и час спать. В семь ужин — полчаса, и в десять — шабаш...

— А не надрываются? — спросил Цыган.

— Которые, конечно, не без этого. Да ведь, милый,— каторга: кабы ты не воровал, на печи бы лежал, дома... Есть у нас пятнадцать человек с воли, наемных,— те в семь шабашут и спят отдельно, в праздники ходят домой...

— И что же,— еще хрипче спросил Цыган, сидя на нарах,— нам это навечно?

Жемов, уставясь на светлые дырки круглого фонаря, мелко закашлялся. Сторож буркнул что-то в усы. Уходя, захватил фонарь...

Почтенная с пегой проседью борода расчесана, волосы помазаны коровьим маслом, шелковый поясок о сорока именах святителей повязан под соски по розовой рубахе... И не на это даже, а на круглый, досыта сытый живот Ивана Артемича Бровкина глядели мужики, — бывшие кумовья, сватья, шабры... То-то и дело, что — бывшие... Иван Артемич сидел на лавке, руки засунул под зад. Очи — строгие, без ми-

гания, портки тонкого сукна, сапоги пестрые, казанской работы, с носками — крючком. А мужики стояли у двери на новой рогоже, чтоб не наследили лаптями в чистой горнице.

— Что ж,— говорил им Иван Артемич,— я вам, мужички, не враг... Что могу — то могу, а чего не могу — не прогневайтесь...

— Куренка некуда выпустить, Иван Артемич...

— Скотине-то ведь не скажешь, она и балует, ходит на твой покосик-то...

— А уж пастуха всем миром посечем на твое здоровье...

— Так, так...— повторял Иван Артемич.

— Отпусти скотинку-то...

— Уж так стеснились, так стеснились...

— Мне от вас, мужички, прибыль малая,— ответил Иван Артемич и, высвободив руки из-под зада, сложил их,— пальцы в пальцы,— наверху живота.— Порядок мне дорог, мужички... Денег я вам роздал,— ой-ой сколько...

— Роздал, Иван Артемич, помним, помним...

— По доброте... Как я уроженец этой местности, родитель мой здесь помер. Так что — бог мне благодетель, а я вам. Из какого роста деньги вам даю,— смех... Гривна с рубля, в год,— ай-ай-ай... Не для наживы, для порядку...

— Спасибо тебе, Иван Артемич...

— Скоро от вас совсем уеду... Большие дела начинаю, большие дела... В Москве буду жить. Ну, ладно... (Вздыхнув, закрыл глаза.) Кабы с вас одних мне было жить, плохо бы я жил, плохо... По старой памяти, для души благодетельствую... А вы что? Как вы меня благодарите? Потравы. Кляузы. Ах, ах... Ну уж, бог с вами... По алтыну платите с коровенки, по деньге с овцы,— берите скотину...

— Спасибо, дай бог тебе здоровья, Иван Артемич...

Мужики кланялись, уходили. Ему хотелось еще поговорить. Добер был сегодня. Через сына Алешу удалось ему добраться до поручика Александра Меньшикова и поклониться двумястами рублями. Меньшиков свел его с Лефортом. Так высоко Бровкин еще не хаживал,— оробел, когда увидел небольшого человека в волосах до пояса, всего в шелку, в бархате, в кольцах, переливающихся огнями... Строг, нос вздернут, глаза — иглами... Но когда Лефорт узнал, что перед ним — отец Алешки да с письмом от Меньшикова, — заиграл улыбкой, потрепал по плечу... Так Иван Артемич получил грамоту на поставку в войско овса и сена...

— Саня, — позвал он, когда мужики ушли, — убери-ка рогожу... Кумовья наследили...

У глаз Ивана Артемича лучились смешливые морщинки. Богатому можно ведь и посмеяться, — с титешных лет до седой бороды не приходилось. Вошла Санька в зеленом, как трава, шелковом летнике с пуговицами. Темно-русая коса, в руку толщины, до подколенок, живот

немного вперед, — уж очень грудь у нее налилась, стыдно было. Глаза синие, глупые...

— Фу, лаптями нанесли! — отвернула красивое лицо от рогожи, взяла ее пальчиками за угол, выбросила в сени. Иван Артемич лукаво глядел на дочь. Эдакую за короля отдать не стыдно.

— Двор буду каменный ставить на Москве... В первую купецкую сотню выходим... Саня, ты слухай... Вот и хорошо, что с тобой не поторопились... Быть нам с большой родней... Ты что воротишься?.. Дура!..

— Да-ай! — Санька мотнула косой по горнице, сверкнула на отца глазами. — Не трожьте меня...

— То-есть, как не трожьте? Моя воля... Огневаюсь — за пастуха отдам.

— Лучше свиней с кем-нибудь пасти, чем заживо угасать от вашей дурости...

Иван Артемич бросил в Саньку деревянной солонкой. Побить, — встать не хотелось... Санька завyla без слез. В это время застучали в ворота так громко, что Иван Артемич разинул рот. Завыли медицинские кобели.

— Боюсь. Сами идите...

— Ну, я этих стукунов... — Иван Артемич взял в сенях метлу, спустился на двор. — Вот я вас, бесстыдники... Кто там? Собак спущу...

— Отворяй,— бешено кричали за воротами, трещали доски. Бровкин оробел. Сунулся к калитке, руки тряслись. Едва отвалил засов, — ворота раскинулись и вехали верхоконные, богато одетые, с саблями наголо. За ними четвериком золоченная карета, — на запятках арапы-карлы. За каретой в одноколке—царь Петр и Лефорт в треугольных шляпах и в чапанах от дорожной грязи... Топот, хохот, крики...

У Бровкина подсеклись ноги. Покуда он стоял на коленях, всадники спешили, из кареты вылез князь-папа, опухший, сонный, одетый по-немецки, и за ним — молодой боярин в серебряном кафтане. Петр, взойдя с Лефортом на крыльцо, закричал басом:

— Где хозяин? Подавай сюда живого или мертвого!

Иван Артемич замочил портки. Тут его заметили, подскочили, — Меньшиков и сын Алеша, — подняли под руки, потащили к крыльцу. И держали, чтобы на колени не вставал. Вместо битья или еще чего хуже, Петр снял шляпу и низко поклонился ему:

— Здравствуй, сват, батюшка... Мы прослышали — у тебя красный товар... Купца привезли... За ценой не постоим...

Иван Артемич разевал рот без звука... Косяком пронеслись безумные мысли: «Неужто воровство какое открылось? молчать, молчать надо...» Царь и Лефорт захохотали, и остальные кашляли от смеха. Алешка успел шепнуть отцу: «Саньку сватать приехали...» Хотя Иван Артемич уже по смеху угадал, что приехали не на беду, но продолжал прикидываться дурнем... Мужик был великого ума... И так, будто без памяти от страха, вошел с тостями в горницу. Его посадили

под образа, по правую руку — царь, по левую — князь-папа. Щелкой глаза Бровкин высматривал, — кто жених? И вдруг действительно обмер: между дружками, — Алешкой и Меньшиковым, — сидел в серебряном кафтане его бывший господин, Василий Волков. Давно уже Иван Артемич заплатил ему по кабальным записям, и сейчас мог бы купить всего с вотчиной и холопями... Но не умом, — заробел поротой задницей...

— Жених, что ли, не нравится?.. — вдруг спросил Петр.

Опять — хохот. У Волкова покривились губы под закрученными усиками. Меньшиков подмигнул Петру:

— Может, он какие старые обиды вспомнил? (Мигнул Бровкину.) Может, жених когда тебя за волосы таскал? Али кнутовище ломал об тебя? Прости его, Христа ради... Помириться...

Что на это ответить? Никакая хитрость не поможет... — Руки, ноги дрожали... Он глядел на Волкова, — тот был бледен, покорно смирен... И вдруг вспомнил, как на дворе в Преображенском Алеша вступился за него и как Волков бежал потом по снегу за Меньшиковым и умолял, цеплялся, чуть не плакал... «Эге, — подумал Иван Артемич, — главный-то дурак, видно, не я тут...» Взглянул на Волкова и до того обрадовался, — едва не испортил все дело... Но уже знал, чего от него ждут: опасной потехи... По жердочке над пропастью пройти... Ну, ладно...

Все глядели на него. Иван Артемич под столом перекрестил пупок, поклонился Петру и князь папе:

— Спасибо за честь, сватушки... Простите нас, Христа ради, дураков деревенских, если мы вас чем невзначай обидели... Мы, конечно, люди торговые, мужики грубые, неученые. Говорим по-простому. Девка у нас засиделась, — вот горе... За последнего пьяницу рады бы отдать... (В ужасе покосился на Петра, но — ничего — царь фыркнул по-кошачьи смехом.) Ума не приложим, почему женихи наш двор обходят? Девка красивая, только что на один глазок слеповата, да другой-то целый. Да на личике черти горох молотили, так ведь личико можно платком закрыть... (Волков темным взором впился в Ивана Артемича.) Да ножку волочит, головой трясет и бок кривоватый... А больше нет ничего... Берите, дорогие сваты, любимое детище... (Бровкин до того разошелся — засопел, вытер глаза...) Чадо, Александра, — позвал он жалобным голосом, — выдь к нам... Алеша, сходи за сестрой... Не в нужном ли она чулане сидит, — животом скорбная, это забыл, прости-те... Приведи невесту...

Волков рванулся было из-за стола. Меньшиков силой удержал. Никто не смеялся, — только у Петра дрожал подбородок и лицо было багровое.

— Спасибо, дорогие сватушки, — говорил Бровкин, — жених нам очень пондравился. Будем ему отцом родным: по добру миловать, за вину учить. Кнутовищем вытану али за волосы ухвачу — уж не прогневайся, зятек, — в мужицкую семью берем...

Все за столом грохнули, хватались за бока от смеха. Волков стиснул зубы, стыд зажег ему щеки, — налились слезы. Алеша втащил из сеней упирающуюся Саньку. Она закрывалась рукавом. Петр, вскочив, отвел ей руки. И смех затих, — до того Санька показалась красивой: брови — стрелами, глаза большие, синие, ресницы мохнатые, носик приподнятый, ребячьи губы тряслись, ровные зубы постукивали, румянец — как на яблоке... Петр поцеловал ее в губы, в горячие щеки. Бровкин прикрикнул:

— Санька, сам царь, терпи...

Она закинула голову, глядя Петру в лицо. Было слышно, как у нее стучало сердце. Петр обнял ее за плечи, подвел к столу и — пальцем на Василия Волкова:

— А что, — худого тебе жениха привезли?

Санька одурела: надо было стыдиться, она же, как безумная, уставила дышащие зрачки на жениха. Вдруг вздохнула и — шопотом: «Ой, мама родная...» Петр опять схватил ее — целовать...

— Эй, сват, не годится, — сказал князь-папа. — Отпусти девку...

Санька уткнулась в подол. Алеша, смеясь, увел ее. Волков щипал усы, — видимо, на сердце отлегло. Князь-папа гнусил:

— Сущие в отце нашем бахусе возлюбим друг друга, братие... Вина, закуски просим...

Иван Артемич спохватился, захопотал. На дворе работники ловили кур. Алеша, виновато улыбаясь, накрывал на стол. Донесся Санькин надломанный голос: «Матрена, ключи возьми, — в горнице под сорока мучениками...» Петр крикнул Волкову: «За девку благодари, Васька...» И Волков, поклонясь, поцеловал ему руку... Иван Артемич сам внес сковородку с яшницей. Петр сказал ему без смеха:

— За веселье спасибо, — потешил... Но, Ванька, знай место, не зарывайся...

— Батюшка, да разве бы я осмелел — не твоя бы воля... А так-то у меня давно и души нет со страху...

— Ну, ну, знаем вас, дьяволов... А со свадьбой поторопись, — жениху скоро на войну итти... К дочери найму девку из слободы — учить политесу и танцам... Вернемся из похода — Саньку возьму ко двору...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В феврале 1695 года в Кремле с постельного крыльца думным дьяком Винусом объявлено было всем стольникам, жильцам,стряпчим, дворянам московским и дворянам городовым, чтоб они со своими ратниками и дружинами собирались в Белгороде и Севске к боярину Борису Петровичу Шереметьеву для промысла над Крымом.

Шереметьев был опытный и осторожный воевода. К апрелю месяцу, собрав сто двадцать тысяч служилого войска и соединившись с малороссийскими казаками, он медленно пошел к низовьям Днепра.

Там стояли древняя крепость Очаков и укрепленные турецкие городки — Кизикерман, Арслан-Ордек, Шахкерман и в устье Днепра на острове — Соколиный замок, от него на берега протянуты были толстые железные цепи, чтобы заграждать путь в море.

Огромное московское войско, подойдя к городкам, промышленяло над ними все лето. Мало было денег, мало оружия, нехватало пушек, длительна переписка с Москвой из-за всякой мелочи. Но все же в августе удалось взять приступом Кизикерман и два другие городка... По сему случаю в стане Шереметьева пировали всю ночь. С каждой заздравной чашей стреляли пушки в лагерях и траншеях, наводя великий страх на турок и татар. Когда о победе написали в Москву — там с облегчением заговорили: «Наконец-то, хоть кус отхватили у Крыма, и то — честь...»

Тою же весной, тайно, без объявления, двадцать тысяч лучшего войска, — полки Преображенский, Семеновский и Лефортов, стрельцы, городовые солдаты и роты из дьяков, — были посажены у Всесвятского моста на Москве-реке на струги, каторги и лодки, и караван, растянувшийся на много верст, под музыку и пушечную пальбу поплыл к Коломне, в Оку и оттуда Волгой до Царицына.

Генерал Гордон с двенадцатитысячным отрядом двинулся степью на Черкасск.

Оба войска направлялись под турецкую крепость Азов на Азовском море. Здесь турки держали торговые пути на восток и на хлебные кубанские и терские степи. Диверсия под Азов решена была на военном совете, или консилие, Лефортом, Гордоном, Автономом Головиным и Петром. Чтобы не было огласки да туркам не было бы много чести, — Петра при войске приказано именовать бомбандиром Петром Алексеевым... (Да и позора меньше — буди неудача...) На консилие много думали, — на кого оставить Москву? Народ был неспокоен. Под самой столицей рыскали разбойничьи шайки, дороги заросли травой — до того опасно стало ездить. Страшный враг, Софья, сидела в Новодевичьем, правда, — тихо, молча... Но надолго ли?

На одного человека можно было положиться без раздумья, один был верен без лукавства, один только мог пугать народ, — Федор Юрьевич Ромодановский, князь-кесарь потешных походов и всешутейшего собора. На него и оставили Москву. А чтобы над ним не хихикали в рукав за прежнее, — велено было без шуток именовать его князь-кесарем и величеством. Бояре вспомнили, что такой же случай был сто лет назад, когда Иван Грозный, отъехав в Александровскую слободу, посадил в Москве полушута-полупугало татарского князя Симеона Бекбулатовича царем всея Руси. Вспомнили и покорились. А народу было все равно, что князь-кесарь, что чорт-дьявол, знали только, что Ромодановский свиреп и беспощаден и крови не боится.

Бомбардир Петр Алексеев плыл во главе каравана на Лефортовой многовесельной каторге. По пути хлебнули горя. Лодки, струги и

лаузки, построенные купечеством и государевыми гостями, текли и тонули. В туманные весенние ночи блуждали в разливах, садились на мели. В Нижнем Новгороде пришлось пересечь на волжские барки. Петр писал Ромодановскому:

«Мин хер кениг... За которую вашу государскую милость должны мы до последней капли кровь свою пролить, для чего и посланы... О здешнем возвещаю, что холопы ваши, генералы Автоном Михайлович и Франц Яковлевич, со всеми войски, дал бог здорово... И намерены завтнешнего дни идтить в путь... А мешкали для того, что иные суды в три дни насилу пришли... Суды, которые делали гости, гораздо худы, иные и насилу пришли... А из служилых людей по се число умерло не-большое число... За сим отдаюсь в покров щедрот ваших... Всегдашний раб пресветлейшего вашего величества Бом Бор Дир Петер...»

Не останавливаясь, проплыли мимо Казани, где разлив омывал белые стены. Миновали высокобережный Симбирск и городок Самару, в защиту от кочевников обнесенный деревянным частоколом на земляных раскатах. За Саратовом травянистые берега утонули в солнечном мареве, голубая река текла лениво, степной зной дышал, как из печи.

Петр, Лефорт, Алексахка и князь-папа Зотов, взятый в поход для шумства и пьянства, целыми днями курили трубки на высокой корме каторги. Казалось, когда поглядывали на многоверстный караван судов, поблескивающих ударами весел, что продолжается все та же веселая военная потеха. Что за крепость Азов? И как ее воевать? Про то хорошо не знали: на месте будет виднее... Князь-папа, пьяненький и ласковый, говаривал, сдирая ногтями шелуху с сизого носа:

— Дожили мы, сынок... Давно ли я тебя цифири-то учил... На войну поплыли... Ах ты мой красавец...

Лефорт дивился роскоши и величию реки и земли — без конца и без краю.

— Что король французский, что император австрийский, — говорил он, — о, если бы побольше у тебя денег, Петер... Нанять побольше инженеров в Европе, побольше офицеров, побольше умных людей... Ты сам должен поехать в Европу. Какой великий край, дикий и пустынный край...

В Царицыне караван остановился. И здесь начались беды. Лошадей оказалось всего пятьсот голов. Солдаты, отмотавшие руки на весах, должны были на себе тащить пушки и обозы. Нехватило хлеба, пшена, масла. Усталые и голодные войска три дня шли степью на городок Паншин, к Дону, где находились главные склады продовольствия. Много людей надорвалось, попадало. Думали отдохнуть в Паншине. Но оттуда, навстречу, прибыло письмо от боярина Тихона Стрешнева, ведавшего кормом для всей армии:

«Господин бомбардир... Печаль нам слезная из-за воров подрядчиков. Гости Воронин, Ушаков и Горезин взялись поставить 15.000 ведер сбитню, 45.000 ведер уксусу да столько же водки, 20.000 осетров

соленых да столько же лещей, судаков и щук, 10.000 пуд ветчины, масла и сала — 5.000 пуд, соли — 8.000 пуд... Дано подрядчикам тридцать три тысячи рублей. Из тех денег половину они украли. Соли вовсе нет ни фунта. Рыба вонючая, — в амбар нельзя взойти... Хлеб лежалый весь. Одно — овес добрый и сено доброе ж, а ставил купчина Иван Бровкин... От сего воровства тебе, милостивому нашему, печаль, а ратным людям оскудение... Теперь только бог может сделать, чтоб в том ратном деле вас не задержать...»

Петр и Лефорт, оставив войско, поскакали в Паншино. Небольшая станица на острове посреди Дона была окружена, как горелым лесом, оглоблями обозов. Повсюду лежали большерогие волы, паслись стреноженные лошади. Но — ни живой души: в послеобеденный час спали часовые, караульщики, извозные, солдаты.

Одинок простучали по-над Доном копыта всадников. На бешеный окрик Петра чья-то взлохмаченная голова вылезла из-за плетня, из конопля. Почесываясь, мужик повел к хате, где стоял боярин... Петр рванул дверь, загудели потревоженные мухи. На двух сдвинутых лавках, покрывшись с головой, спал Стрешнев. Петр сорвал одеяло. Схватил за редкие волосы перепуганного боярина, не мог говорить от ярости, плюнул ему в лицо, стащил на земляной пол, бил ботфортом в старческий мягкий бок...

Часто дыша, присел к столу, велел открыть ставни... Глаза выпучены. Под загаром гневные пятна на похудевшем лице.

— Докладывай... Встань! — крикнул он Стрешневу. — Сядь. Подрядчиков повесил? Нет? Почему?

— Государь... (Петр топнул ногой.) Господин бонбандир... (Тихон Стрешнев и кряхтеть боялся и кланяться боялся...) Подрядчики гуской доставят сначала, что должны по записи, а то что же с мертвых-то нам спрашивать...

— Не так... Дурак... А почему Иван Бровкин не ворует? Мои люди не воруют, а ваши все воруют?.. Подряды все передать Бровкину... Ушакова, Воронина — в железо, в Москву, к Ромодановскому...

— Так, гут, — сказал Лефорт.

— Что еще? Суда не готовы?

— Господин бомбандир, суда все готовы... Давеча последние пригнали из Воронежа.

— Идем на реку...

Стрешнев в одних домашних сафьяновых чоботах, в распоясанной рубахе пошел дряблой рысью за царем, шагающим, как на ходулях. На зеркальной излучине Дона стояли в несколько рядов бесчисленные суда: лодки, паузки, узкие с камышевыми поплавками казачьи струги, длинноносые галеры, с веслами только на передней части, с прямым парусом и чуланом на корме... Все — только-что с верфи. Течением их покачивало. Многие полузатонули. Лениво висели флаги. Под жарким солнцем трескалось некрашеное дерево, блестели осмоленные борта.

Лефорт, оставив ногу в желтом ботфорте, глядел в трубу на караван.

— Зер гут... Посуды достаточно...

— Гут, — отрывисто повторил Петр. Чумазные руки его дрожали. И, как всегда, Лефорт высказал его мысль:

— Отсюда начинается война.

— Тихон Никитьевич, не сердись, — Петр клюнул всхлипнувшего Стрешнева в бороду. — Войска прямо грузить на суда. Не мешкая... Азов возьмем с налета...

На шестые сутки на рассвете в хате Стрешнева в табачном дыму написали письмо князю-кесарю:

«Ми хер кениг... Отец твой великий господин святейший кир Аникита, архиепискуп прешпурский и всеа Яузы и всего Кукуя потриарх, такожде и холопи твои генералы Автамон Михайлович и Франц Яковлевич с товарищи — в добром здравии, и нынче из Паншина идем в путь в добром же здравии... В марсовом ярме непрестанно труждаемся. И про твое здоровье пьем водку, а паче — пиво...»

При сем стояли с малой разборчивостью подписи:

«Франчишка Лефорт... Олехсашка Менщиков... Фетка Троекуров... Петрушка Алексеев... Автамошка Головин... Вареной Мадамкин...»

Неделю плыли мимо казачьих городков, стоящих на островах посреди Дона, миновали Голубой, Зимовейский, Цымлянский, Раздоры, Маныч... На высоком правом берегу увидели раскаты, плетни и дубовые стены Черкаска. Здесь бросили якоря и три дня поджидали отставшие паузки.

Стянув караван, двинулись к Азову. Ночь была мягкая, непроглядная, пахло дождем и травами. Трещали кузнечики. Странно вскрпкивали ночные птицы. На головной галере Лефорта никто не спал, трубок не курили, не шутили. Медленно всплескивали весла.

В первый раз Петр всею кожей ощутил жуть опасности. Близко по берегу двигалась темнота, какие-то очертания. Вглядываясь, слышал удары сердца. Оттуда из тьмы вот-вот зазвенит тетива татарского лука! Поджимались пальцы на ногах. Далеко на юге полыхнул в тучах грозный свет. Грома не донесло. Лефорт сказал:

— Утром услышим пушки генерала Гордона.

Под утро небо очистилось. Казак-кормчий направил галеру — за нею весь караван — рекой Койсогой. Дон остался вправо. Поднялось жаркое солнце, река будто стала полноводнее, берега отодвинулись, растаяла мгла над заливными лугами. Впереди за песками опять появилась сияющая полоса Дона. На косогорах виднелись полотняные палатки, телеги, лошади. Вились флаги. Это был главный военный лагерь, поставленный Гордоном, — Митишева пристань, — в пятнадцати верстах от Азова.

Петр сам выстрелил из носовой пушки, ядро мячиком поскакало по воде. Поднялась стрельба из ружей и пушек по всему каравану. Петр

кричал срывающимся баском: «Греби, греби!..» Весла гнулись дугой, солдаты гребли, уронив головы.

В Митишевой пристани войска выгрузились. Усталые солдаты высыпали прямо на песке, унтер-офицера поднимали их палками. Скоро забелели платки, дымки костров потянуло на реку. Петр, Лефорт и Головин с тремя казачьими сотнями поскакали за холмы в укрепленный лагерь Гордона, на половине пути до Азова. Пестрый шатер генерала издали виднелся на кургане.

По пути валялись лошади, пронзенные стрелами, сломанные телеги. Уткнулся в полынь маленький, голый по пояс татарин с запекшимся затылком. Конь под Петром захрапел, косясь. Казаки рассказывали:

— Как выйдут наши обозы из Митишей — татарва и напускает тучей. Эти места самые тяжелые... Вона, — указывали нагайками, — за холмами-то маячат... Они... Гляди — сейчас напустят...

Всадники погнали лошадей к кургану. У шатра стоял Гордон в стальных латах, в шлеме с перьями, подзорная труба уперта в бок. Морщинистое лицо — строгое и важное. Заиграли рожки, ударили пушки. С кургана, как на ладони, был виден залив, озаренный закатным солнцем, тонкие минареты и серо-желтые стены Азова; пожарище на месте слободы, сожженной турками в день подхода русских; перед крепостью по бурым холмам тянулись изломанные линии траншей и пятиугольники редутов. Вдали безветренного залива стояли с упавшими парусами многопущечные высокие корабли. Гордон указал на них:

— На прошлой неделе турки подвезли морем из Кафы полторы тысячи янычар. Нынче эти корабли подошли с войсками ж... Мы вчера взяли языка, — врет ли нет, — в крепости тысяч шесть войска да татарская конница в степи. Недохвачи у них нет ни в чем, — море ихнее... Голодом крепость не возьмешь.

— Возьмем штурмом, — сказал Лефорт, взмахнув перчаткой. Головин уверенно поддакнул:

— На ура возьмем... Эко диво...

Петр очарованно глядел на пелену Азовского моря, на стены, на искры полумесяцев на минаретах, на корабли, на пышный свет заката. Казалось, ожили любимые в детстве картинки, в яви вот она, неведомая земля.

— Ну, а ты как, Петр Иванович? Чего молчишь? Возьмем Азов?

— Нужно взять, — ответил Гордон, жестко собирая морщины у рта.

Из шатра принесли карту, положили на барабан. Генералы нагнулись, Петр отчерчивал ногтем места, где стоять войскам: Гордону — посреди, шагах в пятистах от крепости, Лефорту — по левую руку, Головину — по правую.

— Здесь — ломовая батарея, тут — мортиры. Отсюда поведем апроши... Ведь так, Петр Иванович?

— Можно и так, отчего же, — отвечал Гордон. — Но позади нас останется татарская конница.

— Нужно разбить... Бросим на них казаков...

— Да, можно и разбить... Я говорю — трудно будет доставлять продовольствие с Митишевой пристани, с каждым обозом посылать большое войско, — это трудно...

— Слышь-ка, генералы, а отчего бы нам не доставлять припасы на лодках? Тут — вплоть к берегу...

Генералы опять свесили парики над картой. Гордон сказал:

— На лодках еще труднее, — Дон заперт цепями. В устье — две каланчи с очень великой артиллерией...

— Каланчи взять! Господа генералы?

— Эка — две каланчи! — засмеялся Головин и прищурил красивые глуповатые глаза на видневшуюся на западе за холмами верхушку круглой зубчатой башни. Гордон ответил, подумав:

— Отчего же, можно взять каланчи...

— Ну, с богом, Петр Иванович. — Петр холодными ладонями прижал Гордона за щеки, поцеловал. — Завтра снимайся и подступи к крепости. А мы, не мешкая, подойдем всем войском... День — два покидаем бомбы, и — на штурм.

С турецких судов донесся слабый звук рожка, — играли зорю. Вечерняя тень покрыла залив. Еще краснели верхушки минаретов, но и они погасли. В воздухе только слышался сухой треск кузнечиков. Петр вошел в шатер, где две свечи горели на пышно накрытом столе. Сели на барабаны. Задымилось блюдо с бараниной. Петр жадно опустил в него обе руки. Лефорт, снявший латы, чтобы способнее было веселиться, наливал венгерское в оловянные кубки. Когда багровый Головин гаркнул: «За первого бонбандира!» — от шатра вниз в темноту по редкой цепи солдат побежало: «Заздравная, заздравная...» От пушечных выстрелов заколебались свечи... «Хорошо!» — крикнул Петр. Лефорт смеялся, наполняя кубки:

— Это хорошая жизнь, Петер...

— Маркитанки-девки есть у тебя при лагере, господин генерал? — спросил Головин, тоже отстегивая латы. Лефорт и Петр захохотали.

— По этой части Вареной Мадамкин ходок...

— Послать верхового за Мадамкиным...

На утро Гордон, подкрепленный двумя стрелецкими полками, двинулся к Азову. Передовые казачьи сотни на рысях поднялись на бурую возвышенность перед крепостью и тотчас начали осаживать коней. Несколько казаков поскакало назад к пехоте, идущей четырьмя колоннами. Закричали: «Татары!.. Берегись! Выноси пушки!..» С левой руки от возвышенности развернулась полумесяцем татарская конница. В центре ее у трех впряженных орудий виднелись красные шаровары и фески янычаров. Татар было тысяч десять. Они двигались все быстрее, все гуще поднималась пыль. Летели стрелы. Янычары, подскакав, повернули пушки, ударили ядрами. Казачьи сотни смешались. Отдельные всадники, пригибаясь к коням, кинулись назад. Напрасно полковники приказывали

махать бунчуками, — вся казачья лава, не вынимая шашек, поскакала вниз. Но татары уже обходили справа, косматые их лошаденки стлались, кривые сабли крутились над головами. Визг. Пыль. Часть казаков повернула — рубиться. Смешались, сбились. Подбегала пехота, строилась четырёхугольниками. Стрельцы на веревках втаскивали пушки. Полумесяц татар смыкался. Нестройно раздались залпы. Слойми дыма затянуло возвышенность. Пролетала взбешенная лошадь. По земле катился татарин. Свистело ядро. Разрывались залпы. Люди, обезумев, стреляли, кричали. Метались офицеры. Весь шум покрыли грохотом лямовые пушки. Никто ничего не мог разобрать, — кто кого бьёт? И что-то случилось, стало вдруг легче. Дым отнесло, — ни татар, ни турок не было видно. Только бились упавшие лошади, и множество человеческих тел, неподвижных и дергающихся, разбросано по бурой земле. Впереди на холме стоял верхом на вороной лошади генерал Гордон. Железная спина его поблескивала. Подзорная труба уперта в бок. Маленькая седая голова шариком торчала из лат, — шлем сбили с него. Медленно взмахнул шпагой и шагом стал спускаться с холма к Азову. По войскам закричали:

— Вперед, вперед, смелее...

Отряд Гордона окапывался шанцами, обставлялся рогатками вблизи крепости. Турки со стен стреляли из пушек по лагерю, наводя великий страх. Когда бомба, упав, шипела и крутилась, — полковники, офицеры, стольники, дворцовые разные люди ложились ничком, закрывались обшлагами... Эти бомбы — не потешные горшки с парохом — рвались с таким грохотом, столбом взлетала земля, что побледневшие воины только крестились, ни на что не способные... Один Гордон, суровый и спокойный, похаживал по лагерю, не оборачиваясь на злой посвист снарядов, покрикивал на солдат, чтобы не клались турецким мячикам:

— За поклоны буду наказывать... Не хорошо бывать трусом... Шанде, шанде, стыдно... А еще русский зольдат...

Как он и предсказывал, плохо получалось с продовольствием, в особенности — питьевой водой: татары жестокими напусками разбивали обозы, тянущиеся из Митишевой пристани. Одолеть легкоконных татар не было возможности, — не принимая боя, засыпали русских стрелами, уносились в степь. Наконец, лагерь был окончен, в глубоких окопах люди прятались от снарядов. Войска Лефорта и Головина только на четвертые сутки подошли к позициям, с музыкой, барабанами, развернутыми знаменами.

Петр важно шагал перед бомбардирской ротой. В ней рядовыми шли Меньшиков, Алеша Бровкин, Волков и недавно взятый на службу искусный пушкарь — голландец Яков Янсен. Впереди Петра выковыривал ногами, бил в медные тарелки огромный человек с медвежьим носом и толстыми губами — новый собутыльник царя, литаврщик, по прозвищу Вареной Мадамкин, ерник и пьяница, каких еще не бывало.

Петр с частью бомбардиров прошел в гордонов лагерь. (Войска Лефорта на левом крыле, Головина на правом спешно окапывались.) Редуты, обнесенные фашинами и мешками с землей, были вынесены шагов на пятьсот к каменным стенам крепости. Там между зубцами виднелись фески и острые глаза турецких стрелков. Оперевшись об Алексашкино плечо, Петр вспрыгнул на фашины. Гордон стремительно схватил его.

— Ахтунг! Берегись!

Длинный ствол ружья между зубцами пыхнул дымком, подзорная труба вылетела из рук Петра. Он соскочил в окоп, пригнулся. К нему кинулись. Он обнажил зубы запекшейся улыбкой:

— Чорт! Собаки! — проговорил с трудом. — Дай фитиль...

Бомбардиры откатали медную короткую мортиру, глядящую дулом в небо. Петр умело (бегая зрачками на людей) вложил картуз пороху, покидал на руках двадцатифунтовое ядро, поправил запал, вкатил в мортиру. Присев, навел прицел:

— С богом, первая... Отойди!

Мортира рыгнула пламенным облаком. Круглая бомба крутою дугой понеслась и упала близ крепостной стены. Турки, высунувшись между зубцами, кричали что-то обидное. Петр побагровел. Ему откатали вторую мортиру...

Под высокими стенами Азова стыдно было и вспоминать недавнее молодечество, — взять крепость с налета. Обложившая армия, возведя батареи и редуты, две недели кидала бомбы. В городе занимались пожары. Рухнула одна из карульных башен. (По сему случаю в землянке у Петра было большое шумство.) Но к туркам снова подошли с моря двадцать галер с подкреплением. Пожары тушились. По ночам янычары, как змеи, подползали с кривыми ножами к русским скопам и резали часовых. А стены продолжали стоять отчаянно неприступными. Хуже всего было с доставкой продовольствия. На консилие генералы решили крикнуть охотников, обещали по десяти рублей за взятие каланчей. Вызвалось до двухсот донских казаков, в подкрепление им дали солдатский полк, и ночью казаки, подобравшись к каланче, что на левом берегу, попробовали взорвать ворота, — не удалось, ломами разворочали стену, ворвались. Турок было около тридцати человек. Четверых зарубили, остальным скрутили руки. Захватили пятнадцать пушек. И так палили из них через Дон по другой каланче, что турки ушли и оттуда. Дело было великое: Дон свободен. В лагерях служили молебны, на пираванье прибыл князь-папа из Митишей.

Но неожиданно стряслась большая беда. Дни стояли знойные. К полудню люди бродили, как вареные, ница тени. Не хотелось драться, никакой не было злобы. В котелках разносили щи с вяленой рыбой, выдавалось по чарке водки. Косматое солнце заливало нестерпимым жаром, звенели кузнечики, липли мухи, воняло дерьмо, от зноя

зыбкими казались азовские стены и башни. По стародавнему обычаю, после обеда все в лагере ложились отдыхать,— засыпала, храпела русская армия от генерала до кашевара. Клевали носом часовые.

В такой сонный час пропал бомбардир голландец Яков Янсен. Первым хватился его Петр, когда во втором часу вылез из землянки, зевая и щурясь от белого света. Давеча собирались сшибить тремя бомбами минарет. Янсен поспорил, что сшибет... Петр гаркнул:

— Дьявол, что ли, его унес!

Обыскали весь лагерь. Один солдат сказал, будто видел, как один человек в красном кафтане, с мешком, с вещами бежал к крепости. Петр сгоряча дал солдату в зубы. Но действительно, в землянке вещей Янсена не оказалось... Перекинулся к туркам! Велено было на утро по всем полкам сказать анафему проклятому голландцу. Гордон, весьма обеспокоенный предательством, потребовал созвать консилий и заявил, что в лагерях Головина и Лефорта оборонительные работы ведутся спустя рукава, беспечно, между лагерями ходов сообщения нет, и буди турки сделают вылазку — кончится это бедой.

— Война не шутка, господа генералы... Мы отвечаем за жизнь людей. А у нас всё будто играют, да шутят...

У Лефорта посинели губы от гнева. Головин, обидясь, как бык глядел на Гордона. Но тот настаивал на немедленном приведении в порядок оборонительной линии:

— На войне нужно прежде всего бояться врага, господа генералы...

— Нам их бояться?

— Мы их, как муху, раздавим...

— О, нет, господа генералы, Азов — не муха...

Генералы начали ругать Гордона трусом и собакой. Не будь Петра — сорвали бы с него парик. В тот же день, в час, когда все войско крепко спало после обеда, турки растворили крепостные ворота и без шума кинулись как раз к неоконченным траншеям, в стыке между лагерями. Половина стрельцов были зарезаны сонными. Другие, бросая алебарды и ружья, бежали к шестнадцатипушечной батарее, тоже кое-как укрепленной. Из пушек не успели и выстрелить, — турки перегоняли бегущих стрельцов, лезли с кривыми ятаганами на редут, с визгом, нагнув головы, кидались в сбившуюся кучу пушкарей, где сын Гордона, полковник Яков, размахивал банником...

В лагерях поднялась суматоха, стрельба. Петр стоял на крыше землянки, сжав кулаки, всхлипывал от возбуждения... Кричать, командовать — бесполезно. Спросенок люди метались, как очумелые. Он увидел: через лагерный вал перелез Гордон с поднятыми пистолетами, старческой рысью побежал к редуту — спасать сына. За ним хлынула беспорядочная толпа зеленых, красных, синих кафтанов. На валу лефортова лагеря отчаянно размахивали знаменем, оттуда тоже густо побежали на выручку. Все поле покрылось солдатами. Захваченный редут окутался дымом, — турки стреляли, прикрывая отступление: они

увозили души, бегом по склону к крепости. Схатывались с валов редута, отмахиваясь, отстреливаясь—мелькали красными шароварами. Разбросанные по полю русские теперь стягивались в неровную линию, и она быстро задвигалась за турками к крепости. С землянки, откуда смотрел Петр, все это походило на игру... Наша берет!.. Турки, за ними русские скатились в крепостной ров.

— Лошадь! — закричал Петр.— Штурм! Трубачи!

Он топал каблуками, но никто его не слушал. Мимо проскакал с остекляевшими глазами Алексашка Меньшиков. Хлестнул шпагой лошадь, перемахнул через ров... «Уррра» — ревел его разинутый рот... Трещали барабаны. И вдруг что-то случилось. Турки добежали до стен. Ворота раскрылись. Вывалилась толпа янычар, и кто-то на белом коне, весь в красном, в большой чалме, раскинул вздетые руки... Сквозь выстрелы донесся такой страшный вой, что Петр содрогнулся... Русские уже бежали назад, за ними — конные и пешие турки... Падали, падали, падали... Петр схватился за виски... Снова увидел Алексашку: он мчался к тому — в красном, в чалме, — сшиблись... Клубы порохового дыма... Разрывы бомб... Взбесившиеся лошади. Люди вырастают, подбегая, ужасом исковерканы лица... Через брустверы скатываются в окоп... Разбиты, разбиты!..

Потеряли на этом деле до пятисот человек, полковника, десять офицеров и всю батарею. Несколько дней Петр не глядел в сторону крепости, где турки скалили зубы. Алексашка перед кем только мог хвастался окровавленной шпагой, — Алексашка-то был герой... В лагерях приуныли... Вот тебе и поспали! Лефорт и Головин не показывались на глаза, — теперь в их лагерях только и видно было, как летела земля с лопат...

Петра изумила неудача. Ходил мрачный, неразговорчивый, будто повзрослел за эти дни. Клином засело: Азов должен быть взят! Славно ли, бесславно, — хоть всю Россию на карачки поставить, — Азов будет взят! По вечерам, сидя под звездами у землянки, покуривая, он расспрашивал Гордона о войне, о счастье, о славных полководцах. Гордон говорил:

— Тот полководец счастлив, кто воюет кашей да лопатой, кто упрям и осторожен... Если зольдат доверяет полководцу и зольдат сыт, — он храбро воюет...

Из пушек по крепости Петр более не баловался. Дни проводил на земляных работах в апрошах, коими войска шаг за шагом приближались к крепости. Скинув кафтан и парик, копал землю, плел фашины, здесь же ел с солдатами.

Азов со стороны реки был расположен на полугоре. Гордон посоветовал возвести напротив крепости на острове шанец с батареями. Вызвался на это опасное дело Яков Долгорукий, человек злой и упрямый. Ему хоть голову потерять, — найти было честь в войне. Ночью с двумя полками он занял остров и окопался. На утро турки поняли

спасность и начали переправляться сильным отрядом с татарской конницей через Дон на правый берег, чтобы оттуда сбить русских с острова. Гордон послал к обоим генералам просьбу итти на выручку Долгорукому, и сам, не дожидаясь, пошел с пушками и конницей и стал за рогатками ниже острова.

Турки испугались, остановились. И так стояли,—Гордон на левом берегу, Долгорукий, в страхе, на острове, турки, тоже в смущении, на правом... Лефорт и Головин медлили, а потом и совсем решили не выходить из лагерей: обоим Гордон становился поперек горла... «Пускай-де юдин справляется...»

Петр с высоты редута следил за движением войск и так же, как и всё, не понимал, что происходит. Вмешаться — боялся... И вдруг — татарская конница кинулась в воду и поплыла, янычары держались за хвосты лошадей. Татары ушли в степь, турки — назад в крепость. Гордон вернулся с музыкой и развернутыми знаменами. Сражение выиграло без выстрела.

С острова понеслись бомбы в Азов, видный, как на ладони, разрушали дома, зажигали пожары. Было видно, как жители, спасаясь, бежали под стены. В русском лагере началось веселье. Опять заговорили о штурме. Но и на этот раз Гордон удержал от неразумной попытки: уговорил попробовать,— быть может, комендант крепости, Муртоза паша, сдастся на добрых условиях. После жаркой бомбардировки, когда весь Азов задымился, послали двух казаков с грамотой к паше. Глядели, что будет: казаки подошли к стенам, махали шапками и грамотой, их впустили в ворота, но через малое время вытолкнули бесчестно... Царских-то послов! Грамоту они принесли обратно. На ней рукой Якова Янсена были написаны русские нехорошие слова.

В шатре у Головина Гордон напрасно уверял, что по военной науке должно сначала подойти к стенам апрошами и пробить брешь, тогда только итти на штурм. Его не хотели слушать. Генералы сидели за стаканами вина. Петр, обхватив голову, скреб затылок, глядел на свечи: ему уже мерещились звуки победных рожков на стенах Азова.

Гордон стучал шпагой.

— Преславный маршал Конде имел всегда обыкновение...

— Конде, Конде,— перебивая, гнусил Головин,— а, иди ты с Конде!.. С тобой только время проволокли да честь государеву замарали.

Лефорт нагло улыбался в лицо. Петр упрямо желал немедленного приступа. Штурм назначили на пятое августа.

Вызвали охотников. Офицеры обещали по двадцати пяти рублей, солдатам — по десяти, кто возмет пушку. Полковые попы за обедней склоняли людей пострадать. В солдатских и стрелецких полках охотников не нашлось. Угрюмо поворачивали спины: «Нашли дураков на этакую страсть...» Но донские казаки прислали к Петру эсаулов сказать, что две с половиной тысячи казачков готовы лезть на

стены, а нужно — и более наберется, лишь бы потом отдали им Азов хоть на сутки пограбить.

Петр, а за ним и генералы обняли эсаулов, обещали отдать крепость на три дня. В подсобу отрядили пять тысяч стрельцов и солдат. В ночь перед штурмом Гордон вошел в землянку, где Петр при свете наплывшего огарка сосал трубку над военной картой...

— Говорил с солдатами? Ну что, Петр Иванович, — с богом, значит?..

Гордон сел, держа шлем на коленях. Старик устал. Седая щетина на ввалившихся щеках. Трудно дышал, открыв большие желтые зубы, из коих нехватало двух спереди. С ласковой грустью глядел на самонадежного мальчика. А может быть, так и нужно было, чтобы молодость шла на пролом...

— Зимой будем строить большой флот в Воронеже, — сказал Петр, поднимая покрасневшие глаза. — Завтра нужно взять Азов, Петр Иванович. (Указал чубуком на небольшой залив на западе от устья Дона). Гляди... Здесь поставим вторую крепость. За зиму турки не просунутся в Азовское море, а весной мы приплывем сюда с большим флотом... Гляди: в проливе под Керчью ставим крепость и — все море наше... Строим морские корабли. И — в Черное море. (Чубук летал по карте.) Здесь уж мы на просторе. Крым будем воевать с моря, Крым — наш. Остается — Босфор и Дарданеллы. Войной ли, миром — пробьемся в Средиземное море. Шелком, пшеницей завалим... Гляди, какие страны... Венеция, Рим... А вот гляди, Москва, — водяным путем везем товары до Царицына, а здесь, где мы шли до Паншина через волок, пророем канал в Дон... Прямоком, — Москва — Рим. А? Тогда будем купцы! Петр Иванович, возьмем Азов?

Гордон ответил, подумав:

— Я хорошо не знаю... Я видел зольдат... Многие очень глупые, — они думают, что можно итти на приступ без лестниц. У многих я видел на лице раскаяние, даже уныние. Но я сказал: назвался груздем — полезай в кузов, кто назвался — все пойдут, — трусов я буду расстреливать. Впрочем, все готово: лестницы и фашины и ручные бомбы... Будем молить бога о помощи...

Петр не был спокоен. В первом часу ночи разбудил Меньшикова, и они поскакали в казачий табор. Там было тихо. Казаки беспечно спали на возах. Встретил атаман, — бритоголовый, крепколицый, с бегающими глазами. Посадил Петра у костра на седло, сам сел по-турецки. Казаки столпились вокруг. Принесли вяленой рыбы, водки. Начались разговоры, смелые, насмешливые. Казаки ни дьявола, видно, не боялись. Протискиваясь к костру, озарявшему черные бороды, дерзкие лица, говорили с усмешками:

— Самая сила, самый сок человеческий — казачество-та... А что в Москве про нас знают? Что мы-де разбойники... Эка... Пришлют ж нам воеводу, так он больше разбойничает... Вот и хорошо, государь,

что ты к нам пришел. Ты на нас посмотри хорошенько. Разве мы на дурных похожи? Казаки — орлы! Хо-хо... Нас беречь надо...

Когда зазеленел восток, по табору полетели негромкие окрики. Сотни казаков начали перелезать через земляной вал и, как кошки, скрывались в темном поле в стороне прибрежных стен крепости. Другие садились в струги. Тащили веревки с крючьями, легкие лестницы. Табор неслышно опустел.

В огромном небе бледнели звезды. Закричали обозные петухи. Предутренний ветерок знобил плечи. На севере блеснул короткий свет, ударила пушка. Это Бутырский и Тамбовский полки генерала Гордона пошли на приступ.

На стену удалось забраться только Бутырцам и Тамбовцам. Идущие вслед стрельцы услышали бешеную резню, вопли, лязг железа, заробели и залегли в вишневых садах сожженной слободы. Казаки отчаянно приступали со стороны реки, но лестницы оказались короткими, турки валили со стен камни, лили горящую смолу. Казаки ни с чем вернулись в табор. Штурм был отбит.

Когда поднялось солнце, увидели множество трупов у крепости. Турки, раскачивая, сбрасывали русских со стены, трупы скатывались в ров. Погибло свыше полутора тысяч. В окопах солдаты вздыхали:

— Вчера смеялись мы с Ванюшкой,— вон его птицы клюют...

— И куда нам лезть к туркам... Чаво мы тут не видели...

— Разве мы можем воевать... Всех побьют...

— Одни генералы в Москву вернутся...

К царю в головинский шатер сошлись генералы. Гордон был печален и молчалив. Лефорт скучно подавливал зевоту, не глядел в глаза. Упалый лицом Головин то-и-дело ронял голову. Только пришедший с царем Меньшиков геройски подбоченивался,— голова обязана тряпкой, шпага опять в крови: был на стенах... Его, дьявола, смерть не брала...

Петр сидел, гневно вытянувшись. Генералы стояли.

— Ну? — он спросил.— Что скажете, господа генералы? (Лефорт незаметно пожал Гордону локоть. Головин безнадежно махнул кистями рук.) Осрамились в конец? Что ж,— осаду снимать?

Они молчали. Петр стучал ногтями, щека подергивалась. Меньшиков шагнул к столу, глаза ясные, наглые... Протянул руку.

— Петр Алексеевич, дозвожь... Мне не по чину здесь говорить... Но как я сам был на стене... Агу проткнул шпагой, конечно... Скажу про их обычай... На турка надо считать наших солдат — пятеро на одного. Ведь страх до чего бешеные... Уж яга-то у меня на шпаге, а визжит, проклятый от злости, как боров, зубами хватается. Да и вооружение у них способнее нашего: ятаганы — бритва, его — шпагой али бердышем,— он три раза голову снесет... Покуда мы стен не проломаем,— турок не одолеть. Стены надо ломать. А солдатам заместо длинного оружия — ручные бомбы да казачьи шашки...

Алексашка шевельнул бровями, лихо отступил в тень. Гордон сказал:

— Молодой человек очень хорошо нам об'яснил... Но ломать стены можно только минами, значит нужно вести подкопы... А это очень опасная и очень долгая работа...

— А у нас и хлеб кончается,— сказал Головин.— Все припасы на исходе.

— Не отложить ли до будущего года,— раздумчиво проговорил Лефорт.

Петр, откинувшись, глядел остекляневшими, выкаченными глазами на недавних приятелей собутыльников.

— Мать вашу так, генералы,— гаркнул он, багровея.— Сам поведу осаду. Сам. Нынче в ночь начать подкопы. Хлеб чтоб был... Вешать буду... С завтрашнего дня начинается война... Алексашка, приведи инженеров...

В шатер вошли постаревший и обрюзгший Франц Тиммерман и костлявый высокий молодой человек с умным открытым лицом, иноземец Адам Вейде.

— Господа инженеры,— Петр расправил ладонями карту, придвинул свечу. — К сентябрю должно взорвать стены. Смотрите, думайте... На подкоп даю месяц сроку...

Он поднялся, зажег трубку о свечу и вышел из шатра — глядеть на звезды. Алексашка шептал что-то у него за плечом. Генералы остались стоять в шатре, смущенные небывалым поведением Бом Бар-Дира...

Осада продолжалась. Турки, ободренные неудачей приступа, не давали теперь покоя ни днем, ни ночью, разрушали работы, врываются в траншеи. Татарская конница носилась в тучах пыли под самыми лагерьями. Громила обозы. Много казаков погубило в схватках с нею. Русская армия таяла. Нехватало то того, то другого. С Черного моря пошли грозные тучи,— таких гроз еще не видали московские люди: пылающими столбами падали молнии, от грома дрожала земля, потоки дождя до верху заливали окопы и подрывные траншеи. Потом наступили серенькие дни,— осень подкралась неожиданно: теплой одежи в армии не было запасено. Начались болезни. В стрелецких полках было не спокойно... И, что ни день, на холодеющей пелёне моря вырастали паруса; к туркам шло и шло подкрепление.

Лефорт не раз пытался склонить Петра снять осаду. Но воля Петра будто окаменела. Стал суров, резок. Похудел до того, что зеленый кафтан болтался на нем, как на жерди. Шутки бросил. Князь-папу, появившемуся вдребезги пьяным в лагере, избил черенком лопаты.

Никто не думал, чтобы можно было работать с таким напряжением, какого требовал Петр. Но оказалось, что можно. В середине сентября инженер Адам Вейде донес, что подобрался уже под самый бастион и рабочие в подкопе слышат какой-то шум: не ведут ли турки

контрмину? Тогда все дело пропало. Петр лазил с огарком в подкоп и тоже слышал шум. Тут же было решено не медлить и взорвать хотя бы одну эту мину. Заложили 83 пуда пороху. Отдали приказ по войскам готовиться к приступу. Тремя пушечными выстрелами оповестили рабочих и солдат. Петр поджег шнур и побежал в глубь лагеря, за ним — Алексашка и Вареной Мадамкин. Турки бросились со стен за внутренние укрепления. Стало необыкновенно тихо. Реяли коршуны в синеве. Под самой стеной земля внезапно поднялась бугром, раздался тяжелый грохот, из распавшегося бугра взлетел, раскидываясь, косматый столб огня, дыма, земли, камней, бревен, и через минуту все это начало валиться на русские окопы. Дунул горячий вихрь. С шипеньем неслись горящие бревна до середины лагеря. В трех шагах от Петра упал Вареной Мадамкин с проломанным черепом. Дологотораста солдат и стрельцов, два полковника и подполковник были убиты и поранены. На войска напал неопиcуемый ужас. Когда развеялась пыль, увидели нетронутые стены и на них бешено хохочущих турок.

К Петру боялись подходить. Он сам написал (вкривь и вкось, пропуская буквы, брызгая чернилами) приказ, чтобы не позднее конца сего месяца быть общему приступу с воды и суши. Заканчивали оставшиеся неповрежденными два минных подкопа. Войскам велено исповедываться и причаститься. И все готовились к смерти.

Постоянно теперь видели Петра, об'езжающего лагерь на косматой лошаденке. По худым его ногам хлестала трава, на уши нахлобучен рыжий от дождей войлочный треух. Неизменно позади верхами — Меньшиков с пистолетами, заткнутыми за шарф, и Алексей Бровкин с трубой и мушкетом. Люди прятались в окопы: не то что противное слово не скажи, а заметят невеселую морду — прицепятся эти трое дьяволов, подзовут унтер-офицера и — допрос. Чуть что — плети. Нескольких стрельцов, говоривших между собой, что-де «пригнали сюда — русским мясом турецких воронов кормить», Петр бил по лицу и велел повесить в обозе на вздернутых оглоблях.

В ночь на двадцать пятое августа Петр переправился на остров к Якову Долгорукому, чтобы оттуда следить за боем. Во всех лагерях войска не спали. Полковые попы сидели у костров, — так было приказано. Которые зевали, которые шутили, которые говорили о духовном. Повсюду шевелились усы унтер-офицеров. На зябком рассвете полки вышли в поле. Раздалось два взрыва. Мрачным пламенем на минуту озарило минареты крепости, холмы, реку... человеческие лица, ужасом раскрытые глаза... Русские пошли на приступ.

Бутырский полк ворвался через пролом стены и бился на внутренних палисадах, поражаемый ручными бомбами. Преображенцы и Семеновцы подплыли на лодках, приставили лестницы, полезли на стены. Турки пронзали их стрелами, кололи пиками. Люди сотнями валялись с лестниц. Зверели, лезли, задыхались матерной руганью.

Влезли. Сам Муртоза-паша с янычарами, визжавшими не по-человечьи, кинулся рубиться...

Остальные полки подошли к стенам, кричали и суетились, но не хватило ярости — умирать. Не полезли. Стрельцы опять не пошли далее вала. Тогда Гордон приказал бить в барабаны отбой. Бутырцев только половина убралась живыми из пролома. Потешные дрались уже более часу, тесня Муртозу-пашу, врывались в узкие улицы, где из-за обгорелых развалин летели стрелы, бомбы, камни. Но никто не подсоблял. Петр бесновался на острове, гнал верховых, чтобы вернуть, снова бросить войска на стены. Лефорт в золотых латах, в перьях скакал с захваченным турецким знаменем среди смешавшихся полков. Головин, как слепой, колотил людей обломком копья... Гордон — один на валу под стрелами и пулями — хрипел и звал... Войска доходили до рва и пятились. Многие, бросив ружье или пику, садились на землю, закрывали лицо: убивайте так уж, не пойдем, не можем... Тогда снова ударили барабаны отбой.

Все затихло и в крепости и в лагерях. Слетались птицы на кучи мертвых тел. На третьи сутки в ночь осада была снята. Не зажигая огней, без шума впрягли пушки и пошли по левому берегу Дона: впереди обозы, за ними остатки войска, в тылу — два полка Гордона... В укрепленных каланчах оставили три тысячи солдат и казаков.

На утро налетел ураган с моря. Дон потемнел и вздулся... Попытались было переправиться на крымскую сторону, — потопили немало телег и людей. Продолжали двигаться ногайским берегом в виду татар. Гордону приходилось непрестанно отражать их напуски: поворачивали пушки, строились в каре и залпами отбивались. Все же заблудившийся ночью солдатский полк Сверта погиб весь под татарскими саблями, с полковником и знаменами, — живых увели в плен.

За Черкасском татары отстали. Теперь шли безлюдной голой степью. Доедали последние сухари. Не из чего было зажечь огня, негде укрыться от ночной стужи. Грядями напоззали осенние тучи. Подул северный ветер, нанес изморозь. Обледенела земля. Повалил снег, закрутилась вьюга. Солдаты босые, в летних кафтанах, брели по мертвым забелевшим равнинам. Кто упал — не поднимался. На утро многих оставляли лежать на стану. За войсками шли волки, завывая сквозь вьюгу. Через три недели добрались до Валуек, — всего треть осталась от армии. Отсюда Петр с близкими уехал вперед в Тулу на оружейный завод Льва Кирилловича. За царем везли двух пленных турок и отбитое знамя. С дороги Петр писал князю-кесарю:

«Мин хер кених... По возвращении от невзятия Азова с консилиии господ генералов указанно мне к будущей войне делать корабли, галиасы, галеры и иные суда. В коих трудах отныне будем пребывать непрестанно. А о здешнем возвещаю, что отец ваш государев, святейший Ианикит, архиепискуп Прешпурский и всеа Яузы и всего Кукую патриарх с холопьями своими, дал бог, в добром здравии. Петер».

Так без славы окончился первый азовский поход.

(Продолжение следует).

Заморские рассказы

И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

Полет

В самый разгар осенней охоты довелось мне лететь на аэроплане из Москвы в Берлин. Возможность побывать за границей, сделать большой перелет, плыть на корабле по океану в сказочную для нас Канаду соблазнили меня, и я решил пожертвовать тетеревами и всем охотничьим осенним сезоном. Утром мы пролетали над местами, где я много выходил по охоте и отлично знал лесовые наши стежки и тропы, ручьи и реки. Я внимательно смотрел вниз на землю и старался узнать. С высоты всё было похоже. Луга и леса, соломенные деревушки, и, как на разрисованной карте, ниточкой извивалась освещенная до самого дна река. На деревенских огородах полосками белели разостланные бабами холсты. Пастух с трубою под мышкой стоял у дороги и, приложив к глазам руку, смотрел вверх на пролетающую железную птицу. Крошечный человек в белой рубахе шел по ниве за плугом, а за ним над землей перелетали вороны. Был видно, как скользят по земле от ворон тени и такая же тень—тень самолета—быстро бежала внизу по земле. Удивительно было смотреть на эту бегающую внизу, неведомо юткудова взявшуюся тень.

Случалось, самолет шел ниже, тогда богаче зеленела земля. В кабине было душно и тесно; как в обыкновенном вагоне, качалось на вешалке пальто; лежали над головой чемоданы. Мои спутники-немцы привычно дремали, развалиясь в раскидных креслах, подложив в головах надутые воздухом резиновые подушки. Я смотрел на их бритые затылки, на тесную, похожую на телефонную будку кабину, на кожаную, видную в открытую дверцу, спину летчика и разочарованно думал, что лучше и свободнее ходить по земле, слушать кузнечиков и рвать васильки.

За Смоленском была трудная часть пути. Мы летели над большими болотами, где сильно, как на морской зыби, качало (немецкой осмотрительностью перед каждым сиденьем в особых карманах были заготовлены пакеты из непромокаемой бумаги—на случай «воздушной

болезни»). А удивительными были сверху эти непроходимые лесные болота: совсем как лягушиная зеленая, широко растянутая шкурка! Иногда мы низко пролетали над макушами леса, освещенными солнцем, и было тогда, точно едешь на лодке и глядишь в прозрачную глубокую воду на заросшее подводными травами дно.

Однажды мы снизились почти до самой земли. Это было негадано, мой сосед-немец проснулся, испуганно на меня покосился.

— Это очень опасно! — крикнул он сквозь шум мотора.

Мы летели так низко (такой полет у летчиков называется «бреющим», он самый опасный), что были видны цветы на земле и листья на деревьях. Я смотрел на мелькавшую внизу землю, на сливавшиеся в одну полосу кусты и деревья. На маленькой освещенной солнцем показавшейся в кустах зеленой полянке, мелькнули желтоватые точки. Охотничье чувство подсказало мне, что это тетеревиный выводок, поднятый шумом низко пролетавшей машины. Это так меня поразило, что я поднялся с сиденья и замахал немцу.

— Выводок, выводок! — закричал я, показывая вниз. Немец испуганно посмотрел. Внизу ничего не было: мы опять забирали высоту и мельче и серее становилась под нами земля.

За четырнадцать часов перелета мы видели пять государств. Утром мы были в Москве, а под вечер летели над Германией на трехмоторном Юнкерсе, похожем на настоящий воздушный корабль. Пассажиры сидели в мягких кожаных креслах, читали газеты и смотрели вниз на прекрасно убранную немецкую землю. Целый час мы летели над самым берегом моря, и с земли нас приветствовали люди. Мы стояли у открытых окон и махали платками. К ночи мы шли, как идут корабли в море, — по маякам, яркими звездами вспыхивавшим внизу на земле, а сверху Германия была, как сплошной освещенный город. Морем огней показался сверху ночной Берлин. Мы висели на недостижимой высоте, а внизу шумел город, стрелами открывались освещенные улицы. Страшным показалось падение-спуск, промелькнувшие внизу улицы, дома, люди, — как в ослепительном магниевом свете, в клубах белого дыма, покачиваясь и гремя моторами, подкатывал к ангарам благополучно севший на землю самолет; как пахнувший лаком и кожей автомобиль нес меня по переполненным, огненно-скользким, ослепительным от обилия огней улицам...

Теперь воздушное путешествие осталось точно сон. Очень хорошо запомнил я самый полет, бритые затылки спутников-немцев, кожаную спину летчика и лягушиные шкурки непроходимых болот. А почему-то самым сильным впечатлением остался мне тетеревиный выводок, мелькнувший над зеленой поляной, и это всю дорогу томившее меня желание скорее стать ногами на твердую землю.

Утки над Берлином

Свежему человеку первое время трудно заснуть от непрерывного шума и страшно переходить улицы, переполненные автомобилями и людьми. Город шумит ночь и день немолкаемым железным шумом.

День и ночь катятся автомобили, грохочут поезда подземных и надземных железных дорог, тяжелые грузовики до основания сотрясают каменные стены домов.

Ночью над городом не видно звезд. Небо полыхает электрическими вывесками, огнями бесчисленных самодвижущихся реклам. Внизу, точно после большого дождя, длинно отражая огни, блестит асфальт.

В Берлине я поселился у Лертерского вокзала, в районе старого города, на берегу Шпрее. Однажды я возвращался ночью из города. Мы проходили каменной набережной. Внизу, как черный деготь, стояла вода, сверху полыхало страшное зарево.

Место было тихое. Мы шли молча, прислушиваясь к городскому несмолкаемому шуму. Вдруг, в шуме и грохоте послышался тонкий знакомый звук. Я остановился и поднял голову. Над нами, высоко в полыхающем небе, над огромным, страшно громыхающим городом летели дикие утки. Взволнованный, я схватил за руку спутника, крикнул:

— Утки, утки! Слышите, это летят дикие утки!

Мой спутник, завсегдатай берлинских кафе, посмотрел на меня, как на помешанного. Ночью, ворочаясь под немецким пуховиком, я долго думал об утках над Берлином. Мне казалось, что я один подслушал тайну берлинского неба. «Должно быть, так музыкант слышит прекрасные звуки там, где их не услышать обыкновенному человеку!»— думал я самодовольно о себе.

На другой день о моем открытии довелось мне рассказать природному берлинцу. Он засмеялся, дружески похлопал меня по плечу:

— Пойдите в полдень на Шпрее,—сказал он,—там каждый день плавают выводки диких уток, и мы, немцы, это отлично знаем.

Тот же день я нарочно пошел на Шпрее смотреть диких уток. Я прошел Унтер-ден-Линден, самую людную улицу, вышел на площадь к собору. Там, в самом центре города, под гудевшим от непрерывного движения каменным мостом спокойно плавал выводок диких уток. Утки плавали и кормились, ныряли, совсем как у нас на болоте, и ни малейшего внимания не обращали на городской шум.

Потом я не удивлялся, слушая над ночным городом знакомый чудесный звук. Я видел стада диких уток на Шпрее, в зеленом Тиргартене, в Гамбурге — на широкой, переполненной огромными океанскими кораблями реке.

С а м о л и

На высоких белых воротах ярко расписанная вывеска: буйноволосый дикарь с кольцом в ноздрях, на дикой лошади, поднявши дротик, допояет какого-то дикого зверя, другой дикарь, поджавши ноги, сидит у огня и кует копые. На вывеске, над нарисованной головой гепарда, крупно написано: «Самоли — дикие люди». В окошечке за зеркальным стеклом белобрысая немка продает билеты.

Я покупаю билет и вхожу. У самого входа, в бутафорской, накрытой тростником хижине сидит тощий, каштановолицый, толстогубый человек с шапкой вьющихся рыжеватых волос на голове, с прекрасными темными глазами на выразительном темном лице. Он открывает белейшие зубы, протягивает длинную руку с каким-то белым корешком, предлагает купить.

— Алалала, — говорит он что-то непонятное.

О диких людях самоли, недавних людоедах, привезенных из восточной Африки предприимчивым немцем наравне с человекообразными обезьянами и дикими африканскими зверями, говорит весь город. О них пишут в газетах, печатают фотографии, интересуются каждой подробностью их семейной и показной жизни. Смотреть на них каждый день приходят сотни людей.

Для самолийского поселка забором отгорожен уголок зоологического сада, великолепного Цоо, со множеством зверей и птиц, собранных ото всех рек и лесов мира. Я прохожу «деревню» с камышевыми хижинами и первобытной кузницей, вокруг которой сидят мужчины-самоли в белых капотах, лениво зевают. Голые ребятишки с нечистыми носами, с волосами, свалявшимися в войлок, со звериной ловкостью шныряют под ногами, цепко пристают к посетителям, выпрашивая пфенниги.

По краю забора, у плетеных, похожих на собачьи, конур сидят женщины. Они крикливо переговариваются, кажут белые зубы, смеются, суют посетителям в руки никуда негодные корешки. Грудные ребятишки ползают под ногами. В углу под навесом, не обращая внимания на разглядывающих зрителей, дуются в карты, азартно хлопая об доску, взрослые мужчины-самоли. Их выцветенные у концов и темные у корней волосы пышно курчавы, лица темны и приятны. Я долго стою и смотрю на них, на их темные лица и руки, на их тонкие шеи. Есть в них что-то особенно напоминающее наших мужиков, деревню, даже картами хлопают они по-мужицки, сгибая в лодочку и пряча в ладонь. Так, бывало, в прежние времена на господском дворе в свободный зимний вечер дулись на пяточковые баранки в свои козыри на черной кухне работники и мужики, и, подперев щеку ладонью, присев на краешек стола, смотрела на них кухарка...

Я обхожу раз и другой всю «деревню», останавливаюсь подле кузнецов, сидящих на корточках и кующих копыя и стрелы, тут же продающих свои изделия любопытствующим немцам и немкам. Женщины мастерицы, сидя на цыновках, плетут из каких-то тонко нащепленных кореньев узорные коврики и корзины. Волосы на их головах заплетены во множество тонких косичек, змейками рассыпающихся вокруг головы. Их лица миловидны и темны, руки и ноги малы и изящны, маленькие темные пальцы с непостижимой ловкостью перебирают концы плетенья.

Высокий красивый самоли сидит с книжкою в руках, учится немецкому языку. Ему помогает, приятельски с ним обнявшись, подро-

сток-гимназист. Мой спутник рассказывает, что по договору, заключенному с антрепренером, самоли не имеют права свободного передвижения,—они всё время должны находиться в «деревне», окруженной забором, и показываться на городских улицах им не разрешено. Недавно в газетах они напечатали письмо, в котором жаловались на неволю и требовали права ходить по городу наравне со всеми. Права этого им, однако, не дали.

Три раза в день—в три, шесть и девять—бывает представление. Черный губастый человек—их начальник и режиссер—трубит в медную трубу. Мужчины и женщины лениво поднимаются, бросают работу и карты, отряхивают капоты и, позевывая, идут на арену, усыпанную опилками, становятся в круг—отдельно женщины, отдельно мужчины. Им смертельно надоело каждый день изображать празднество и войну, они лениво переговариваются о своем, зевают и бранятся. Седая, похожая на ведьму, женщина бьет в барабан, и они в такт начинают хлопать длинными черными руками, подскакивать и петь свои дикие песни. Так—трижды в день—они поют, пляшут, изображают празднество, стреляют в воздух и кидают в круг копьа. Потом лениво, подпираясь игрушечными копьями, расходятся по местам—играть в карты, плесть циновки, приставать к посетителям с негодными корешками и выпрашивать пфенниги.

Не ведая для чего, я еще долго брожу по бутафорской «деревне», с особенной симпатией заглядывая в их кофейные лица, в их темные, странно печальные глаза, смотрю на их длинные руки и ноги. Высокий, отлично сложенный юноша стоит печально. Я подхожу, останавливаюсь и улыбаюсь ему. Он смотрит на меня и улыбается ответно. Я вижу его белейшие зубы, тонкий с горбинкою нос.

— Скучно, приятель,—говорю я по-русски, прикасаясь к его теплой, с возвышениями мускулов и жил руке.

Он дружески мне улыбается, хлопает по плечу.

— Алалала, — говорит он мне что-то приятное на птичьем своем языке.

Немецкие зайцы

В разгар полуденного часа я проходил по Фридрихштрассе, оживленнейшей улице старого Берлина. В зеркальных витринах больших магазинов красовались изогнутые штопором лиловые восковые женщины, висели шелка и наряды, а в одной витрине сам собою плясал на воздухе красный шар. Над перекрестками улиц вспыхивали красные и зеленые фонари, автоматически регулирующие уличное движение, и по блестящему, натертому шинами асфальту, останавливаясь и замирая, потоком катились автомобили. Толпа шла навстречу и обгоняла меня. За широкими окнами кафе сидели господа в шляпах и нарядные женщины, в окнах пивных блестели краны машин и двигались голые руки приказчиков, наливавших по кружкам пиво и деревянной лопаточкой сбрасывавших пену. И тут же на углах топились

безобразные накрашенные женщины, выходявшие на промысел в час, когда оканчивалась по учреждениям служба.

Я проходил с кружившейся от шума и грохота головою. Витрина оружейного магазина привлекла особенное мое внимание. Как полагается охотнику, я остановился и внимательно стал рассматривать расставленные и разложенные за стеклом новенькие ружья и охотничьи принадлежности. На выставленном в витрине объявлении я прочитал:

«здесь говорят по-русски».

Заинтересованный объявлением, я вошел в магазин, где у прилавка стоял толстый с обстриженным затылком покупатель-немец и выбирал ружье. Любезный приказчик поздоровался со мною. Отпустив толстого покупателя, приказчик обратился ко мне.

Есть особенная и приятная порода людей—специалисты по охотничьему оружию, оружейные мастера и продавцы, и каждый настоящий охотник это хорошо знает. Такие люди (их мало, как вообще мало талантливых и «настоящих» людей), сами по большей части страстные охотники и любители прекрасного оружия, и дело свое творят с любовью. Этим своим качеством они отличаются от других многих служащих и мастеровых, вынужденных сидеть на осточертевшем и ненавистном деле. Всякий охотник знает, как приятно в свободную минуту зайти в оружейную мастерскую и побеседовать со знакомым мастером о разных охотничьих и оружейных тонкостях. Поэтому мне было приятно познакомиться с оружейником-немцем и, как бывает только у охотников, по одному взгляду мы поняли и оценили друг дружку.

— Я прочитал ваше объявление и зашел посмотреть ружья,—сказал я немцу по-русски.

Немец улыбнулся и ответил, что он рад видеть у себя русского охотника. Он говорил, как говорят немцы, долго жившие в России и старательно изучившие наш язык,—слишком отчетливо и правильно произнося каждое слово.

— Я был в России в плену три года, в Сибири, и научился языку,—сказал немец.—В Сибири отличная охота...

Мы почувствовали друг к другу большую симпатию и разговорились. Я перебирал и осматривал новенькие ружья, а немец рассказывал, как он вспоминает часто Сибирь и русскую охоту и как ему хотелось бы еще разок увидеть Россию и поохотиться на глухарей. Я слушал немца и про себя думал: и как удивительно, что все иностранцы, избалованные благополучием своей жизни и побывавшие в России, ни когда не могут забыть и вспоминают нищую нашу родину, а русские женщины им кажутся прекраснейшими в мире...»

В магазине в тот час не было покупателей, и мы беседовали долго. Немец был заядлый охотник, охотился в Сибири на глухарей и медведей, знал отлично условия сибирской охоты. Я рассказывал ему

о катастрофическом оскудении охоты в нашей черноземной области и о том, какие героические принимаются теперь меры, чтобы сохранить последние остатки дичи, и просил рассказать о состоянии немецких охотничьих угодий. Немец, посмеиваясь, рассказал, что в Германии попрежнему отличная осталась охота по куропаткам и козам и что повсюду ведется строжайшее охотничье хозяйство и разведение дичи...

До отъезда из Берлина я еще раза два заходил к оружейнику-немцу. Однажды он пригласил меня ехать на автомобиле на охоту на коз, и я совсем было согласился, но пришло извещение о скором отплытии парохода и, не успев попрощаться с новым приятелем, я укатил в Гамбург...

В Гамбурге мне довелось прожить несколько дней. Большой год утомил меня, и мне очень хотелось побывать в немецкой деревне, которую видел только из окон вагона. Я долго искал случая и, наконец, меня познакомили с человеком, жившим в деревне и пригласившим меня к себе в гости. Это был совсем простой человек, служащий, рассыльный в одной конторе. После окончания занятий, в субботу, по электрической железной дороге мы поехали в город. С нами в вагоне сидели возвращавшиеся из верфей рабочие с закопченными лицами, в полосатых куртках, и мелкие служащие в пиджачках и накрахмаленных воротничках. Поезд несся по городу, и в окнах мелькали фабричные и заводские стены и крыши укрытых цветами богатых особняков.

На конечной станции мы вышли из вагона и пошли в деревню пешком. Все было очень похоже на город и мало напоминало деревню. Мы шли по крепкой бетонированной дороге мимо маленьких чистейших домиков, тонувших в зелени и цветах. Лес темнел за озером справа. Так мы прошли версты полторы и остановились у двухэтажного домика, на пороге которого хозяин и хозяйка сняли запылившуюся обувь и надели мягкие домашние туфли. Весь домик сверкал чистотой и порядком. Пол, натертый каким-то особенным лаком, блестел так, что в него можно было смотреться, как в поверхность спокойного озера.

В комнатах было электричество, газ, водопровод, ванна. Хозяйка зажгла газовую плиту и приготовила кофе. Мы пили кофе, хозяин рассказывал о себе и показывал толстый альбом с домашними фотографиями. Потом мы пошли осматривать хозяйство, огород и сад, и хозяин повел меня через поле в село. В десяти шагах от дома мы перешли глубокую, заросшую колючим кустарником канаву, и тотчас из-под ног выбежал и неспешно заковылял по меже заяц-русак. Для меня это было так неожиданно, что я остановился и, глядя на мелькавшие по полю русачьи порточки, спросил хозяина-немца:

— Это, должно быть, домашний заяц?..

— Нет, — ответил хозяин, смеясь, — это настоящий немецкий лесной заяц, здесь их очень много...

Я поинтересовался, каким способом оберегают хозяева-немцы от зайцев сады и огороды, и немец мне объяснил, что вокруг садов для

этого ставят частую ограду из проволоки, так, чтобы не мог пролезть и самый маленький зайчонок.

До села было около трех километров. Мы шли напрямиком через поле и не раз переходили заросшие кустами канавы. На протяжении трех километров я насчитал больше десятка поднятых нами зайцев.

— Удивительно, — думал я, вспоминая наши опустошенные поля и леса, где приходилось иной раз сутки ходить, чтобы поднять одного уцелевшего зайца...

Хозяин, любезно взявшийся показать мне немецкую деревню, не был охотником. Мы шли молча, я смотрел на прекрасно обработанную немецкую землю, на шилом стоявшую впереди колокольню и продолжал думать свое. На селе мне показали каменные дворы и сараи, хлевы с бетонированным полом и автоматическим водопроводом в кормушках, электрифицированные маслобойни и свиней, от тучности сидевших по-собачьи в хлевах, похожих на уютные комнаты. Я рассматривал лоснящиеся крупы рабочих лошадей, похожих на бегемотов, стоявшие у ворот, прикрытые брезентами тракторы и сноповязалки, стада гусей и уток, купавшихся в огороженных сеткою прудах, и совсем забыл о виденных немецких зайцах...

Вечером мы сидели в чистенькой немецкой пивной с узорными скатертями и шелковыми абажурами над столиками. Хозяин пивной, в жилетке, с засученными по локоть рукавами, наливал пиво. Мы пили пиво, курили трубки, и мой провожатый спорил с сидевшими в пивной своими деревенскими знакомыми. Я молчал, слушал и наблюдал. Хозяин опять чокнулся со мною, и я увидел входящего в дверь охотника. Охотник был совсем как на немецкой охотничьей картинке, — с пером на шляпе и в обтягивавших ноги зеленых чулках. Ружье висело на плече вниз стволами. Он по-приятельски поздоровался с хозяином пивной, повесил ружье на крюк и стал снимать со спины мешок. Из завязанного мешка торчали заячьи задние ноги. Охотник уселся за стол, закурил трубку и потребовал пива. Я с удивлением смотрел на него, на торчавшие из мешка заячьи ноги и подумал. «Чорт возьми, это совсем похоже, что немец сходил на базар и выбрал хорошего зайца...»

К и л ь

Городок невелик, скучен, ослепительно чист. Так же, как и в самом большом городе, в нем — многоэтажные универсальные магазины, на улицах зеркально блестит накатанный асфальт. Ночью небо полыхает гирляндами электрических вывесок, в лиловом неоновом свете модных витрин красуются изогнутые штопором женщины. Как полагается, есть в городке свои музеи, театр, средневековая ратуша, загородные особняки, до самых крыш оббитые цветущим шиповником. На узкой припортовой улице, пахнущей рыбой и морской сыростью, у порогов каменных домиков со средневековыми окнами-фонарями сидят женщины, за освещенными дверями матросских танцулек гремит джазбанд.

В войну городок был исключительно военно-морским. Нынче военные суда почти неприметны в глубине сереющей гавани. А все же по субботам улицы города наполняются белобрысыми, с обстриженными наголо затылками, с здоровенными шеями в синих матросских воротниках, лихо козыряющими друг дружке молодыми людьми.

Главное в городе — верфь.

В просветах спускающейся к набережной улицы видны закопченные крупновские корпуса, краснеют остовы заложенных и спущенных кораблей. Здесь, в войну, с непостижимой быстротой изготовлялись подводные лодки и подводные крейсера. Нынче здесь строятся океанские теплоходы, как калачи, пекутся увеселительные, похожие на игрушки, яхты для американских заказчиков-миллиардеров. Специальность завода — судовые дизеля. Мы проходим просторную вокзальную площадь, улицу, спускаемся на набережную, переходим рельсы подъездной железной дороги, где впереди медленно ползущего поезда шагает человек с колокольчиком в руке. У красных ворот завода высокой пирамидой составлены велосипеды. Двор засыпан угольной пылью, хрустящим под ногами шлаком. Через двор проходим к закопченному корпусу сборочных мастерских. Внутри — полусвет, подавляющая вышина застекленных и закопченных сводов, кажущееся безлюдье. На первый взгляд мастерские показываются мертвыми. Мы стоим, оглядываемся, подавленные величиной корпуса, фантастическим видом разобранных частей. Вот над головами шевельнулась и покатила по балкам черная тачка, на толстых цепях сама собою стала спускаться стальная клюшня и, схватив какую-то машинную часть, весом в добрую сотню тонн, легко понесла по воздуху в другой конец. Людей почти не видно. Мы всматриваемся в загроможденную глубину корпуса. Люди почти незаметны между огромных, отсвечивающих шлифованной сталью частей и колес. Они точно дремлют. Человек в коричневом балахоне, на мостике, похожем на капитанский, нажимает рычаг, и опять бесшумно бежит на стальных катках тачка, спускается страшная стальная клюшня...

Мы пробираемся сторонкой, опасливо поглядывая над собою, выходим на берег. Здесь, под высокими кранами, идет отделка спущенных кораблей. Два теплохода, почти готовых, сияющие белизною, лаком, тиковым деревом поручней, стоят, еще затянутые в паутину лесов. По каменной набережной проходим дальше, к верфям, где сквозь кружева лесов краснеют заложенные корпуса судов, нестерпимо трещат пневматические молотки. Рабочие в синих куртках, с завтраками в руках, проходят навстречу. На запертых серых гофрированного железа воротах краснеет строгая надпись:

« з а п р е щ е н о ».

Там, за воротами, создаются и хранятся крупновские секреты. По перекидному железному мостику проходят инженеры. Внизу пыхтит и колышется на воде катер. Пахнет морской водой, ракушками, углем.

На лицах проходящих людей выражение деловитой сосредоточенности. Лица и руки черны от угля и масла. Наш провожатый также деловито-внимателен, с той же суровой пристальностью вглядываются его глаза, играют на щеках скуля. Деловито и строго объясняет он нам, показывает сделанное руками этих проходящих мимо людей.

Мы обходим верфи, останавливаемся у спущенной, уже готовой яхты. Провожатый наш улыбается, рассказывает о недавнем веселом происшествии при сдаче яхты заказчику.

На-днях здесь был владелец яхты, богатый американец. Он хозяйски осмотрел судно, в сопровождении главного инженера верфей обошел помещение. Сидя в салоне, жмурясь от трубочного дыма, американец объявил представителям верфи, что недоволен цветом шелковой обивки внутри кают. Инженер переглянулся со своими и вежливо объявил, что ошибку можно исправить, что эти пустяки будут стоить недорого, всего —

— Десять тысяч долларов!

— Иес! — ответил равнодушно американец, не выпуская трубки, так, точно речь шла о десяти целковых.

Мы пришли в самый разгар переделки. На яхте работали женщины, снимали обивку, мыли зеркальные стекла. Мы поднялись на палубу (в кой-то веки доведется еще раз побывать на миллиардерской яхте!), осмотрели салон, обеденную каюту с большим подковообразным столом, палубу для прогулок, спустились вниз, в каюты. Внизу, в просторной, отделанной с исключительной роскошью спальне (в центре всего корабля была самая эта спальня, а вокруг остальное), на двух стоявших обочь кроватях сидели и завтракали рабочие. На их коленях лежала колбаса, бутылки с пивом. Точно понимая нас, они весело засмеялись, подмигивая, нажимая мягчайшие пружины кроватей:

— Чорт возьми, неплохо живется миллиардерам!..

— Живется неплохо.

На обратном пути мы опять были в сборочных мастерских. Там все так же молчаливо и сосредоточенно работали люди. И опять молчаливым и серьезным стал наш приятель-вожатый.

Голландский берег

Лоцмана взяли у входа в Маас. Он поднялся по шторм-трапу, привычно взбежал на мостик, сунул капитану соленую мокрую руку. Я с любопытством смотрю на него: на крепкие, муслаками выпирающие обветренные его щеки, на крепко сидящую в желтых зубах короткую обкуренную трубку, на конопатые, в рыжих волосьях, выступающие из рукавов руки. Истинный морской волк, чорт, моряк, моряк потомственный и почетный...

На серо-стальной, темнеющей под горизонтом, спокойной морской глади идут-дымят корабли. Корабли идут от всех сторон мира. Впереди тонкой полоской виднеется низкий берег.

Медленно входим в устье. Мимо плывут берега, плоские, изрезанные каналами, пустырями, желтеющие песком дюн. За краснокрышными береговыми домиками, похожими на игрушки, игрушечные пасутся стада, стоит черный смоленый парус. Две ветряных мельницы, поворотившись на море, медленно машут крыльями-рукавами.

Идем час, другой. Мимо, скользя по течению, идут пароходы — норвежцы, англичане, голландцы. Краснотрубый, порыжевший от тропических лучей пароход под небесно-голубым флагом, проходит так близко, что видны зубы и белки глаз на загорелых лицах стоящих у поручней матросов-бразильцев. И люди, стоящие на палубе, им машут руками. Бразилец — старый знакомец: год назад рядом стояли на рейле Шанхая. Так ведется, что моряки узнают на море старых знакомых и, встречаясь, радуются и приветствуют их, как дети.

Швартуемся в тридцати километрах от города, у большого серого от пыли суперфосфатного завода. Вечером схожу на берег. Прохожу опалово сияющий электричеством, пропитанный испарениями кислот завод, заводские открытые ворота, где пирамидою составлены велосипеды. Один выхожу в поле. Город впереди играет огнями, белесое поднимается над ним зарево. Пахнет болотом, землей, кислотой. Небо низко, темно. Странно оказаться в пустыре ночью одному, на незнакомой земле, под невиданным городом!.. Иду наугад на играющие огни. Под ногами хрустит, перекачивается крупный морской песок. Автомобиль, выбежав из-за поворота, ослепляет огнями. Долго стою ослепленный, потерявшийся в темноте...

Наугад, пустырями, подхожу к городку, перехожу железную дорогу, тускло блестящие убегающие рельсы. Городок (рабочее предместье большого шумного города) мал, в ночи похож на театральную декорацию. На маленькой площади безлюдно, темно, густо пахнет селедками (селедками пахнет весь город). На углу уютно светятся стеклянные двери простонародного бара, фокстротом хрипит радио. Темны неширокие, линейно прямые улицы, с редкими, ярко освещенными лавочками, в которых с аппетитною аккуратностью разложен на полках товар, висят гроздь бананов в освещенных витринах. У порогов маленьких каменных домов с наглухо закрытыми ставнями, с дверями прямо на улицу семейственно стоят и сидят люди с младенцами на руках, краснеют огоньки трубок. Дети перебегают улицу, смеются. В глубине улицы слышна музыка, театрально колышутся огни. Музыка играет знакомое, слышанное тысячи раз. Я останавливаюсь, слушаю с удивлением. Да, «Интернационал», но такой, что под него можно танцевать польку... Толпа надвигается быстро, над головами быстро идущих людей, выхватывая из темноты напряженные лица музыкантов, медные глотки труб, ухающее чрево турецкого барабана, колышутся ацетиленовые под белыми абажурами лампы-люстры. Над люстрами плывут кажущиеся в темноте черными красные знамена. Автомобиль, затянутый белым и красным, ползет в толпе черепахой. Толпа велосипедистов, виляя рулями, следует позади. Я поворачиваюсь, иду следом,

едва успевая за **быстрым** маршем. На площади процессия останавливается, в последний раз ухает глухо и осаживает барабан. Человек с длинной шеей, птичьим носом, освещенный мертвенным ацетиленовым светом, протягивая над толпой руку, поднимается в автомобиле. От порогов каменных домиков, краснея огоньками трубок, не спускающая младенцев с рук, неторопливо сходятся люди. Полицейский в черной каске, с лакированным ремешком на подбородке, с велосипедом в руках скучливо стоит подле бело-красного автомобиля. Человек говорит, вытягивая птичью шею, размахивая руками, знамена над ним висят неподвижно: белые выступают на них письма. О чем он, что говорит смиренно слушающим его, укачивающим грудных младенцев людям, какую выполняет повинность?.. Наговорившись, он садится в автомобиль, устало вытирает платком лицо, опять глухо ухает барабан, и, точно сорвавшись, процессия движется дальше. Я остаюсь, смотрю вослед удаляющейся быстро, глухо ухающей барабаном, звенящей музыкою толпе. Что это? Революционная демонстрация, религиозное шествие, национальный народный праздник? Ночь обманывает. И опять театральной декорацией показывается площадь, узкая улица— вот заколышутся, ходуном заходят нарисованные на холсте кирпичные стены, двери, закрытые ставнями окна... Все и вся безмятежно, устойчиво, тихо. Проводив шествие, захожу в бар. Два человека в рабочих куртках, в шарфах и кепи с треском гоняют шары на оклеенном зеленым сукном, освещенном низко спущенными лампами маленьком билльярде. На уставленном сверкающей посудой прилавке замывает гостей дымчатый сытый кот. Похожий на кота хозяин, в жилетке, с засученными по локоть рукавами, здоровается со мною, как с давнишним знакомым. Он наливает пиво, домашне присаживается к столику. Кот, умывшись, прыгает с прилавка на мои колени. Мы сидим, пьем жидкое голландское пиво, курим и глядим друг на дружку. Мирно катаются по зеленому сукну костяные шары, мирно похрипывает фокстротом спрятанное в шкапу радио. Маленькая девочка с голубым бантом в льняных, чолкою подстриженных волосах вбегает, запыхавшись, с воли. Хозяин останавливает ее, велит поздороваться, и девочка почтительно делает передо мною реверанс, подает холодную маленькую ручку. Мы сидим приятелями, давнишними знакомыми, сосем трубки. Шары на билльярде стучат сухо и мирно, звуки плясового интернационала едва доносятся с площади. Я гляжу в лицо хозяина, безмятежно сосущего трубку.

Позднюю ночью возвращаюсь на пароход. Опять долго блуждаю среди каналов и пустырей, теряюсь в бесчисленности городских, портовых далеких огней. Туман поднимается над землю, небо черно, беззвездно, истоптанная миллионами ног, песком шуршит под ногами дорога.

У великих плотин

Перламутровым ранним утром игрушечный поезд «кукушка», фукая паром и трясясь, увозит меня с окраины чернокаменного просыпающегося Амстердама в провинциальнейший Фолендам—старую

Голландию ветряных мельниц, каналов, плотин, деревянных башмаков, всего того, что ведаем мы о Голландии по картинкам. Поезд гремит и трясется, как деревенская телега, чадит дымом, со скрипом останавливается на игрушечных станциях, где пахнет молоком и туманом и неторопливо выходят с мешками и складными удочками на плечах пассажиры, медленно тащится по берегу узкого канала, сотрясая подгнившие сваи, от которых кругами разбегаются волны, колыхая отражения стоящих на берегу краснокрыших игрушечных домиков. Покуда глаз видит,— зеленые, ровные, как морская поверхность, разграфленные линейками канав и каналов пастбища и болота, и на них, точно пчелы на сотах, пасутся стада чернопегих, гладких, с тяжелыми, свисающими до земли выменами коров. Коровы спокойно пасутся, пережевывают жвачку, равнодушно плядут на грохочущий поезд, а прямо среди них стоит-движется черный смоленый парус. Над пастбищами стелется легкий, розоватый на восходе туман, и белыми хлопьями взлетают и падают освещенные солнцем длиннокрылые чайки. Охотничий глаз замечает хохлатых земляков-чибисов, проворно шныряющих по кочкам, черных водяных курочек, целыми стаями ныряющих в густых камышах. Серая цапля толкачом стоит у канавы и преспокойно глядит на проплывающую лодку, в которой, помахивая хвостами, стоят две коровы, а человек с трубкой в белой с закатанными рукавами рубашке упирается в берег длинным мокрым веслом, на раскрасневшуюся девушку с большой, привязанной к велосипеду корзинкой, шибко катящую по гладкой дороге.

Место, по которому едем, было дном моря и отвоевано у моря людьми, веками насыпавшими высокие стены плотины (таким же, должно быть, трудом отвоевали первые русские люди у дремучих лесов свою землю). Нынче на дне моря, покрытом бархатным ковром трав, весело краснеют черепичные крыши домиков-игрушек, машут крыльями-рукавами круглые каменные мельницы, а по гладким, как скатерть, дорогам гужом текут велосипедисты и, обгоняя их, челноками шныряют автомобили. Поезд, звоня и шипя, вкатывает прямо на улицу чистейшего городка, грохочет, едва не зацепившись за паперть укрытой цветами и деревьями церкви, и останавливается на середине улицы с каменными домами-игрушками, из окон которых близко смотрят человеческие улыбающиеся лица.

В вагоне, поставивши под ноги камышевые сумки, сидят рыбаки—старик и старуха. Они точно такие, каких видели мы на картинках. У старика бритое, в глубоких звездообразных морщинах, со слезящимися красными глазками, длинным и тонким носом лицо; на худой, морщинистой, с большим кадыком обмотанной платком шее торчит серый клочок невыбритой бороды. На старике круглая рыбацья шапка, теплый глухой жилет с круглыми пуговицами, непомерно широкие, со складками у пояса, черные штаны. Старуха чиста, опрятна, такие же глубокие морщины лежат на ее будто подкопченном, подвяленном ветрами лице. Она по-праздничному в белом с выпущенными кра-

мальными углами чепце, в теплой стеганой кофте, обтянувшей узкие ее плечи, в широкой юбке, под которой видны носы деревянных раскрашенных башмаков. Старики сидят чинно, не шевелясь, неловко положив на колени свои большие и обветренные руки, привычно глядят в окно на проплывающие пастбища, стада и каналы.

Схожу на последней маленькой станции, где останавливается поезд. За мной хлопотливо торопятся старик и старуха, величественно появляется из переднего вагона клетчатый американец-турист, помогая тощей спутнице спрыгнуть на усыпанную песком и ракушками землю.

По освещенной жидким осенним солнцем, высланной кирпичем дороге прохожу и поднимаюсь по каменной лестнице на плотину. Впереди, над деревянной пристанью с черными лодками-баркасами, открывается и уходит в туманную даль светлая, чуть колыхаемая зыбью прозрачная зеркальная гладь. Направо и налево, вдоль каменного хребта плотины, вытянулся городок: игрушечные домики с красными черепичными крышами. Я стою на площади городка, очень похожей на декорацию кукольного театра. Вот, стуча огромными деревянными башмаками, совсем как актеры в детской пьесе, выходят из-за угла два человека в широченных черных штанах и, посасывая трубки, степенно спускаются на деревянную пристань, где на мачтах сушатся коричневые смоленые паруса, а на берегу, над галькой, бросая прозрачную тень, висят тонкие, облепленные водорослями сети. Люди в башмаках неспешно проходят по скрипучим мостикам и, заложив руки в карманы, отражаясь вместе с пристанью, лодками и черными парусами, останавливаются над водой. На городской площади на длинной каменной скамейке греются на скупом солнышке древние, скрюченные рыбачьим ревматизмом старики. Они сидят, опустив морщинистые, бритые, длинноносые головы, сцепив над коленями негнущиеся, опухшие в суставах крючковатые пальцы. И точно для того, чтобы подчеркнуть их убожество и древность, подле них стоит, прикрываясь рукою от солнца, кричит кому-то, открывая розовый ротик, веселая девочка в фартуке, в деревянных расписанных башмаках, надетых на маленькие ноги. Потом срывается, бежит, грохоча башмаками, вдоль длинной, похожей на декорацию, улицы.

Не торопясь (город так игрушечно мал, что некуда торопиться), я прохожу за убежавшей маленькой девочкой. На черепичных крышах кукольных домиков сидят, чистя бронзовые перышки, скворцы. В открытые окна и двери видна внутренность домиков: очаги-камины, с медными, до блеска начищенными украшениями, блестящие чистотою и линолеумом полы, узенькие пороги, где рядком, точно чашки на полке, стоят деревянные башмаки, по величине и количеству которых можно точно знать о хозяевах дома. Женщина в черном, похожем на монашье, платье, в черной монашье скуфейке спускается к морю, неся на коромысле белье. У женщины белая шея, голые по локоть руки, из кармана широкой, в складках юбки торчит недовязанный чулок. Широкоплечий рыбак в круглом картузике, с платком на шее, с белыми

бровями на густо-красном лице, здороваётся со мной патриархально. На дверях маленькой лавочки развешаны крахмальные праздничные чепцы, башмаки, бусы, в окне — шоколад, расписанные безделушки. В игрушечно-маленькой церкви звонит колокол; внизу, под плотиной, над заросшей зелёной ряской каналом опускается разводной мостик, и в церковь проходят женщины в белых крахмальных чепцах, с молитвенниками в руках; в поле, над крышами, машет крыльями высокая мельница.

На берегу, над пристанью, у низкого старого здания толпятся люди. Я заглядываю в открытую дверь. Там рыбаки ссыпают на весы пересыпанную льдом камбалу. Они вытирают об штаны руки, закуривают трубки и неторопливо подходят к оконцу, где рука невидимого человека выкладывает серебряные гульдены. Позванивая в кармане деньгами, они заходят в маленький кабачок на площади напротив, чтобы выпить по стакану пива, по рюмке розового джина.

Городок игрушечно мал, малолюден и музейно чист. За утро можно дважды обойти его из конца в конец, насидеться в кабачке вместе с краснолицыми рыбаками, побывать на ялотине за городом, где налево широко открывается зелёное исчерченное каналами пастбище; направо — светлая зеркальная гладь залива, с чуть приметными очертаниями острова Маркен, где такие же каналы, плотины и ветряные мельницы. В обед захожу в крошечный чистейший ресторанчик, где уже сидит клетчатый американец, пьёт кофе в компании немцев. Немцы громогласно хохочут, бросают в окно сбежавшимся ребятишкам шоколад; на их бритых лицах, на гладких затылках сияет невозмутимое благополучие, блестит вечернее, низкое, заглянувшее в окно солнце.

Г о р о д

Поезд электрической железной дороги, блистая лаком, зеркальными стеклами, мчит почти с аэропланною скоростью, чуть клонясь на поворотах.

За окном плывут освещенные скупым осенним солнцем кочкватые сырые болота, зелёные пастбища, красные крыши ферм, чарсоунов, высокие, машущие крылья мельницы-ветрянки и — куда ни поведи глазом — стада чернопегих гладких коров. Коровы мирно пасутся на разграфлённых каналами пастбищах, лежат, пережевывая жвачку, тупо уставившись на проносящиеся сверкающие поезда.

Поезд мчит, плавно покачиваясь, пламенно вспыхивая на солнце длинными стеклами окон. В вагонах на широких, пахнущих кожей и лаком диванах, дымя сигарами, сидят благополучные люди. Они равнодушно и привычно глядят на проплывающие пастбища и болота, на велосипедистов, гужом растянувшихся по узкому шоссе, на заросшие, камышом каналы, в которых ныряют и плавают водяные черные курочки.

Люди едут без багажа, по-домашнему, не снимая шляп и пальто. И расстояния кажутся не больше городских, трамвайных; точно названия трамвайных остановок, мелькают за окнами знакомые еще по учебникам имена: Лейден, Гаага, Хаарлем... Вся страна, как большой благоустроенный город-сад. И точно для того, чтобы утвердить это сходство с цветником-садом, зеленые пастбища с хохлатыми чибисами на кочках сменяются вспаханнами полями, сплошь, на многие сотни гектаров, засеянными тюльпанами. У подножий каменных мельниц, медленно машущих крыльями, тюльпановые поля расстилаются чудесным бархатным ковром, точно сшитым из пунцовых, желтых, лиловых клиньев...

Город ошеломляет шумом, движением, людною теснотою улиц, необычайным обилием велосипедистов, движущихся по улицам непрерывным потоком. После Берлина, ошеломляющего Гамбурга город показывается небольшим, провинциальным. Но обманчиво первое впечатление... Главное в городе—порт. Как реки в море, вливаются в порт городские людные улицы, текут потоки велосипедистов, автомобилей, движутся толпы рабочих. Порт велик и туманен. Огромные океанские корабли, сверкающие чистотой корпуса трансатлантических пароходов-экспрессов, неуклюжие грузовики, черные угольщики, стройные парусники и яхты, — живая, движущаяся каша из желто-трубых, краснотрубых буксиров, рундфаров, моторных барж, паромов, —густейший лес мачт, флагов, труб,—кипящая, взбудораженная движением бесчисленных винтов, сталкивающаяся беспорядочными волнами, плещущая в каменную набережную вода (запоминается пляшущий среди кораблей на зыби потерянный кем-то деревянный раскрашенный башмак). На черно-каменной набережной ряды пароходных контор, агентств, вывесок, начищенных медных и мраморных досок с именами владельцев фирм и контор, сливочным маслом желтеющие штабеля ящиков, тюков, бочек, смоленых бухт,—потрясающий грохот лебедек, медные глотки отходящих и приходящих пароходов, звон, скрежетание, шипение переносных электрических кранов, разгружающих стоящие у пристани баржи, шараханье стрел, оттяжек, блоков,— за просторными зеркальными окнами, в уюте матовых абажуров, вращающихся стульев, ореховых конторок и бюро, скрипе сафьянной кожи на удобнейших креслах, в дыму кэпстена и гаванских сигар властвует незримый простому глазу всемогущий, всеправляющий мир гульденов, долларов, фунтов...

Весь день брожу по шумному городу, из улицы в улицу, из квартала в квартал. Набережные каналов, дома, торговые улицы, людные площади, магазины. У разводного чугунного моста густою толпою стоят велосипедисты и пешеходы. Мост медленно разводят два человека с трубками в зубах, с теплыми шарфами на сизо-багровых коротких шеях. Внизу на маслянисто вздыхающей, изломно отражающей небо и свесившиеся головы людей воде, фукая синими кольцами дыма, проходит моторная железная баржа. Толстая баба-шкипер с засучен-

ными по локоть рукавами, положив на штурвал могучие толстые руки, высится над баржею монументом. Из кармана широкой юбки торчит недовязанный чулок с воткнутыми блестящими спицами, под штурвалом на палубе лежит клубок. Ногастый, похожий на волка, кобель, стуча когтями, ошалело носится по железной палубе. Не торопясь, не выпуская штурвала, достает баба из чулка деньги и опускает монету в спущенный на удочке деревянный башмак—дань за разводку моста. Толпа терпеливо ждет, смотрит вниз на играющую радужными пятнами воду, на фукающую внизу баржу, на подобную монументу шкипера-бабу и остервенело лающего на людей кобеля...

В обед толпа выносит меня на предпраздничный шумный базар. Отдавшись течению, я не иду—скорлупкой плыву в густой текучей толпе. У накрытых парусиной палаток, набивая на губах пену, кричат, стучат молотками, зазывая покупателей, продавцы сигар, подтяжек, цветочных луковиц... Груды овощей, фруктов, копны живых, обрызганных водою цветов... На минуту останавливаюсь у палатки, где, засучив рукава, быстро двигая локтями, отрезает головы селедкам красавица-рыбачка в крахмальной с белыми рожками наколке... В конце базара, взгромоздившись на ящик, окруженный толпою зевак, черный, как вакса, негр, продавец волшебной пасты, вертит похожими на облупленные крутые яйца белками и скалит на толпу лошадиные свои зубы...

Остров отверженных

Железный двухэтажный паровой паром, снизу доверху нагруженный автомобилями, грузовыми платформами, ручными тележками и разнообразной многоголовой толпою, перевозит меня на другой берег. Маас кипит, плюется пеной, сердито хлещет в железные бока медленно пересекающего реку паром. Лес мачт, высокие стены корабельных разнокалиберных корпусов замыкаются широким кругом. Маленькие быстроходные катера, переполненные людьми рундфары, моторные, похожие на больших черепах, баржи, хлопотливые буксиры во всех направлениях чередят и волнуют мутно-зеленоватую пресную воду. Пароход останавливается у каменной набережной большого острова. Здесь от стародревних времен живут цветные подданные благополучно царствующей королевы Нидерландов, малайцы и чинезы, коим, по законам Голландии, запрещено проживание в центральных частях больших городов. Я всякое утро вижу этих смуглолицых и желтокожих, похожих друг на дружку, людей, одетых в рабочие, забрызганные известкой, измазанные углем и маслом костюмы, направляющихся в автобусах и трамваях на окраины города, на работы...

Я ступаю с колыхающейся платформы парома на каменную набережную и прохожу площадь. Я иду улицей мимо невысоких, грязных, серых от копоти, обмызганных домов. Над дверями гостиниц, в окнах

лавчонок висят китайские, порыжевшие от времени и света письма. Окна китайских харчевен тщательно занавешены синим ситцем, у порогов толкутся закопченные, с лаково-блестящими черными и желтыми головами люди. В витринах грязных лавчонок лежат китайские лакомства и товар: какие-то чудные, похожие на овечий помет, корешки, трубочки, сухие орешки. На углу старый одноглазый китаец с тележки продает какую-то мокрую шевелящуюся погань... В глубине улицы, у высокой бетонной стены, отгораживающей город от доков, гудит большой поставленный на колеса орган. Бойкий человечек в рубаше с засученными по локоть рукавами вертит ручку большого органного колеса. Другой человек, держа в руке шляпу, стоит на дороге. На тротуаре, на каменной улице, схватившись руками и ловко выделывая ногами, танцуют девчонки-подростки чарльстон... Я много раз прохожу улицу, стараясь заглянуть во внутренность таинственных китайских харчевен и, наконец, решаюсь зайти. Тощий, сухой, как гвоздь, китаец в круглой шапчонке на стриженной голове, стоя у конторки, смотрит на меня удивленно. Я знаками объясняю, что хочу посмотреть, вежливо прошу разрешения. Он милостиво кивает мне головой и продолжает заниматься своим делом. Я прохожу за перегородку, оклеенную бумагой. Там стоят низенькие, похожие на детские столики, расставлены круглые чашки. Что здесь? Китайская столовая, притон, курильня опиума? Посетителей в этот час нет. За перегородкой я вижу посуду, синие фартуки, разглядывающие меня раскосые лица. Дальше проходить не решаюсь...

Долго брожу, приглядываюсь к ничем не похожей на великолепную городскую жизнь китайских кварталов. Возвращаюсь на маленьком пароходике, рундфаре, бегущем от пристани к пристани, битком набитом всевозможным портовым народом. Со мною едут одетые по-европейски малайцы. Я с любопытством вглядываюсь в их каштановые лица, темные, страшно печальные глаза. Высокий, темный малаец с клетчатым галстуком на длинной и тонкой шее, с мелко курчавящимися на затылке, точно покрытыми сажею волосами, блестя зубами и желтоватыми белками глаз, рассказывает что-то такому же темноволосому и темнолицему соседу, курящему папиросу. Женские глаза его печальны и влажны. Я всматриваюсь в его лицо, вслушиваюсь в его птичью гортанную речь, думаю:

— Как, должно быть, хорош он был у себя на родине, под опалившим его солнцем, голый и быстрый...

Снимаемся на заре утром. Еще бежит, дымится над самой водою ночной туман. Белыми чайками пробегают в море одна за другою, подняв паруса, прогулочные яхты... Мы разворачиваемся и идем медленно серединой широкой, сливающейся с пологими берегами реки. Два парохода—англичанин и итальянец—идут впереди нас. Лоцманы—

старик и молодой — стоят на мостике наверху, и опять текут мимо плоские берега и острые крыши построек, а прямо за крышами стоит острый смоленый парус: точно это корабль плывет прямо по суше. Медленно обходим итальянца. На нем, на грязной палубе, положив на поручни голые локти, стоят и курят трубки черные от угольной пыли кочегары с платками на закопченных шеях. Море открывается сизо и просторно и, покудова видит глаз, идут, точками движутся в нем корабли. Лоцман слезает по штор-трапу и видно, как, стоя в моторной шляпке, долго машет рукою, прощаясь.

Люди и факты

1. И. МАЙСКИЙ. Страницы прошлого. — 2. А. АЛЕШИН. Стертые лики. — 3. С. ВОРОНОВ. Из прошлого и настоящего Академии Наук. — 4. К. САМОЙЛОВ. Красный флаг в океане

1. СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

(Вместо доклада на собрании в день печати 5 мая 1930 г.)

И. Майский

Нельзя быть Иванами Непомнящими! Настоящее стоит на плечах прошлого. У творцов Октябрьской революции есть великие предтечи. У советской печати, такой мощной и влиятельной, есть своя история, истоки которой теряются в минувших веках. Сегодня, когда на бескрайних пространствах республики трудящиеся миллионы празднуют рождение большевистской «Правды», нам нужно вспомнить это прошлое. Возьмем с полки толстую книгу истории и перевернем в ней несколько ярких, незабываемых страниц...

1790 год.

Бьют барабаны. На каменном плацу Петропавловской крепости в каре солдат стоит бледный, вз'ерошенный человек. Он в черном пальто с меховым воротником, но без шапки. Расшитый золотом царедворец со смешной треуголкой подмышкой читает вслух «именной указ ее величества императрицы Екатерины II». Указ длинный и суровый. Этот бледный человек без шапки повинен в тяжелом «государственном преступлении». Он написал и в собственной маленькой типографии напечатал книгу, наполненную, как гласит указ, «самыми вредными умствованиями», разрушающими покой общественный, умаляющими должное ко властям уважение, стремящимися к тому, чтобы

произвести в народе негодование противу начальников и начальства, и, наконец, оскорбительными и неистовыми изращениями противу сана и власти царской». Тем самым он нарушил «присягу и должность подданного». И должен пострадать. Суд уже приговорил зловредного автора к смерти. Сенат утвердил решение суда. Высшие государственные учреждения поступили правильно: преступление, совершенное подсудимым, воистину достойно казни. Но рука дающего да не оскудевает! И добродетель императрицы не имеет границ. «По милосердию и для всеобщей радости», по случаю заключения мира с Швецией смертный приговор заменяется злоумышленнику ссылкой в Сибирь, в Илимский острог, «на десятилетнее безисходное пребывание».

Бьют барабаны. Царедворец надевает треуголку на голову. Гулко раздаются шаги солдат по каменному плацу Петропавловской крепости. Бледного, вз'ерошенного человека отводят назад в темный, сырой каземат...

Кто этот преступник?

Отставной секунд-майор армии Александр Николаевич Радищев.

В чем его преступление?

«Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человеческими уязвлена стала» — писал Радищев. Опасно

смелому духу просыпаться раньше времени! Радищев «взглянул окрест» и увидел картину, которая привела его в содрогание. Он увидел самодержавие развратной императрицы, под свинцовым прессом которого стонала вся страна. Он увидел крепостное право, на кровавом фундаменте которого стояла вся тогдашняя общественная пирамида. Он увидел продажность вельмож, тупость правителей, мздоимство судей и приказных. Он увидел все это, и гневный протест против низости, глупости и подлости екатерининского режима переполнил его душу.

Радищев был очень образованный человек. Он знал пять языков, не раз бывал за границей и с юных лет увлекался философией французских «просветителей» — Руссо, Вольтера, Дидро, Гольбаха и др., — той самой философией, которая явилась идейным знаменем великой революции 1789 г.

Негодующий протест против екатерининского режима сливался в его сознании с идеалами французского «просветительства». Протест искал выхода и нашел его. Всю свою боль, весь свой гнев, все свои чаяния и надежды Радищев вылил в знаменитой книге «Путешествие из Петербурга в Москву»...

И вот за эту-то книгу его судили, лишили всех прав и чинов и на долгие годы сослали в Сибирь.

Русская революционная печать начала свой тернистый путь...

35 лет спустя огни декабрьского восстания на Сенатской площади в Петербурге показали, что семя, брошенное Радищевым, пало на хорошую почву. Правда, эта первая попытка русских «просветителей» ниспровергнуть самодержавие кончилась неудачей. Однако, она имела огромное историческое значение: декабристы положили начало одной великой, сыгравшей громадную роль в дальнейших судьбах русского революционного движения традиции — традиции вооруженной борьбы против царизма...

Впрочем, эта политическая награда пришла для Радищева слишком поздно: к 14 декабря 1825 г. кости его уже давно истлели в земле...

Перевернем еще одну страницу...

Сороковые годы XIX века.

На престоле Николай I. Вся Россия — как одна огромная тюрьма. Мысль задушена. Общественность раздавлена. Литература в тяжелых цензурных колдовках. Позади мрак, впереди мрак. А в настоящем — военные парады, плети, тюрьмы, ссылки...

Но страшный крот истории уже делает свое дело. Уже начинают бить глубоко в земле подпочвенные родники новых социальных отношений. В кривых переулках Замоскворечья уже складывается постепенно длиннополая и чумазая русская буржуазия. В дворянской среде уже явственно пробиивается более прогрессивная струя, понимающая, что крепостническая Россия должна быть перестроена на капиталистических основаниях. В городах уже нарождается «разночинная интеллигенция» — эта крайняя левая тогдашней русской общественности...

Да, крот истории делает свое дело, и на литературной арене появляются новые яркие фигуры. Но главная, но центральная среди них — Виссарион Белинский.

Какой изумительный по блеску, благородству и гениальности образ!

«В этом застенчивом человеке, — писал о Белинском Герцен, — в этом хилом теле обитала мощная, гладиаторская натура. Да, это был сильный боец. Он не умел проповедывать, поучать, ему надобен был спор. Без возражений, без раздражения он нехорошо говорил, но, когда он чувствовал себя уязвленным, когда касалось до его дорогих убеждений, когда у него начинали дрожать мышцы щек и голос прерываться, тут надобно было его видеть: он бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал его жалким и по дороге с необычайной силой, с необычайной поэзией развивал свою мысль».

Сам Белинский о себе как-то сказал: «Страстность есть источник моих мук и радостей. А так как судьба отказала мне слишком во многом, то я и не умею отдаваться наполовину тому немногому, в чем она мне не отказала. Для меня и

дружба к мужчине есть страсть, и я бывал ревнив в этой страсти».

И еще однажды Белинский так определил свой характер:

«Я — жид и за один стол с филистимлянином не сяду».

Тут весь Белинский. Великий бунтовщик, страстный фанатик, рыцарь без страха и упрека, органически неспособный ни к какому компромиссу. Настоящий «неистовый Виссарийон», как звали его друзья. Не даром он так увлекался Великой французской революцией. Не даром его любимым историческим героем был Робеспьер. Не даром в последние годы своей жизни он со всем пылом своей природы поклонялся сенсе-монизму и писал, что социализм является «идеей идей». Не даром, наконец, в этот период он говорил: «Я начинаю любить человечество маратовски, и, чтобы сделать счастливой его малейшую часть, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную».

Да, это был великий бунтовщик и великий революционер. Больше того. В потенции это был великий политический вождь робеспьеровского типа.

Но в России Николая I не было места для политических вождей. В России Николая I мощный дух Белинского бился, как бабочка в банке ботаника. Бился и обламывал себе крылья.

В России Николая I Белинский стал литературным критиком, ибо в те времена только печатать, хотя и истекавшая кровью под бичом цензуры, была единственной слабой отдушиной для выявления революционной мысли. Как критик, Белинский оказался поистине гениальным. Никогда ни до, ни после того русская литература не знала лучшего.

Но главная сила Белинского лежала все-таки не здесь. Он был рожденный политический вождь, рожденный народный трибун, он должен был вести за собою массы. Вместо этого жестокая судьба заставила его заниматься «Литературными мечтаниями», писать статьи о Пушкине, Гоголе, Некрасове, Достоевском.

Но Россия Николая I не могла ему простить даже этого. Командант Петропавловской крепости генерал Ско-

белев, встречая Белинского на Невском проспекте, не раз ему шутя говорил:

«Когда же к нам? У меня совсем готов тепленький каземат, так для вас и берегу».

Милая шутка удава, готовящегося проглотить свою жертву!

Генерал Скобелев ждал. И не напрасно. Едва в Париже в феврале 1848 г. вспыхнула революция, как начальник знаменитого III отделения генерал Дуббельт пригласил Белинского к себе для «сердечной беседы». Эта «сердечная беседа», по установившейся в николаевской России традиции, неизбежно должна была продолжиться «сердечным попечением» о Белинском со стороны генерала Скобелева.

Приглашение пришло слишком поздно. Белинский, много лет страдавший туберкулезом, уже больше не подымался с постели. Дни его были сочтены. Врачи бессменно дежурили у его изголовья. Впрочем, не только врачи. Дуббельт, лишенный возможности вести с Белинским «сердечную беседу» в III отделении, откомандировал в его квартиру для «сердечного наблюдения» бравого жандарма, который не отходил от великого писателя ни днем, ни ночью.

Так, под звон жандармских шпор, с мыслями, лихорадочно обращенными на запад, туда, где разгорались огни революции 1848 года, «неистовый Виссарийон» умер в убеждении, что заря социализма, наконец-то, поднялась над человечеством...

.....
 Перевернем еще одну страницу...

1864 год.

Опять бьют барабаны. На Мытнинской площади в Петербурге высокий деревянный эшафот. Вокруг эшафота каре солдат. Вокруг солдат — несколько тысяч взволнованных студентов, курсисток, писателей, интеллигентов всякого рода. На эшафоте высокий, мускулистый человек с большим умным лбом, в очках, с шалкой длинных откинутых назад волос. Он в черном пальто и круглой шляпе. Выражение лица непреклонное и полное презрения к окружающим его палачам. Один из них — судейский чиновник с блестящими пу-

говицами и яркими галунами — выступает вперед и, слегка покачивая склоненной к бумаге головой, медленно читает приговор сената...

Он жончил. К подсудимому подходит второй палач — рангом попроще и пониже. Он привязывает «преступника» цепями к высокому столбу, подымающемуся в глубине эшафота. С неприличными шутками и прибаутками он ходит вокруг «преступника», потирает руки и поплеывает по сторонам. Проходит пять минут, десять, пятнадцать... Вдруг палач быстро подсакивает к «преступнику», сбрасывает сковывающие его цепи, грубо срывает с него шляпу, сильным ударом заставляет его стать на колени и с громким проклятием ломает шпагу над его головой.

В толпе зрителей возгласы гнева и смутения. Раздаются истерические женские крики. Какая-то девушка, прорываясь сквозь цепь солдат, бросает на эшафот к ногам «преступника» букет цветов. Ее хватают полицейские.

Бьют барабаны. «Преступника» поспешно втаскивают в большую черную карету. Еще мгновение, и карета, со всех сторон окруженная конными жандармами с саблями наголо, быстро уносится к Петропавловской крепости...

«Гражданская казнь» Николая Гавриловича Чернышевского кончена. Теперь перед ним — семь лет каторжных работ и вечное поселение в отдаленнейших местах Сибири.

74 года прошло со времени суда над Радищевым, но царское самодержавие ни в чем не изменилось: те же барабаны, те же солдаты, те же распитые золотом палачи и та же смертельная ненависть к революционной мысли.

Самодержавие не изменилось, но жизнь изменилась. Крот истории упорно продолжал свою неустанную работу. На общественной арене действуют те же основные оппозиционные силы, что и во времена Белинского, — либеральное дворянство, торговая буржуазия, разночинная интеллигенция, — но они сделались теперь на целое поколение старше и зрелее. А к ним все чаще присоединяется еще одна, новая, все покрывающая и все потрясающая сила — бунтующее крепостное крестьянство.

Крымская кампания ударила в самую сердцевину прогнившего николаевского режима, и царское самодержавие внезапно оказалось на коленях.

Александр II принялся спешно замазывать треснувшие стены. Было отменено крепостное право. Были проведены судебная и административная реформы. Было создано цензовое местное самоуправление. Были сделаны кой-какие послабления в сфере печати, но цензура... цензура осталась!

Эта маленькая «революция сверху» подарила полувековую передышку самодержавия. Буржуазия и либеральное дворянство в основном были удовлетворены, крестьянство на известный срок нейтрализовано. Протест, негодование, священный гнев против царского режима сохранились лишь в рядах «разночинной интеллигенции». И на нее-то теперь обрушились бичи и скорпионы Александра II.

Чернышевский был духовным вождем «разночинной интеллигенции» 60-х годов.

Глубоко аналитический ум, блестящий литературный талант, совершенно беспримерная работоспособность... Какую яркую, какую исключительно сильную фигуру в истории русской социалистической мысли представлял собой этот мятежный «попович»¹⁾!

Он мог без всякого напряжения регулярно писать по 9—10 печатных листов (150—160 печ. страниц) ежемесячно, и притом без всякого ущерба для качества написанного. Сила слова в нем была поразительна. Положив перед собой лист чистой бумаги, он мог импровизировать из головы длинные статьи, очерки и рассказы с такой плавностью и таким совершенством формы, как будто бы все это было им заранее написано. Кристальная чистота личности и огромное персональное мужество Чернышевского производили сильное впечатление даже на его врагов.

Белинский по натуре был народным трибуном, — Чернышевский являлся прежде всего кабинетным мыслителем и смелым идейным вождем. Конечно,

¹⁾ Отец Чернышевского был саратовский священник.

как и Белинский, он был вынужден отдать дань литературной критике. В этой области он обнаружил немалые дарования. Его знаменитая диссертация об «Эстетических отношениях искусства к действительности» до сих пор не потеряла своего значения, как попытка материалистического подхода к проблеме искусства. Его знаменитые «Очерки гоголевского периода в нашей литературе», его статьи о Лессинге, о Пушкине и многие другие останутся навсегда в числе лучших памятников русской литературной критики.

Но Чернышевский еще меньше, чем Белинский, был литературным критиком. Его могучая мысль влекла его совсем к другим проблемам. Его сфера, в которой он чувствовал себя, как рыба в воде, были экономика, социология, политика. И с конца 50-х гг. он действительно целиком посвящает себя этой сфере, передав область литературной критики своему блестящему ученику Добролюбову.

Каков был Чернышевский как экономист и социолог?

Заслуги его в истории развития русской социалистической мысли громадны. Чернышевский был смертельным врагом буржуазии. В своих «Очерках политической экономики» и в своих знаменитых «Примечаниях» к «Политической экономии Джона Стюарта Милля» он подверг уничтожающей критике либерально-манчестерскую школу. В философии он был крайним материалистом, поклонником Фейербаха, Бюхнера и Молешотта. В области социалистической идеологии он считал себя сторонником Фурье, хотя и отличался от этого великого утописта гораздо большим зарядом революционного реализма. Чернышевский zelo смеялся над надеждами Фурье убедить господствующие классы хорошими словами.

«Кому охота, — говорил он, — слушаться увещаний, не поддерживанных штыками?»

Чернышевский верил в громадную роль революционной силы в истории и признавал необходимость революционной диктатуры. Его не смущала перспектива революционного террора.

«Не может ковать железо, — писал Чернышевский, — тот, кто боится потревожить сонных людей стуком... Только энергия может вести к успеху... А энергия состоит в том, чтобы, не колеблясь, принимать такие меры, какие нужны для успеха».

Разве эти слова не заключают в зародыше всю большевистскую тактику эпохи революции?

На ряду с глубокими мыслями и блестящими суждениями были у Чернышевского и промахи и ошибки. Так, он слепо верил в русскую крестьянскую общину. Он считал возможным переход России к социализму, минуя капиталистическую стадию развития. Он преувеличивал значение разночинной интеллигенции в ходе исторического процесса. Эти промахи и ошибки легли потом в основу народнической струи русского социализма, выродившейся в наши дни в эсеровскую контрреволюцию.

И все-таки Чернышевский означал громадный шаг вперед в развитии русской социалистической мысли! Да и не только русской. Маркс был очень скуп на комплименты, однако, в предисловии ко второму изданию I тома «Капитала» он отозвался о Чернышевском, как о «великом русском ученом и критике, мастерски осветившем банкротство буржуазной экономики». Заслужить титул «великого» от Маркса было очень и очень не легко.

Несомненно, Маркс был прав. Несомненно, Чернышевский был великий человек. Несомненно, он стал бы одним из крупнейших теоретиков не только русского, но и мирового социализма, если бы... если бы его не погубило самодержавие.

Но эта хищная двуглавая птица не переставала клевать сердце великого революционера. 20 лет каторги и одинокой ссылки в далеком Велюйске, среди снегов и морозов полярного круга, не сломили его духа, не сломили его мужества, но они сломили его гений. Когда в 1883 г. Чернышевский, наконец, был возвращен из Сибири, сначала в Астрахань, а затем в родной Саратов, умственно он представлял лишь тень самого себя. Его физическая

смерть, последовавшая шесть лет спустя, в сущности уже ничего не прибавила к совершившемуся. Для социализма и для себя Чернышевский умер гораздо раньше, в ледяных просторах Якутской области...

.....
 Перевернем еще страницу...

.....
 80-ые гг. XIX столетия.

Швейцария. Женева. Небольшая, интеллигентски обставленная квартира на одной из окраинных улиц города. В этой квартире живет и работает русский эмигрант Георгий Валентинович Плеханов. И по крайней мере на целых два десятилетия по капризу истории сюда перенесена кузница русской социалистической мысли и русской революционной печати.

Там, в далекой России, крот истории продолжает свое вечное дело. Страна, полуосвобожденная от крепостническо-феодалных пут, быстро становится на рельсы капиталистического развития. Быстро вырождается поместное дворянство. Быстро нарастает торгово-промышленная буржуазия. Быстро раслаивается пореформенная деревня, и еще быстрее подымает голову новый, еще не виданный в России революционный класс — пролетариат. Первые трепещущие огни его восстания уже начинают тревожно пробегать по гниющему дереву царского самодержавия...

Надо понять и осмыслить эти громадные перемены. Надо увязать их с идеологией и тактикой социалистического движения. Надо критически пересмотреть старые формулы и найти новые формулы, соответствующие изменившимся объективным условиям и учитывающие последнее слово социальной науки. Гигантская, кипучая, захватывающая работа!

Она продельвается в маленькой квартире на окраине Женевы. Плеханов не знает ни усталости, ни препятствий. Он лихорадочно поглощает сотни и тысячи книг по всем отраслям знания. Еще и сейчас можно видеть библиотеку великого марксиста: в ней много тысяч томов, и на полях каждого тома вы найдете его собственноручные пометки. Он тщательно, до мельчайших деталей,

изучает все творения Маркса и Энгельса. Он продолжает дело великих учителей и вносит блестящий метод марксистского анализа в область литературы, искусства, философии. Он образует за границей первую с.-д. организацию в России — «Группу Освобождения Труда». Он ведет страстную идейную борьбу с народничеством и выковывает новое теоретическое оружие для нашего революционного движения — оружие марксизма в условиях царской России. Он внимательно изучает русскую историю и дает блестящую картину постепенной эволюции русской общественной мысли. Одновременно он представляет нарождающуюся русскую социал-демократию во II Интернационале, выступает на международных съездах и конференциях, идейно руководит первыми шагами социал-демократии в России и активно подготавливает создание революционной партии пролетариата. Он — бесспорный отец русского марксизма, и вместе с тем он — один из самых блестящих теоретиков интернационального рабочего движения.

Яркая фигура, острый критический ум, громадный литературный талант, энциклопедическое образование! Плеханов — новый крупнейший шаг вперед в развитии русской социалистической мысли...

Но Плеханов имеет и свою Ахиллесову пятую. Он не политический вождь, он не народный трибун, он — великий учитель марксизма. И притом учитель главным образом кабинетный. На весь мир он смотрит из-за своего письменного стола, из окна своей дивной библиотеки. У него нет чутья масс. У него мало непосредственной связи с жизнью. И потому он так часто столь абстрактен и схематичен в своих построениях. И потому он, образованный и талантливый, так часто делает грубейшие политические ошибки.

Когда в 1903 г. русская социал-демократия распалась на два лагеря, Плеханов оказался с меньшевиками. Когда разразилась революция 1905 г., он, в течение целых 30 лет готовивший революцию, не поехал в Россию. Он предпочел остаться в четырех стенах своей женеvской библиотеки и отсюда беззуч-

бо критиковать борьбу и ошибки товарищей, сражавшихся в России. Когда в 1914 г. вспыхнула мировая война, он, подобно десяткам других вождей II Интернационала, впал в самый пошлый социал-патриотизм, поддерживая Россию — царскую Россию! — против «германского империализма». И, когда в Октябре 1917 года пришла, наконец, первая в истории человечества пролетарская революция, он не узнал своего детища и предал его анафеме. Может ли быть большая трагедия для революционера: оказаться чужим в революции?

А Плеханов испил эту трагедию до дна. Она отравила последние месяцы его жизни, она свела его в преждевременную могилу...

Перевернем еще одну, последнюю страницу...

Крот истории доделал так свое дело. Гигантский революционный вихрь потряс до основания всю страну. Он поднял на воздух гнилую пирамиду царской России, разломил ее, разбросал, развеял по всему миру. На мгновение он создал кипящий, полный бури и огня хаос. Но дунул ветер, и взбурдаженная до самых глубин жизненная стихия начала постепенно успокаиваться, оседать, принимать определенные формы. Как похожи и как непохожи эти новые формы на старую Россию! Та же страна и не та. Те же люди и не те...

Бьют барабаны, но это — барабаны революции. Ровными рядами строятся солдаты, но это — солдаты Красной армии рабочих и крестьян. Играет музыка над Спасскими воротами Кремля, но это — музыка «Интернационала». Высоко развевается над кремлевскими храмами и дворцами национальный флаг новой России, но это — красное знамя мирового пролетариата...

Осуществилась заветная мечта Белинского, Чернышевского, Плеханова: победоносная социалистическая революция прочно раскинула свой стан от Архангельска до Баку, от балтийских берегов до Тихого океана!

А на фоне этого величайшего события всемирной истории, как его наиболее яркое и совершенное воплощение, как идеальное завершение вековой борьбы русской революционной мысли, четко обрисовалась исполинская фигура Л е н и н а... Ленина — величайшего вождя, величайшего государственного человека и величайшего писателя Октябрьской революции.

Что он: история или современность? Ни то и ни другое, или, вернее, и то и другое. Он — наш вчерашний и наш сегодняшний день.

В чем мудрость Ленина?

Прислушаемся к его громкому голосу, отзвуки которого сейчас отдаются эхом во всех концах земли:

«Без революционной теории не может быть и революционного движения»...

«Недостаточно быть революционером и сторонником социализма вообще, надо уметь найти в каждый момент то особенное звено, за которое надо всеми силами ухватиться, чтобы удержать всю цепь и подготовить прочно переход к следующему звену»...

«Партия есть высшая форма классового объединения пролетариев»...

«Накануне революции и в моменты самой ожесточенной борьбы за ее победу малейшие колебания внутри партии способны погубить все»...

«Никогда не надо играть с восстанием, а, начиная его, звать твердо, что надо идти до конца... Раз восстание началось, надо действовать с величайшей решительностью и непременно, безусловно переходить в наступление. Оборона есть смерть вооруженного восстания»...

«С одним авангардом победить нельзя»...

«Только тесный союз пролетариата и крестьянства под гегемонией пролетариата поставит на прочную базу Октябрьскую революцию»...

«Пролетарская революция невозможна без насильственного разрушения буржуазной государственной машины и замены ее новой»...

«Диктатура пролетариата есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и адми-

вистративная против сил и традиций старого общества»...

«Вся власть советам!»

«Каждая кухарка должна научиться управлять государством»...

«Поменьше пышных фраз — побольше простого, будничного дела»...

«Вести войну за свержение международной буржуазии... и наперед отказываться при этом от лавирования, от использования противоречий интересов (хотя бы временного) между врагами, от соглашательства и компромисса с возможными (хотя бы временными, непрочными, шаткими, условными) союзниками, — разве это не безгранично смешная вещь?»

Таков Ленин. Великий революционер и великий реалист — редчайшее сочетание двух качеств в мировой истории. Но как много, как бесконечно много именно это сочетание помогло октябрьской победе пролетариата!

..... :

Длинные и мучительные пути развития русской революционной мысли. От «просветителя» Радищева через сенсимониста Белинского и фурьериста Чернышевского к марксисту Плеханову и большевику Ленину...

1790 год и 1917! 127 лет! 127 лет страданий, крови, слез, несчетных жертв в тяжелой борьбе с царским самодержавием!

127 лет упорной работы мысли, духовного горения, идейных увлечений и ошибок, теоретических преодолений и побед!

127 лет!

Нельзя быть Иванами Непомнящими! Настоящее стоит на плечах прошлого. Сегодня, когда миллионы рабочих и крестьян Советского Союза празднуют рождение большевистской «Правды», великим вождям прошлого, отошедшим, но не умирающим вождям, так ярко воплотившим в себе целые эпохи нашего революционного развития, — наш низкий, наш глубокий поклон...

2. СТЕРТЫЕ ЛИКИ

Очерк

А. Алешин

В «Коробейниках» Некрасова есть строчка: «Ты откуда? Я из Шуньи».

Вот и все, что сказал мимоходом поэт и охотник Некрасов о селе Шунге, типичнейшем уголке костромщины. Трудно сказать, что короткий некрасовский стих вызвал какие-либо диалектические процессы в развитии Шунгенского района; однако, стих этот шунгенцам известен и увековечен ими в названии одной из местных деревень: в революцию деревня с реакционным названием «Святое» переименована в «Некрасовское».

Между опубликованием «Коробейников» и организацией шунгенского колхоза «По заветам Ильича» прошло лет сто. За эту пору шунгенец щеголял во всяком платье: в крашенине, в домоткани пополам с ситцем, в пиджаке из «чортовой кожи», в бараньей шубе с куском лисы на выпушку, ради фор-

са, в пальтушке из солдатской шинели, — всяко.

Помнится, подступали шунгенские мужики с колыями к владельцам картофелетерочных заводов, угрожая за прижимку в «мере» и в «цене»; кляли кооператоров эсеровского склада, «насидевших» в правлениях паевых, общественных предприятий прекрасные дома; точили зубы на арендаторов поемных волжских лугов, принадлежавших графине Паниной и монахам св. Ипатия.

В голодные годы арендаторы, крупные картофельники и прасолы, которыми Шунга положительно изобиловала, обставились зеркалаами и буфетами, вымененными в городе на картофель. Сыновья этих людей дрались с молодой советской властью в лесах и с обиды за проигрышное сражение сожгли два села: «Ни нашим — ни вашим!»

После гражданской войны Шунга стиснула силы и выстроила при поддержке «кредитных и кооперативных центров» мощную электростанцию, от которой сейчас заимствуется ток Кострома. Наконец, превратилась Шунга в колхоз «По заветам Ильича», и всех врагов революции предупреждает с дощечек, прибитых к электрическим столбам на перекрестках дорог: «Не трогать! Смертельно!»

Старое кончено. Подведен ему заключительный баланс. Шунгенские бедняки и середняки решительно, гневно стерли с полотна деревенской общестственности кулацкие лики, как художник стирает с холста бездарный эскиз. Взглянем на эти лики, чтобы понять правоту поступка шунгенских колхозников...

1. В пору, когда деревня Некрасовское именовалась Святое, погожие летние вечера мужики коротали на гнилом «общественном» бревне. Подле бревна лежала тропинка, и по этой тропинке, почти загибаясь за ноги гуляющих, шел из Костромы разный люд. А серединой улицы стлалась пыльная, мягкая перина Ярославского тракта.

Вечерами проходил по тропинке из Костромы крупный прямой старик в чесучевом пиджаке с раздувшимися карманами и в дорогих серых брюках навыпуск. Поровнявшись с мужиками, он хмуро, ни на кого не глядя, приюдно-нимал над лысиной черный шелковый картуз. В ответ мужичьи картузы срывались с головы, как галки от выстрела, а старик шагал, подталкиваясь тростью, к деревне Стрельниково, к своему двухэтажному, городской архитектуры дому.

Проходил и сын старика, но он чуть трогал на голове шляпу с двумя козырьками «здравствуйте - прощайте» и вместо трости придерживал «на поводу» в горку изящный велосипед, по тем временам роскошь. Зимой отец и сын, угрузнув в бобровые шубы, ездили на сером рысаке.

Мужикам всегда было дело до богатых, и они говорили:

— Чего Мазихины в город не переедут? Большая лавка, деньжищ, чай, тысяча сто...

— Жмутся. Скупаются. Город расходу стребует. Рестораны, гости да мамышки в шляпах, — рубль завертится винтом! А в деревне и рад бы, да не истратиться.

В войну старик умер, и дело повел тот самый велосипедист в «здравствуйте-прощайте», сын Гаврило. Торговал он до конфискации магазина, а затем притих и в нэп не включался. С купцов он стремительно соскользнул в рядовые середняки, — сажал картошку и капусту, сенокосил, в городе продавал лишь снятое с земли своими трудами и, попрежнему нагоняя страх на учителей, «префествовал» над местной школой, но уже не в звании попечителя, а в звании «родительского комитета».

Крыша на дому его поржавела, забор фигурчатый огнил, сад заглох... Об руку с середняками и беднотой выкатывал Гаврило дрова из реки Костромки, а зимой возил с берега ее на фабрики дрова, оборвался одежишкой, оброс бородой...

— Вот, — указывали на него соседи местным коммунистам, — вы говорите: «кулак! кулак!» — а где он, кулак? Которо место? Вот вам пример — Гаврило Алексеевич Мазихин: в купцах был, лошади не умел запрещать, а как подперло — и встал вровень с нами, не различить! Как есть трудящийся крестьянин. Что он, по-вашему, кулак — в лаптях ходит, навоз возит, с лесом пачкается в речке, по ворот в грязи?!

Подумав секунду, похмурившись, коммунист упрямо встряхивался: «кулак!»

Мужики обкладывали его матюком, и разговор о дифференциации крестьянства кончался. Трудовой «образ» бывшего купца так влезся в сознание стрельниковцев, что в начале раскулачивания бездомная беднота отказалась поселиться в просторном купеческом доме.

— Не нами этот дом найт, не нам в ем и жить! Гаврило Алексеевич — такой же трудящийся... Раньше! Мало что было раньше. По ранней песне соловья не судят!..

Через неделю плеснула по Шунге вторая, более сильная волна классового наступления на кулачество. Заглянула волна, в виде твердой комиссии, в ку-

волна в виде твердой комиссии в купеческий дом, — и образ «трудовника» Гаврилы растаял, как табачный дым: в тайниках его дома нашли одежно-галантерейный магазин, содержимым которого можно и очень форсисто приодеть небольшую деревеньку. Шубы на всяческих мехах, куски дорогой мануфактуры, шелковые чулки и шерстяные пачками, кружева, ленты и т. д. Затем провели по стенам дома магнитом, и в одном месте магнит отяжелел, заиграл стрелками... Стену в этом месте размуrowали и нашли гнездо с золотом, самоцветами, — гнездо с содержимым на несколько тысяч рублей.

— Удивление! — развели руками стрельниковцы. — Сколько всего припрятано?.. А ведь со мной на пару лес выкапывал, в лаптях... ведь это надо терпенье да и терпенье — таиться столько лет!

Что ожидал этот замуравленный, железной выдержки человек, приберегая ценности, маскируясь лаптями, отказывая себе и семейным в самом элементарном? Ясно: он ждал возможности без риска открыть свои тайники и превратить ценности в торговый капитал. Он трудился, ходил в лаптях для виду, сцеля зубы, в надежде на контрреволюцию.

2. По смерти отца он остался 16-летним парнишкой и принял семейную бо́льшую часть. Дядя его, арендатор монастырских лугов, сказал ему строго: — Будет, как при покойном Михайле. Шататься не дам. Какие луга отец держал, такие и ты будешь держать. Ряди косцов, ряди баб на погребку. Торгуйся с ними, с цены не сдавай, у отца записано кому какую цену положить. Книжка знаешь где?.. за иконами в верхней избе, во-о! Держись за меня, обучу.

И учил.

Выедут они — дядя с племянником — на монастырские пожни к завтракам, оглядят цветную россыпь, косцов и баб, своих наймитов, и засоветуются. Долговязый подросток нагнется к низенькому, плотному дяде и в оба, раскрыв рот на манер молодого грача, слушает дядич хрип:

— Надо седни всю пожню скосить, ждатель нечего. Надо сказать этим... передним ребятам... Да огляди, хорошо ли косят, с мочкой ли. Не в полтраве ли шарят; смотри, чтобы атавы ни-и!.. чтобы под бритву, вот и будет шрипент. Ты на косцов не гляди, жалобы ихни не слушай, знай свое: чтобы сено встало в стога за ведро и чтобы — с мочкой. Без мочки сену — не вес, помни!.. Пойдем, я сам огляжу...

Дядя плелся и зорко шурил острые глазки на свежую, парную кошенину, кривил голову так и сляж. Племянник, палками развесив руки, плелся за дядей, подражая его голосу, взглядам, движениям...

— Ребятоуу!.. Богнапамаач! — задорно кричал дядя косцам. — Бабы-ы, богнапач!.. Бейте-бейте валы, какого черта? Солнышко в жаре!

Затем он звал этого... переднего в покосе, из тех здорovenных, глуповатых дубин, что за лишнюю трешницу в ряде, за особое к ним внимание хозяина до кровавого поноса мучили артель на покосе.

— Ну, Ванюх, как дела?.. Что мало накосили?

— Мало-о?.. Гы-гы. Скажешь! По десять покос на брата — мало? С вечера почитай, шарим, шарим и все — мало. Что, Лексан Иваныч?!

От хмурости глаза дяди исчезали совершенно. Племянник тоже хмурился.

— Это самое... слышал пословицу: не мужик косит, а бог, ведро-бадюшко. Пока ведро, и надо рвать, ухватывать. А отдыхать будем в ненастье, так ли?

Ванюха лез в место, отведенное на случай затруднений всем без исключения Ванюхам, — в затылок.

— Это — так, да — устали. С часу ночи, это хоть кого замочает. Андрюха задний на два покоса отстал, раза три ложился, — с брюхом что-то у него...

— Говорил — не ряди, — порядил! — выговаривал дядя племяннику.

— А что теперь делать? Упросил. Говорит: я при отце восемь сенокосов выходил... Пожалуй, теперь кричи! — ершился племянник по-взрослому.

— Я не кричу, а учу!.. Глядеть надо не по отцу, а по делу. Прикидывать надо. У них, ты знаешь, весь род грыж-

ные, да пес знает какие; из убытка не вылезешь от таких косцов.

И кидал Ванюхе, чтобы он не стыл, не застывался:

— Иди, иди, докашивайте. Хотя вон по тот куст смахните... во-он ту карточку...

— Вот так карточка! Тут в ёй...

— Иди! Знаю, сколько в ёй, сам в перединых косцах ходил. Иди скажи ребятам — к вечеру поднесу им по чашке.

Чашка действовала на Ванюху магически. Он чуть не бегом возвращался к артели, к косцам, настолько туго разгибающимся, словно в руках у них было по двухпудовой гире, а не по клокоту травы для обтирания кос перед точкой...

Дядя делал племяннику простые выкладки:

— Четверть выжрут — два с полтиной, а в этой карте по куст наставится пудов 300. Ежели оно, бог даст, уйдет в стога сухим, полным весом, — считай в кармане 25 рублей, акромья расходу!

Под таким руководством племянник быстро выравнился в самостоятельного арендатора. Он лично заключал договора с ипатьевскими монахами на аренду пожен, договора с пехотным полком, с городской пожарной командой, с фабричными конторами — на поставку сена.

После сенокоса дядя с племянником задавали косцам и подгробальщицам «отставку». Подвода, очертившись вилами и граблями, ехала в деревню, а люди вместе с хозяевами валили в один из тракторов Рабочей Слободки, что обок с Ипатьем.

Люди пили чай, пиво, теплую водку, закусывали «простой колбасой», каменными баранками, вчерашним ситником. Едкий пот мешался с сеной трухой, принесенной с последней пожни под рубахами и вместе с «ершом» из чая, пива и водки будоражил нервы. Люди балдели. Усталые, пьяные, мотались они по пыльной дороге, к деревням; уставшее за день вжигалось в дальние леса красновато-мутное солнце. Хозяева ехали на тарантасе и взбадривали людей:

— Бабы, бабоньки-и, да спойте! Завтра подарки получите. Что уныли, по-

тещите, повеселите хозяев, какого чорта?!

Бабы всплясывали, нескладно махая руками, и визжали в пыль: «За што Сашу-у лю-уди лю-убят, я на свете ни-я ко...»

— Ой, задохнулась. Тьфу! Уж дома спляшем, в деревне!..

На телеге везли сильно пьяных. Бледный сквозь коричневый загар косец, поддерживаемый сзади молодойкой, тоблевал через обочину, то кричал:

— Хозя-аин!.. Лексан-ван!.. Молодой хозяин, Лекса-михаа!.. Слышь! Ты как скажешь, а?.. Ты знаешь, я косил на честе, во всю мочь! Почему што знал, кому кошу. Ежели ты мне, так и тебе. Ты дал мне на свадьбу, и я буду носить, вво... пять годов!.. Я не-етлю себе надее...

Молодаяка испуганно зажимала ладонью жаркий, слюнявый рот мужа.

На другой день хозяева одаривали косцов сатином на рубахи, а подгробальщиц — ситцем на платье. Косцы, по мужской свойственности, подарки не критиковали, зато подгробальщицы смотрели ситец на солнышко и оставались недовольны.

— Косеек по двенадцать аршин, как сито — подарочек! Надо бы выбрать г..нистее, да уж нельзя. Обжоры!.. Ну, бог с ними, когда-нибудь нажрутся наших крох, сыты будут!..

В годовые праздники гостили у арендаторов знакомые: хромой штабс-капитан, заведующий полковым хозяйством, брандмейстер и заведующий фабричной конторой. Через раскрытые окна «верхняя изба» дышала на улицу жаром, потом, гудела сытым, веселым говором. Подгробальщицы, проходя по улице, взглядывали на спины, заткнувшие окна и наклоняли головы с охолодевшими глазами... Росла ненависть бедных к богатым, наймитов к хозяевам и выросла в чувство безжалостного гнева.

...В феврале нынешнего года бывшие косцы и подгробальщицы выгнали своих бывших хозяев из домов. В дядином доме — сельсовет, а племянник очистил место для избы-читальни. Так, за кровавые поносы, за редкий ситчик,

за «ерша», за свадебную петлю, — за все рассчиталась беднота со «славным родом» арендаторов. Утеснила их для новой жизни.

3. В 40 километрах от станции Никола-Полома Северных дорог есть место, где пересекаются древние гужевые тракты: Костромской, Вологодский и Усть-Сысольский. В этом месте леса делают круг, ограждая лобушину, вздутые поля. Смотреть на это место сбоку — аккурат мужицкая лысина в кружале выпадающих волос. И на самой макушке лысины — посад Парфентьев, кучка разновеликих, разношерстных домов. Будто внуки веселые наклали деду на лысину игрушек и сказали: «Не шевелись, иначе все полетит!»

И действительно: тихо здесь до необыкновения. С поля, с окраины посадской слышишь, как настучивает молоток в колхозной слесарке, в центре посада.

Притих Парфентьев потому еще, что за день до моего приезда прощупывали здесь частников, лишенцев, жулаков и напугали множество интересного и с точки зрения материальных ценностей и с точки зрения житейских выкрутас.

Прежде в Парфентьеве были грандиозные базары. Этот товароперевалочный пункт питал всякой-всячиной три губернии. От драгоценных изделий и до горохового киселя — все было в угоду, в потребу покупателя. Крупные купцы поддерживали средних, средние — лавочников и ларечников, а эти, в очередь, — маклаков, торговавших с руки и с подножья. Весь посад торговал!

В числе крупных был купец Румянцев. Жил размашисто. На рысаке ездил на Никола-Полому чайку попить, побаловаться.

В революцию, закрыв во время магазин и рассчитавшись с торговой своей агентурой из бедноты, он столь же размашисто отрешился от прошлого, внес добровольно крупную контрибуцию.

— Все, товарищи! Чист, как голубок! Будет, пабаш торговать, понял, что нехорошо; до самой смерти буду теперь трудиться и деток воспитаю в эфтом духе!

И сел на землю. Сам пахнет, сеет, се-

мью гоняет по полям, — тоже в лаптях, в поту, в черном теле, как придется. Власти шарфентьевские заметили преобразование человека и успокоились. Немало было среди «властей» разговоры о том, что перерождение кушца в трудящегося возможно: жизнь подкладывает на ответственный стол свои, местные факты!..

Но человек тот, преобразившийся, не успокоился. Улучшая с необыкновенной поспешностью скот, приобретая машины, расставляя вокруг дома улысамотеки, надоедая районному агроному советами о силосах, тройном клевере, размахивая перед окнами партъячейки и вика «Беднотой», «Крестьянской Газетой» и всеми их полезными приложениями, передовик-средняк Румянцев тайком общался с беднотой.

— Павел, чем нынче сеешь за овинном?

— Чем... А хоть пылью из кармана: нету семян, с'ел... А тебе что?

— Да-а... плохо, вот что. Пойдем в чайную к инвалидам, может, там до чего и домозгумем...

От инвалидов Павел выходил нетвердо. Парфентьев качался, а полоса за овинами, похоже, вставала на дыбы и совершала удивительный прыжок в направлении к румянцевскому пятиполью... И так другого, третьего Павла водил Румянцев к «инвалидам», проделывал трансформацию с заменой полос, с арендой, перетасовкой земли, — лишь бы наростить свое поле.

— Отстань! Не смейши, сделай милость, — ласково бубнил он бедняку: — до лашни ли тебе, чужац-человек? Тебе впору теперь на собраньях управиться, вы теперь — господа положенья!

А под осень того же бедняка звал заботливо, с великой крестьянской тоской в голосе и глазах:

— Паш, подмогни мне пожать, сделай милость. Опоздал с рожью, про считался... Ведь вот по науке работаю, а выходит, что на науку еще наука требуется. Сыпется рожь-та, ранняя, сортовка, с капризом, к климату не привыкши... Скажи свое ей, чтоб завтра прихватила пожать, подмогнула моим мученикам... А? Да ты не сомневайся, сделаемся, за мной не пропадет. Авось и ты от меня сортовкой обсеешь.

— Нанял бы, — уклонялся бедняк. У Румянцева глаза на лоб.

— Эко ,сказал! Да что я, кулак — нанимать? Я — образцовый середняк и себя помню... Я из Кологрива письмо получил, пишут — пленум уездный придет мое хозяйство смотреть, специально!.. А ты — «нанял бы». Ведь это сам себя ,зарежешь. Так скажи Прасковье, чтобы пришла, скажи!..

Так он ловчился на своих законных середняцких 5 десятинах и кулачил на 13 тайных, надерганных «под секретом» у бедноты. Власти парфентьевские в ту пору занимались больше балами в местном клубе, нежели политикой, и Румянцева не видели.

В 1927 году пленум уисполкома в полном составе посетил Румянцева и действительно нашел его хозяйство образцовым. Даже грамоту похвальную получил Румянцев и врезал ее в рамку, рядом с портретами вождей...

И крутился бы этот Румянцев под защитой «пленарной» похвалы еще годы, но прилетел приказ: прощупать всех «бывших», в том числе и преобразившихся. Тут все винты «образцового хозяйства» развинтились, и оказалось у Румянцева, как есть, кулацкое хозяйство. К тому же при обыске нашли у Румянцева 30 тысяч рублей в золоте, в кружочках с нецарственной головой Николая II.

4. Радость простреливала меня во всех направлениях, когда мальчишки-сверстники соглашались пойти за деревню, на «Горки», искать стрелы.

От деревни Некрасовское до Горок — пять минут бега. Пробежать горбину Высокого поля, пробрести кочкастую мочажину в телячьих лепешках — и вот Горки: песчаная, обточенная ветрами дюна с крутым спадом в поля и с отлогой, дернистой покатостью к приволжским лугам и озерам. Чудесное место!

Но слишком опасное, чтобы посещать его одиночным порядком. Сбоку от озера «Святое», где, по преданию, утонули поляки, пришедшие за жизнью первого царя Романова, Горки и Высокое поле казались челюстями чьего-то древнего обратившегося в землю рта; тем более, что по вершине Горок торчали гнилые зубы сосновых пнищ.

Для ребяческой фантазии это была сильная нагрузка. К тому же — стрелы, изредка попадающие в руку, если она усердно, с верой — обязательно с верой! — рылась в сыроватом, хрустком и плотном слое песка, лежащем под горячей верхней сыпучестью Горок.

К крестьянскому мальчишке вера и вообще всякая высшая мораль пристает туго. И в поисках стрел мы руководствовались не тем, что эти стрелы рассыпал Илья-пророк, а тем, что городские «господа» дают счастливым по гривеннику за стрелу и увозят их в какие-то музеи. Проведение «господ» было непонятно, но оно лежало ближе к жизни и служило вполне реальным призом за находку¹⁾.

Главная же опасность Горок была в том, что на средине их стояла куча серых строений под дражкой: завод с кривой, ржаной, расчлененной проволоками трубой, дом, кузница, склады, и в середине строений — черная злющая собака. Она на своем веку порвала немало мальчишеских штанов, прихватывая со штанами и живое место. Звалась собака ненавистно, но азартно: «морозовский Шарик», по имени Михайлы Морозова, владельца картофелетерочного завода, всех подзаводских строений и Шарика.

Когда искусанный мальчишка жаловался отцу, он получал еще и взбучку с нагоняем:

— Зачем вас черти носят на Горки? Знаете, что там собака, а лезете.

Затем отец прибавлял от себя:

— По хозяину и собака. У-у, глот, драповая харя. Хотя бы опалил кто его гнездо!

Отцовская ненависть переключалась на мальчишек, и когда осенью завод возобновлял работу, мальчишки кричали с поля, с безопасного расстояния: «Драповая харя, дай свисток!» — и мчались к деревне вроссыпь: с горки, от завода черным клубком катился Шарик...

Морозов был для деревни жуток, как всякий врожденный, биологический кулак. В пору моей борьбы с Шариком

¹⁾ На Горках открыта стоянка первобытных людей.

он был в самом расцвете. На высоком, сутуловатом корпусе сидела маленькая голова. Ноги коленками вместе, расходясь от широкого таза, напоминали раздвинутые ножницы. А общее впечатление от фигуры — крупная мокрица, поставленная на двояшки хвоста. Лицо корявое, «драповое» от оспы и маленькие, красноватые, как мышата новорожденные, глаза.

Одевался и жил Морозов «под купца», но все у него получалось нескладно. Одежда не приставала к нему. Черный люстриновый пиджак коробился, серые брюки болтались на ногах мятыми тряпками, шелковая шестигранка на голове пузырилась, будто с неприятности, и хотела улететь.

Позавистится Морозов, купит сан-американку с запряжкой без дуги; а лошадь не по саням: низенькая, жеребая кобыла. Мужики смеются, язвят:

— Совсем граф, только рожей коряв!

Привезет Морозов гостей из города, но гости перепьются, устроят пожар, — и он, как котят, повыкидывает их из дому. Побредут гости в город пешком.

Разжился он с того, что «выставил» родного брата из наследственной пряжеварни, а затем, с постройкой завода, сел на мужицкий гроб, заграбастал себе на поставку весь картофель, родившийся на ближних к заводу полях.

Поля здесь особенные. В то время как нормальное поле принимает в себя яровые (семена, — поля не красовцев еще отгаивают, пузырятся под водой. Вешние разливы прежде наплескивались на поля столь глубоко, что над ними свободно проходил буксирный пароход, приводивший к заводу Морозова ежегодную порцию дровяника. А другую порцию — коротышей обжига ставил пароход подле кирпичного завода того же владельца, близ св. Ипатия.

С приходом дровяника начинался для Морозова производственный год. В эту пору он велегласно открывал тайники своей кулацкой природы. Морозов подходил к разливу и, забредая в воду, «лаялся» с командиром парохода, не желаям рисковать, чтобы подвести плоты, как ему, Морозову, хочется: возможно ближе. Чем ближе к заводу

обсохнут плоты, тем дешевле перевозка обжига. Ясно! И кричал Морозов командиру в рупор из ладоней:

— Я тебя, сукин сын, достану! Я об тебе с хозяином буду иметь разговор!

Командир парохода, вооруженный настоящим рупором, при тихой воде отвечал звучно, как колотушкой по медному тазу:

— Пошел к... вместе с хозяином, слышал?! Корявый чорт, мо-орда богопротивная!

Затем он поворачивал рупор в направлении к плотам и властно распоряжался:

— Ребята! На плотях, эй?.. Отчаливай!!

С командира переносил Морозов бессильную злобу на плотовщиков, — «лаял» их ни за что и обязательно не доплачивал им по рублю каждому. Плотовщики знали это заранее, как болезнь Морозова, и ругались с ним только для формы. Впрочем, ругаться по-настоящему они не могли. В крутых случаях Морозов тыкал своей орангутанговской рукой по направлению золотых глав Ипатия и шерился каждой оспиной: «А к уряднику хочешь? Хочешь... твою мать?!»

— А, чорт с тобой, подавись. Где-нибудь вырвет из тебя наши труды... Мы кольки сутки длыли безо сна, под дождем, а ты кинулся на наши цолковые, э-э... Не хозяин, не заводчик, а жулик: ты ныне, присно и во веки веков!

— Аминь, — махал Морозов с истовостью старообрядца. — Иди, пока не отвел шейного пластыря...

Точно так рассчитывал он кирпичников, слесарей по ремонту завода, мужиков, поставляющих ему картофель, мальчишек, перевозивших его на лодках через разлив. Обсчитывал он даже в церкви, при продаже свечей и просфор, по должности старосты.

Принимая от мужиков картошку, он скидывал с «меры» на засоренность, на плохое качество, на разницу между мерой мужицкой и заводской. Вначале поставщики «от греха» прибавляли в мешок лишние полмеры, но скоро увидели, что это ни к чему. Морозов и увеличенный мешок находил маломер-

ком. Даже за отбросы производства, за «барду», любимое кушанье коров, он драл с мужиков деньги и избивал тех, кто покушался на «барду», не будучи поставщиком картофеля, — бедноту.

Мужики год — другой копили злобу к заводчику и, наконец, не выдерживали, — посылали за ним от имени ехода, чтобы выговорить, устыдить его «на миру». Он являлся, чтобы покоситься исподлобья на старосту и послать «мир» туда, куда отсылал оп плотщиков и всех других по-одиночке...

Тогда «мир» брался за колья и шел на Горки войной. Выкатывался Шарик под ноги мужикам, а вслед за Шариком во главе команды приказчиков и пьяниц-батраков, вооруженных всякими хозяйственными железными увесистыми предметами, появлялся Морозов с ружьем наизготовку. — За урядником послано, по-ослано, будьте спокойны! — издевался он над «противником». — А до урядника я вам любому кишки прострелю, только сунься!!

— Сожжем!!! — клокотала толпа. — Уничтожим тебя, мироеда, сукина сына!!!

— Жги! Убыток не мне — казне: я застрахован!..

Делать больше было нечего, и «мир» отступал от завода.

Семья Морозова — жена, выводок дочек и сынишка — представляла образец человеческой забитости. Три нескладные, нелепо одевающиеся, сумрачно-тихие дочки ушли по воле отца замуж за дьячков и певчих, возлюбленных Морозовым за конгломерат из смиренности, спекулятивных способностей, прилежности к «старому чину» в религии и корявых, ослепших лиц.

Крестьяне отобрали завод у Морозова до официальной национализации, но в заводе ничего не было, кроме постаментов для машины и мятого котла. Машину Морозов разобрал заранее, и она, поржавевшая, найдена была в земле под заводом два года спустя, когда милиция искала здесь самогонный аппарат.

Аппарат оказался очень сложный, «по последнему слову техники»: вы-

рабатывал! спирт государственных стандартов. Протокол, суд, высижка, крупный штраф. Но энергия Морозова неистощима, — он на следующий день по выходе из домзак организовал новое производство.

...Дни и ночи, бесменно, в глухом подвале дочки ручным способом терли картошку, отцеживали крахмал. Жена командовала печкой, перегоняющей крахмал в патоку. Сынишка вершил последнюю стадию производства: варку и формовку паточного монпансье, имеюемого «зубодер».

А сам Морозов лишь продавал «зубодер» в городе, лавочникам и сидельцам чайных, попутно «интересуясь» золотом, долларами, стерлингами... Кончилось это обычно: Морозовым «заинтересовался» суд. Опять Морозов попал в домзак и по выходе не нашел ни имущества, ни земли. Имущество пошло с молотка, а землю отобрал комитет взаимопомощи дер. Некрасовское.

И помнится, пришел Морозов ко мне в редакцию губернской газеты с заметкой на комитетчиков, с кляузой, подписанной «сельжор Свой».

— Односельчане мы и по вере...

— Что значит — по вере? — спросил я его.

— А как же: старообрядцы... Ваш папаша, Пал Захарыч, ровесник мне, до солдатчины вместе гуляли... Жгмм! (Шумный вздох и напряжение глаз.) Так вот: пропишите, пожалуйста, наших сукиных детей, комитетчиков: Пашку и... этого, как его... Васьки Слепого сынишку. Ведь житья не стало, истинный господь!

Я снял трубку с телефона-вертушки и сказал в пустоту: «Гепеу — пожалуйста!» Затем пригнулся повнимательней к содержанию заметки и, когда вскинул глаза, — в комнате никого не было...

Вскоре некрасовцы сообщили мне, что семья Морозова треснула. Сынишка скрылся неизвестно куда, прихватив отцовские золотые — последние — часы, а дочки отмежевались от отца раздельным актом. Сельсовет вначале не утвердил этот акт: «Фиктивный!» Но дочки не сдались. Второе их заявление в сельсовет было написано

гневными слезами и проклятиями по адресу отца, заслонившего им жизнь своей стяжательской, ненавистной фигурой. Акт был утвержден, возвратил дочкам право на землю, на жизнь в деревне. Отец их остался на пустых Горках при последнем ремесле: он выполняет заказы церквей на «богово масло», таинственным способом выгоняя его из керосина.

...В феврале нынешнего года, возвращаясь из шунгенского колхоза в город, я встретил Морозова. Он, горбясь и что-то бормоча, брел к себе, на Горки. Его догнали рабочие, сменившиеся на фабриках в 6 часов. Я не оставался и слышал лишь то, что можно слышать мимоходом:

— Товарищ, позволь пройти, — сказал один рабочий Морозову, шагавшему то на один, то на другой полоз дороги.

— Какой я тебе к... матери товарищ... Та-ваа-рищ!.. Я как был, так и... а вы, как были фабришная рвань...

Дальнейшее перешло в мычание. Оглянувшись через несколько минут, я увидел, как Морозов вкестился и кланялся на часовенку, поставленную лет 200 назад при дороге, в память избавления от поляков первого из Романовых. Рабочие ушагали от Морозова далеко вперед...

Стучат молотки в колхозных слесарках, понемногу выколачивают из деревни российскую, лениво-кабальную тишину и неумную жуликоватость. Правильным пунктиром темнеют на снежных полях и лугах телефонные и электрические столбы, поддерживая живую проволоку. Скользят по проволоке ветры всех стран и гудит, гудит немолчный разговор.

— Уууу... ыыы... аааа... оооо... Ты откуда? — Я из Шунги, из колхоза, за руковооо...—А я из города, за электриче... Эй, кто там? Отойди... Не трогать! Смертельно!!

3. ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО АКАДЕМИИ НАУК

(К корням «неувязок»)

С. Воронов

В петровскую эпоху бурного преобразования Московского царства в дворянско-помещичью Петербургскую империю, в условиях процветания русского торгового капитализма и развития зачатков промышленного капитализма стало совершенно необходимо «собственной своей земли из детей искусных купеческих людей, художников, ремесленников, шкиперов и матрозов получить»¹⁾.

Имея в виду путем приглашения в Россию заграничных ученых «учредить Академию Наук и при ней другое заведение, где бы могли знатные лица изучать необходимые науки, а вместе с тем водворить необходимые стране «художества и ремесла», Петр I на представленном ему по этому во-

просу докладе начертал: «Сделать Академию»¹⁾...

Надо отметить, однако, что, когда дело дошло до реализации этого первоначального проекта и когда библиотекарь и секретарь придворного лекаря Петра—Шумахер—получил в 1721 г. заграничную командировку, ему было дано поручение уже несколько иного порядка, а именно: хлопотать «для сочинения соизетета наук, подобно как в Париже, Лондоне, Берлине и прочих местах»²⁾... Мысль о создании университета была отброшена. Для престижа петербургского двора и самого царя, числившегося между прочим членом

¹⁾ Briefe von Christian Wolff aus den Jahren 1719—1753. Ein Beitrag zur Geschichte der Academie der Wissenschaften zu S-Petersburg, 3, 4.

²⁾ «Наука и литература в России при Петре Великом», I, 534.

¹⁾ Из доклада Генриха Фика 11/VI—1718 г. Петру I.

Парижской Академии Наук, очевидно, казалось важным иметь собственную Академию, точно так же, как и дворцы, кунсткамеру и даже Венеру, «ни в чем не уступавшую медицинской»¹⁾.

По смерти Петра его царственная преемница Екатерина I, алкоголичка и неграмотная, бывшая горничная эстонского пастора, окончательно утвердилась в этой мысли, о чем и оповестила все европейские дворы. Импортированные вскоре заграничные ученые получили у этой царицы такую аудиенцию, «которой великолепнее и благоклоннее не могли желать и важнейшие из посланников»²⁾, и уже 27 декабря 1725 года состоялось первое торжественное заседание Российской, впоследствии Петербургской Академии Наук.

Первоначальные заботы об Академии вскоре были низведены до уровня очередного придворного развлечения, и это наложило, как мы дальше увидим, отпечаток на всю ее последующую историю.

После смерти Екатерины двор переехал в Москву, старые забавы были забыты и вместе с ними была забыта и Академия, материальное положение которой стало так затруднительно, что она принуждена была искать... «у кого пристойно в заем на счет академической (сметы) 500 рублей»³⁾.

Создав и продолжая сохранять Академию преимущественно из тщеславия перед Европой, двор оставлял в своих руках выбор ее президентов, кандидатуры которых были тем более основательны, чем они были ближе «к сферам» и всемогущим на каждый данный момент многочисленным временщикам.

Так, например, в 1734 году «главным командиром» и «начальником», «призванным ведать и управлять с.-петербургскую Академию Наук», был назначен камергер императрицы Анны — ее «любезно верный, осторожный и прилежный человек» — барон И. Корф, который, получив назначение, увещевал

академиков в своей вступительной «изрядной и витийственной» речи «к согласию и пристойному им поведению»⁴⁾.

При Елизавете в 1746 г. президентом Академии был назначен 22-летний брат всемогущего временщика — граф К. Разумовский, которого 17-летним неграмотным мальчиком вывезли учиться из Украины за границу, где он все же «не приобрел особенной охоты не только к наукам, но даже и к чтению»²⁾.

В условиях такого руководства Академия оставалась учреждением в значительной мере бюрократическим и полностью зависевшим от своей канцелярии, во главе которой стоял злой гений Академии Шумахер, а после него, по выражению Ломоносова, — «зять его, и имения, и дела, и чуть не Академии наследник» — Тауберт. Не прошло и десяти лет после создания Академии, как сенату уже сообщалось, «что понеже она канцелярия единого онаго Шумахера властью учреждена; також от него одного таким образом управляется, что котория в оной дела до сего времени под именем Академии случивались, оная редко им, профессорам, сообщены»³⁾...

Русское общество XVIII века хладнокровно относилось к невзгодам Академии, в которой оно не чувствовало в ее настоящем виде потребности. и от которой оно было далеко. Правительство же еще со времени Петра I сознательно поощряло такую изоляцию Академии и даже намерено было «дом академический домашними потребами достачить» и, «наняв от Академии эконома, кормить в том же доме, дабы, ходя в трактиры и другие мелкие дома, с непотребными обращаючися, не обучились их непотребных обычаев, и в других забавах времени не теряли бездельно»⁴⁾...

¹⁾ Ак. Пекарский. История императорской Академии Наук 1870 г. Т. I, 517, 521.

²⁾ Пекарский. История Академии Наук, т. II, 1870 г. XX.

³⁾ Ак. Пекарский. История Академии Наук. Т. I, I.

⁴⁾ Там же, т. I, XXXIV.

¹⁾ Историкограф Мюллер в рукописи Zur Geschichte der Academie der Wissenschaften zu S.-Petersburg, 7—9, 83.

²⁾ Историкограф Мюллер. Там же.

³⁾ Архив Академии Наук, II, книга № 419.

Социальный отбор будущих ответственных ученых также производился достаточно четко. Вопреки мнению ак. Богословского (см. его речь в торжеств. засед. АН 2—II—26 г.) о том, что русское общество XVIII века двинулось к научному знанию так, что это, очевидно, было «дружное выступление всех классов русского общества или точнее выступление русского народа всеми составлявшими его классами», Ломоносов (в 1754—1755 гг.) говорил:

«Ежели европейские государства наполнены людьми учеными всякого звания... ни единому человеку не запрещено в университете учиться, кто бы он ни был... а чей он сын, в том нет нужды... — здесь, в Российском государстве, ученых людей мало... в подушный оклад положенным запрещено в Академии учиться... Довольно бы и того выключения, чтоб не принимать детей холмопских... 1).

«Фонарь исторического исследования», о пользе которого упоминал в своей речи ак. Богословский, представлял собой, как мы видим, действительно, «удивительный, прямо магический инструмент в руках историка». Не будем, однако, отвлекаться от нашей непосредственной темы.

«Менделеев XVIII века» — Ломоносов — находился в таких условиях работы, что, когда он просил «дабы повелено было при Академии Наук из академической суммы учредить химическую лабораторию, и оную» ему «нижайшему с принадлежащими к этому инструментами и материалами поручить», — ему было в том отказано. Свои бытовые условия Ломоносов характеризовал следующим образом: «От долговременного удержания жалованья в крайнюю скудность и почти в неоплатные долги пришел; для того не токмо лаборатории и к тому надлежащих инструментов и материалов завести невозможно, но с великою нуждою мое пропитание имею» и дальше: «а ныне я, низайший, нахожусь болен, и притом не токмо лекарства, но и дневной пищи себе купить на что не имею и денег взаймы достать не могу».

Положение его усугублялось еще тем, что Елизавета «изволила объявить

через Шувалова», камер-юнкера двора и покровителя Ломоносова, что она «охотно желала бы видеть российскую историю его штилем». И Ломоносов вынужден был заняться этой работой, оставляя за собой лишь право уделять часть времени любимым научным занятиям:

«Всяк человек требует себе от трудов успокоения: для того, оставив настоящее дело, ищет себе с гостями или с домашними препровождения времени, картами, пашками и другими забавами, а иные и табачным дымом; отчего я уже давно отказался, затем, что не нашел в них ничего, кроме скуки. Итак, уповаю, что и мне на успокоение от трудов... позволено будет в день несколько часов времени, чтобы их вместо биллиарду употребить на физические и химические опыты, которые мне не токмо вместо забавы, но и движением вместо лекарства служить имеют...»

В своем же письме к Шувалову в 1753 г. он говорит:

«... внешнее и внутреннее Академии бедное состояние. Извне почти одне развалины, внутри нет ничего, чтобы Академию, Университетом могло назваться...» 1).

Созданная «для славы среди иностранцев» Академия иною и быть не могла; она, как целое, научной жизнью не жила; в ней работали отдельные лица, с большим или меньшим правом носившие звание академика, но для общих начинаний, которые были бы органически связаны с хозяйственными и культурными запросами страны, в Академии не было почвы.

Далекая от жизни, она жила и питалась в первую очередь отзвуками придворных событий и своими собственными мелкими интересами. В атмосфере интриги, угодничества, пустого тщеславия, уязвленного самолюбия и проч., незаметно складывались те традиции, которые в значительной мере определили ее уклад на долгое, долгое время.

Светлым пятном в истории Академии являются знаменитые экспедиции некоторых ее членов в России. В уставе Академии 1803 года они признаются «подвигом», доказывающим деятельность Академии «на пользу науки и России». Авторам устава хотелось ви-

1) М. Н. Коваленский. Русский ученый XVIII века.

1) М. Н. Коваленский — русский ученый XVIII века.

деть в этих экспедициях «соединение многих ученых, которые обратили свою деятельность к единой цели», но вряд ли это было в действительности, ибо Академия не разрабатывала программ экспедиций, не занималась коллективной проработкой огромного материала, собранного отдельными ее членами, и даже не сумела удержать у себя этот материал, поскольку часть его была вовсе вывезена за границу.

При Александре I на посту президента воцарился «либеральный» граф Уваров, который, сделавшись в 1832 году товарищем министра народного просвещения, позабыл свое первоначальное утверждение о том, что «свобода есть лучший дар бога», и начал мытьем и катаньем доказывать и проводить в жизнь принцип, по которому «правильное образование» должно опираться на «истинно-русские охранительные начала православия, самодержавия и народности, составляющие последний якорь нашего спасения», почему «в нынешнем положении вещей и умов нельзя не умножать, где только можно, уметвенных плотин» (Барсуков. «Жизнь и труды М. П. Погодина», т. IV, стр. 82—85).

Вслед за Уваровым кресло президента занял граф Блудов, зарекомендовавший себя в глазах Николая I секретарем следственной комиссии по делу декабристов.

«Наука бледнела и пряталась, невежество возводилось в систему». Атмосфера дворцовой передней и министерской приемной пропитывала насквозь весь строй академической жизни XIX века. Разница заключалась лишь в том, что от культивирования академических трудов по воспеванию екатерининских иллюминаций и ее фаворитов в эпоху Николая I и Александра II Академию начали полегоньку приспосабливать к делу искоренения «среднего направления», а воспитанный Пушкиным «князь Дундук», вице-президент Академии, был даже назначен председателем цензурного комитета.

Характерен дневник ак. Никитенко, который записывал в него свои впечатления о заседаниях 2-го Отделения; в этом дневнике, часто ограничиваясь

лаконической записью: «ничего», он считает достойным внимания отметить, кто из академиков поругался и повздорил друг с другом; ссоры происходили обычно между сторонниками русской и немецкой «партий» за вакантное академическое кресло, за то, что иные «ненавидят других за то, что эти другие лучше поставлены при дворе или раньше их получили владимирскую звезду». Шум академических битв выходил иногда за стены Академии, и общество с изумлением наблюдало тогда «ученую жизнь» «первенствующего» в стране ученого сословия.

Общественно-политическая физиономия Академии никого не вводила в заблуждение. Избиение полицией студентов в 1901 году и сдача их в солдаты побудили ак. Фаминцина внести в Академию предложение об исключении из числа ее членов ак. Сонины, являвшегося одним из вдохновителей этой расправы и репрессивной политики министерства народного просвещения вообще. Его предложение не нашло никакого отклика среди академиков.

Зато, когда в 1902 году Академия «вспомнила» о необходимости почтить своим избранием М. Горького, что не замедлило вызвать ядовитые замечания в «Гражданине» Мещерского и наложеною по этому поводу резолюцию Николая II: «Более, чем оригинально!», Академия всполошилась и, объявив произведенные уже выборы недействительными, не нашла ничего более остроумного, как просить Таврического губернатора отобрать у Горького извещение об его избрании.

Общественную оценку такому своему поведению Академия получила от Чехова и Короленки, обратившихся к ней с соответствующим письмом и отказавшихся после этого «академического инцидента» от звания академиком; другие члены Академии не сочли даже нужным реагировать на это происшествие, и к общему удовлетворению дело признано было исчерпанным.

Когда на революционный подьем 1905 года реакция на ряду с правительственным террором ответила формированием черносотенных дружин, в

состав главного совета пресловутого союза русского народа вошел лишь недавно умерший академик Соболевский.

Совмещать свою новую политическую должность с преподаванием в университете ак. Соболевскому тогда не удалось, но в Академии его покоя никто не нарушил. Академия нейтрально отнеслась к тому, что имя одного из ее сочленов фигурировало на ряду с именами профессиональных погромщиков и черносотенцев.

При таких настроениях Академии понятно, что она с особенным жаром подхватила в 1914 году лозунг войны «до победного конца». Избранием в число своих почетных членов великого князя Николая Николаевича, Академия лишней раз подтвердила, что она по праву и заслугам носила титул Императорской Академии. Что же касается общественного мнения, то оно, выражаясь словами М. Лемке, полагало, что Академия, «следуя старой традиции, считает за настоящую и единственно ей присущую науку — семнадцатую пуговицу сто сорок девятого кафтана Ивана Калиты»...

«Разве революция... — восклицал Лемке, — заставит взяться за науку на пользу сегодняшнего дня страны... Наука — это что-то мертвое, холодное, бесстрастное, далекое, что-то уже не человеческое, что-то лишнее любви к человеку, что-то за пределами его горячечных исканий, что-то недоступно важное... А кое-кого из академиков надо бы помелом, а значительную часть других посадить за живую научную работу, подсыпав им перцу и жизни. Романовы сознательно сторонятся науки, боясь ее разрушающего начала, а народ ведь потребует ее на свой суд и скажет: «Кто дал вам право заниматься пуговицами... Потрудитесь-ка нарушить свой жреческий покой и взяться за дело...» (М. Лемке. «250 дней в царской ставке» Стр. 644).

Похвалы «августейшему президенту» Константину Константиновичу не могли поколебать этого мнения.

Попытка извинить и оправдать такое положение своеобразной теорией неизбежного отставания всякой Академии от жизни никого не убедила. Когда в отчете Академии утверждалось (см. отчет за 1905 год), что, «если Академия Наук хочет оставаться на высоте своей задачи, она может только до известной степени откликаться

на изменение условий», — то это утверждение лишь констатировало реакционность Академии.

Февральская революция, которую Академия в значительной части своего состава встретила с отчаянием и оппозиционно, принесла для нее с собой избрание «по духу времени» новых, на сей раз уже «революционных» членов... типа П. Б. Струве и др., ориентировавшихся в своей политической позиции на левее правых кадетов. Академия, как мы видим, тоже не хотела «отставать от жизни».

Началась возня с привлечением ее к обсуждению разных проектов преобразования отдельных научных учреждений и высших учебных заведений. Из этой возни почти ничего реального не вышло, но надуманный предлог и некоторая формальная почва для возможного признания за Академией будущего ее значения, как организующего научного центра, если не всей страны, то хоть Петрограда, остались; мысль об этом культивировалась самой Академией и в известной мере условно продолжала сохраняться кое-где до самого последнего времени.

Легко можно себе представить, как приняла Академия Октябрь.

29 декабря 1917 года непрременный секретарь Академии в отчете о деятельности Академии за 1917 год говорил в годовом публичном заседании Академии следующее:

«Было бы малодушием не смотреть правде прямо в глаза и не признать теперь, что русский народ не выдержал великого исторического испытания и не устоял в великой мировой борьбе: темные невежественные массы поддались обманчивому соблазну легкомысленных и преступных обещаний, и Россия стала на край гибели» (см. отчет Академии Наук за 1917 г.).

То «лучшее», на что Академия того времени была способна в своем официальном отношении к революции, было выражено ею в том же цитируемом нами отчете, где сказано:

«Наука, как и искусство, тем особенно важна и ценна в наши смутные и грозные дни, что она стоит выше над всякой классовой или партийной борьбой, ибо наука одна для всех, и в своем неустанном искании истины она домогается этой истины»

для всего человечества и для каждого человека, кто бы ни был этот человек.

Наука, которую в России сперва двигали почти одни иностранцы, нарочито до того вызванные, перешла постепенно в руки русских ученых и при этом приобрела... ту особую черту... которую может быть правильнее всего было бы назвать служением идеалу человечества».

И далее, упоминая о работе академической комиссии по изучению естественных производительных сил, в том же отчете выражается мысль о необходимости еще большего усиления работы этой комиссии, несмотря на переживаемые тяжелые времена, в виду тех перспектив, которые открываются в дальнейшем при «соответствующем» изменении внутренних и внешних условий страны. Понятно, что речь шла о «надклассовой» и «внепартийной» подготовке научного материала по изучению производительных сил страны в интересах грядущей на смену Октябрю хозяйственной экспансии реставрированного капитализма.

«Оставляя в стороне указания на работы комиссии на дело обороны, которые теперь уже, очевидно, отошли в область истории и не будут, конечно, забыты теми, кому еще дорога честь России»,

отчет упоминает также о работе комиссии по изучению племенного состава, ссылаясь на то, что,

«когда в конце прошлой зимы и весной, казалось, были основания думать о близком конце мировой войны, естественно возникли предположения о необходимости иметь надежные материалы для возможных переговоров о границах страны...»

Поскольку надежды на окончание войны были связаны с лозунгом войны «до победного конца», ясно, какие интересы преследовала и эта комиссия. Так своеобразно с нашей точки зрения преломлялось в сознании Академии понятие о служении «идеалу человечества».

Отчет заканчивается выражением уверенности, что Россия

«победит все злое в себе и зажжет не факел предательства и разрушения, как теперь, а светоч истинного обновления себя и всего человечества».

Неделя шла за неделей, месяц за месяцем, большевики почему-то не хотели «уходить» и, как это было ни странно, с ними пришлось разговаривать.

С самого начала 1918 г. вскоре после Октябрьской революции... на соответствующий запрос народного комиссара по просвещению А. В. Луначарского Академия Наук ответила:

«Академия полагает, что значительная часть задач ставится самой жизнью, и Академия всегда готова, по требованию жизни и государства, приняться за посильную научную и теоретическую разработку отдельных задач, выдвигаемых нуждами государственного строительства, являясь при этом организующим и привлекающим ученые силы страны центром...»

«Это заявление явилось своего рода программой всей дальнейшей работы Академии» — так характеризовала Академия Наук свое изменившееся отношение к пролетарской революции. («Академия Наук СССР за десять лет 1917—1927 г.». Изд. Академии Наук. Ленинград, 1927 г.).

Декларируя свою готовность принять «посильное» участие в строительстве рабоче-крестьянской власти, Академия расписывалась в полной ликвидации своего реакционного прошлого. Дальнейшее показало, что вексель оказался неплатежеспособным, и его пришлось опротестовывать.

В условиях блокады и гражданской войны советская власть делала все от нее зависящее, чтобы сохранить живую научную силу и поддержать работу научных учреждений. Уже в 1920 г., как мы узнаем из отчета Академии, советские органы и правительство оказывали ей в этом отношении энергичное содействие.

В последующих отчетах все чаще и чаще начинают освещаться те возможности научной работы и конкретные ее результаты, какие, оказывается, благодаря вниманию и помощи советской власти были возможны даже в осажденной стране, какою была советская Россия.

С другой стороны, в них начинает просачиваться и «февральская» мысль о возможном призвании Академии — служить собирательницей и патроном русской науки.

В составе Академии, несмотря на тяжелое время, организуются новые институты: физико-математический, радиевый и яфетидологических язы-

с аний; начинает восстанавливаться научное издательство; постепенно налаживаются прерванные войною международные научные связи; снова посылаются научно-исследовательские экспедиции и т. д.

На ряду с этим она уже открыто заявляет, что «у нас еще никакой настоящей организации научно-исследовательской работы нет» и что... «одна Академия Наук пытается в некоторой степени создавать такую организацию» (стр. 14 отчета А. Н. за 1921 г.).

В 1922 отчетном году мы слышим:

«не пора ли прислушаться к громкому голосу жизни, которая говорит теперь не размеренной речью эволюции, а гудит набатным колоколом революции».

К этому времени официальное политическое кредо Академии, как мы видим уже, претерпело значительные изменения. Академия увидела, по крайней мере в лице своих официальных представителей, что жизнь действительно не ждет и вместе с «темными невежественными массами, поддавшись обманчивому соблазну легкомысленных и преступных обещаний», идет вперед и даже, более того, проходит мимо нее, при чем «первенствующее ученое сословие» рискует остаться в стороне и забытым, поскольку на смену ему уже пробиваются новые могучие побег, и место его начинает оспариваться рядом других институтов.

Академия... решила «пойти в Каносу», что вызвало в определенной части ее членов припадок бешенства и дикую ругань по адресу тех, которые, дескать, «пошли на поклон в Золотую Орду».

Правительство образовало под председательством А. И. Рыкова «Особый временный комитет науки», который поставил себе целью «рассмотрение вопросов и принятие мер, обеспечивающих интересы науки в республике». Комитет правильно решил рассматривать «лишь те вопросы этого порядка, которые имеют общее значение для постановки и развития всего научно-учебного дела в целом», при чем он «ставил также себе целью установление более тесной связи между наукой и производственной жизнью республики, чем

та, которая существовала до последнего времени».

Деятельность комитета не могла широко развернуться, очевидно, потому, что в нем сотрудничали от имени научных сил всей страны не настоящие представители советской научной общности, а лишь пара академиков, не являвшихся выразителями действительных нужд даже самой Академии. Во второй половине 1924 г. комитет прекратил свою деятельность, не сделав того, на что при другом положении он был бы способен.

В отчете Академии за 1923 г. в связи со смертью Владимира Ильича упоминается о том, как этот

«большой человек, которому и научная работа в России и Академии многим обязаны... с присущей ему энергией и отзывчивостью привнес личное участие в тех мерах, которые были срочно намечены правительством, и постоянно, с неослабным вниманием среди громадных своих работ... сознательно уделял время заботам о науке, твердо веря в ее громадное значение для жизни».

2 февраля 1924 года Академия услышала в официальной речи своего непремненного секретаря:

«... Академия решила, что сейчас не время останавливаться долго на воспоминаниях... При вступлении в третье столетие своего существования Академия живет интенсивной научной жизнью; чтобы человек мог развиваться так, как он должен развиваться, необходимо, чтобы материальные условия его жизни зависели от него, а не он от них, и чтобы это относилось не к небольшому привилегированному меньшинству, а ко всему человечеству. Вот почему наука, разрабатывая вопросы чистого знания, в которых лежит корень творчества, употребляет все доступные ей средства, чтобы все время работать в жизни, в тесном общении с ее запросами».

Эти слова не претворились в живое дело.

Академия Наук не являлась рупором всей массы научных работников страны. Представлявшие Академию ее официальные лица, независимо от своих субъективных намерений или желаний, не являлись даже выразителями подлинных настроений Академии.

200-летний юбилей Академии был отпразднован всем Советским Союзом, как праздник науки. В июле 1925 года постановлением ЦИК и СНК СССР Ака-

демия Наук была объявлена Высшим всесоюзным ученым учреждением, состоящим при СНК СССР. Первое в мире пролетарское государство и коммунистическая партия приветствовали юбилей Академии, пользуясь случаем продемонстрировать на глазах всего мира свое убеждение в том, что строительство социализма должно происходить на основе теснейшей связи науки с раскрепощенным трудом, на фундаменте научного знания и его революционного претворения в жизнь.

Советская страна, лишь начинавшая восстанавливать хозяйство и залечивать нанесенные ей гражданской войной и блокадой раны, нашла и материальные средства для реального расширения научной работы в стране и в частности самой Академии. В 1927 году она имела, например, в своем составе уже 1.018 штатных работников, из которых 683 человека — научного персонала, т.е. значительно больше, чем в дореволюционное время. Число проведенных ею с 1917 г. экспедиций равнялось 280. С 1917 г. в составе Академии было заново создано и реорганизовано свыше двух десятков институтов. За десять лет фонды академической библиотеки увеличились на 800.000 библиотечных единиц при неизменной тенденции к дальнейшему росту. Десятки тысяч томов поступали в Академию в порядке книгообмена не более чем 500 научных учреждений заграницы или отправлялись им самой Академией. Издательство Академии, сократившееся во время империалистической войны до 609 печатных листов в 1917 г., в 1926 г. достигает 1.200 листов и т. д.

Вплоть до последнего времени материальное положение Академии неизменно продолжало улучшаться. Достаточно упомянуть, что бюджет Академии на текущий 1929—30 год доходит до 5 млн. рублей, не считая специальных поступлений в размере около 2 млн. рублей.

Все это представляло собой одну сторону дела. Другая же заключалась в том, что

долгого существования мало меняла основы своей структуры. И устав 1836 г., по которому Академия Наук жила до последнего времени (1), и предыдущий ее устав 1803 г. сравнительно мало разнятся один от другого, и ими лишь узаконялось то положение вещей, которое фактически существовало с самого основания Академии Петром I в 1724/25 г. (см. «Академия Наук СССР за 10 лет 1917—1927 г.» Изд. АН 1927 г., стр. 1).

К моменту введения нового устава Академии в 1927 году прошло уже 10 лет с начала Октябрьской революции. Годы шли; в специальных отчетах Академии, в традиционных годичных речах помещались декларации на тему о роли Академии в советском культурном строительстве, повторялись общие рассуждения о соотношении «чистой» и «прикладной» науки, перечислялись старые научные заслуги Академии и т. п.

А между тем ряд тревожных симптомов неблагоприятного положения в Академии все чаще сигнализировал о том, что декларации противоречат фактической стороне дела и резко расходятся с внутренним бытием Академии.

Утвержденный СНК новый устав Академии лишь в незначительной мере отразил эту тревогу. По этому уставу увеличивалось число вице-президентов Академии до двух; ликвидировалась организационная самостоятельность ее II отделения, почти сплошь состоявшего из т. н. даже в академической среде «зубров» — духовных наследников потевшего над святцами контр-адмирала Шишкова ¹⁾, с целью освежения «отделения гуманитарных наук», в него были введены новые кафедры по социально-экономическим наукам и философии; к избранию новых академиков привлекалось внимание научной общественности и т. д. Но вместе с тем устав окончательно присвоил Академии название «высшего ученого учреждения Союза», хотя сама природа научного исследования как-будто принципиально исключает возможность подобного иерархического наименования научных учреждений; он дал ей право «состоять» непосредственно при СНК и ряд «осо-

¹⁾ В. некогда президента Российской Академии, расформированной Николаем I и преобразованной во II отделение Академии Наук.

«Академия Наук, отпраздновавшая в 1925 г. свой двухсотлетний юбилей, за время своего

ных прав», т. е. узаконил для Академии такое совершенно исключительное положение в общей системе научных учреждений страны, которого она никогда не имела, начиная с петровских времен вплоть до советской власти.

Академия Наук, не погасившая еще выданного ею первого векселя, получила тем самым не только пролонгацию, но и дальнейшее увеличение кредита «на веру».

Что же заставляло советскую общественность насторожиться по отношению к Академии? Ведь деклараций с изъяснением чувств со стороны некоторых официальных ее представителей было более чем достаточно.

Если в отношении научной работы I отделения Академии Наук (физико-математическое) можно лишь было пожелать, чтобы оно интенсивнее развивало свою деятельность, тоже нуждающуюся, впрочем, в большей организованности и целеустремленности, — то в отношении II отделения (гуманитарных наук) этого сказать было нельзя. Здесь дело обстояло несравнимо хуже. Еще в первые пореволюционные годы деятельность акад. Истрина, черносотенца и псевдо-научного работника, привела к тому, что руководимое им и упраздненное затем, как указано выше, II отделение спасти уже было нельзя. Даже академик Соболевский, говоря об этом отделении, к которому он сам принадлежал, выражался в том смысле и стиле, что оно загажено до невозможности. Под руководством ак. Истрина это отделение не разрешило ни одной из задач, диктуемых ему историческим моментом; даже в выпуске классиков оно не в состоянии было принять какое-либо участие, но зато оно приютило так называемую Славянскую комиссию, возрожденную из б. Петроградского Славянского общества, содержало комиссию по якобы научному изданию славянской библии и т. д. Эти и подобные им комиссии представляли собой в руках Истриных пережитки ура-патриотического и клерикального направлений. На содержание их тратились советские средства, этой работе служили какие-то люди, кото-

рые почему-то считались «служащими» советской страны и т. д.

В III отделении Академии заседало преимущественно несколько ориенталистов-филологов, действительная ценность научной работы которых не может оспариваться, но работа которых не была увязана с изучением современных актуальных проблем Востока.

На ряду с существованием комиссии по изучению производительных сил (ИПС) и комиссии по изучению племенного состава (КИПС) в Академии существовала комиссия по изучению союзных и автономных республик (ОКИСАР), занимавшаяся тем же, что и первые две комиссии. Кроме того, была организована еще одна, просто комиссия экспедиционных исследований, а спустя 4 года после основания Полярной комиссии, в 1918 г., в Академии, как бы для шутки, образуется новая комиссия... по изучению тропических стран. Некоторые ответственные работники Академии умудрялись занимать по совместительству более двадцати должностей, что, разумеется, не могло не отражаться на их основной организационно-научной работе.

«Внешние» сношения Академии поддерживались через 1—2 академиков, представлявших официальное лицо Академии, которое было прикрыто густой советской вуалью, но как оно выглядит на самом деле, в натуральном, так сказать, виде — было неясно.

Дешевое остроумие некоего академика и симпатизировавших ему ученых коллег, издававшихся над яфетидологической теорией и упражнявшихся в антисемитских анекдотах на тему о «госнации» и проч., пользовалось у определенной группы внутри Академии изрядным успехом, которому могли бы позавидовать в свое время охотничьи приказчики.

От эмигрировавших за границу своих членов Академия не отмежеввалась, несмотря на неоднократные возмущенные отзывы на страницах советской печати. Выступления политических эмигрантов, бывших сотрудников царской Академии, их нападки на советский строй и науку встречали со стороны гробовое молчание. Но официаль-

ные представители Академии продолжали утверждать, что «их» Академия является, дескать, храмом науки, высоко авторитетной представительницей научного и только научного знания, что, приняв революцию, Академия сразу же начала сотрудничать с советской властью, что она охраняет уважение к науке в среде, впервые призванной революцией к государственной жизни, что, откуда бы критика ни исходила, Академия может спокойно ее выслушивать и, мало того, предупреждает об ошибочности и безрезультатности попыток советской общественности добиться резкого сдвига ее работы через какую-то новую организацию или путем искусственного внедрения в Академию каких-то новых форм и т. д., и т. п. Такие объяснения сопровождались обычными просьбами уделять Академии больше внимания, но такого, которое в конечном счете связывалось с дополнительными денежными ассигнованиями или с требованием о зажиме критического отношения к состоянию и работе Академии со стороны советской общественности.

Последняя прекрасно понимала, что научное творчество отдельных академиков, независимо от реакционности их политических взглядов, настолько ценно, что его нужно всемерно поддерживать и развивать всеми доступными способами, в том числе и путем сохранения самой Академии. Не вызывал у нее сомнений также и тот очевидный факт, что масса накопленного Академией веками сырого научного материала представляет собой богатейший вклад в общечеловеческую сокровищницу знаний, вклад, который в известной части может быть использован и для нужд социалистического строительства. Из этого сознания и вытекало бережное отношение к Академии, несмотря на все ее отрицательные стороны.

Ленин допускал мысль, что специалисты науки придут к коммунизму по своему, через свою науку, подразумевая под этим сложный процесс, который привел в нашу партию таких ученых, как Тимирязев, или с железной последовательностью принуждает ге-

ниального физиолога Павлова, безнадежно застывшего в своем общественно-политическом развитии на уровне дофевральской эпохи, творить научное дело, способствующее раскрепощению человеческой мысли от идеалистических пут и помогающее тем самым нашему делу, нашей победе. Но ни для кого не являлось секретом, что в среде Академии имеется не только политически, но и научно-заглый, реакционный элемент, доживающий последние годы; все знали, что в дореволюционное время этот элемент играл в Академии руководящую роль и приспособлялся к интересам дворянско-помещичьего буржуазного строя; никто не рассчитывал наивно на возможность идеологического перевоспитания этих людей. К прозябанию их в псевдо-научной работе, к шипенью и судачению их за «чашкой чая» было брезгливо-терпимое отношение, поскольку не было речи об их активной борьбе против пролетарского государства. Мимо этих людей проходили, как проходят мимо свалки жалких обломков прошлого, которые не грозят настоящему и не мешают новой постройке. Даже тогда, когда эти люди, раздраемые личными мелкими дрягмами и объединенные лишь одной зоологической ненавистью к советской работе и советскому быту, подали признаки жизни, пытались лягнуть советскую общественность забаллотированием ее кандидатов, этот хилый и жалкий удар вызвал не столько возмущение, сколько удивление. Однако, попытка лягнуть показала, что этот элемент живуч и что его настроения сохранились во всей своей неприглядной свежести. Инцидент с забаллотированием в академики некоторых кандидатов только по той причине, что они, независимо от признанной за ними научной эрудиции, были кандидатами именно советской общественности, что они марксисты, заставил вспомнить об академическом прошлом.

Это сравнительно недавнее прошлое, когда Академия удостаивала своим избранием кучу царей, королей, светских и духовных сановников, выбирала в число своих членов таких «носителей

чистой науки», как Победоносцев, великих князей Николая Николаевича и Сергея Александровича, митрополита Антония и др., вводила к себе богато представленные целой плеядой представителей поповщины «научные» кафедры по изучению священного писания, церковной истории (в кликальничем ее освещении), избирала в состав своих членов магистров «чистой» науки в роде проф. Казанской духовной академии Знаменского, заслуженного профессора Московской духовной академии Контарова, проф. СПб духовной академии Евсеева, проф. Петроградской духовной академии Жуковича, проф. Киевской духовной академии Петрова и многих других, — было свежо еще в памяти.

Примеры с избранием «либерального» Струве, исключением Горького, позорным изгнанием избранного самой Академией Столетова («позорно—для академиком, а не для него» — по свидетельству Тимирязева) и т. п., также не были забыты, хотя о них и старались не вспоминать.

Когда Куролентко повторно отклонил уже послефевральское (1917) приглашение Академии явиться на ее заседание, разъяснив, что его демонстративный уход относился не столько к царю, сколько к самой Академии, когда характеристика Академии в целом в устах Тимирязева сводилась к тому, что «Академия, не имевшая в своих рядах ни Менделеева, ни Целковского, ни Сеченова, ни Столетова, ни Лебедева, а еще недавно расставшаяся с Федоровым, такая Академия все равно что не существует для русского народа» («Наука и демократия» изд. «Прибой» стр. 407), — Академия безмолствовала, как она безмолствовала в свое время по поводу «ругательства» Московского университета, оспаривавшего еще в 1865 году присвоенное ей звание «первенствующего ученого сословия». Все эти факты и штришки, — а их можно было бы продолжить до бесконечности, — решительно опровергали декламацию о том, что Академия в целом стоит на недостижимой высоте, выражая и отражая лишь одно объективное, чистое знание, что она ничего не смыслит в

классовой борьбе, витая где-то в выси, вне классов, вне политических интересов и связанной с ними борьбы. Подобные утверждения и сами по себе не являлись убедительными, но в свете бывшего Академии они заставляли советскую общественность насторожиться по отношению к Иванам, не помнящим родства, и побуждали ее как следует присмотреться к истой физиономии и к настоящему бытию «своей» Академии.

Как-то, в ответ на упреки эмигрантской и буржуазной прессы по адресу Академии, которая в советских условиях, дескать, «изменила свой характер свободного научного учреждения» («Последние Новости» № 1588 от 28/VI—25 г.), один из академиком, находившийся в то время за границей, счел своим долгом «заступиться» за Академию и в открытом письме разъяснил, что «Академия верна своим старым принципам... пользуется прежней автономией» и что декларативные густо советские выступления некоторых ее руководителей «составляют их личное дело и не могут быть поставлены на Академии».

Три года спустя, во время выборов новых академиком, из которых, к слову сказать, на 43 вакантных кафедры было избрано более 30 ее старых членом-корреспондентов, «Руль» констатировал:

«Долгие годы некоторые академики спасали Российскую Академию. До известной степени они ее и спасли: Красная армия не вытеснила старой, настоящей (подчеркнуто мною—С. В.), хотя и переименованной свое название; Академия сохранила возможности и получила деньги на производство различных научных работ и печатание трудов; в общей разрухе академики не погибли в самые тяжкие годы. Академия была спасена, какой ценой—не будем спрашивать, не будем вспоминать различных заявлений некоторых ее ответственных лиц. Она выдержала десять лет».

Ильич учил нас прислушиваться к голосу классового врага. В данном случае «правда» врага имела, разумеется, условный характер. Вопрос заключался не в том, что советская общественность своевременно не разглядела лица за густою советской вуалью, а в том, чтобы с наименьшей затратой сил и энергии, без особенной ломки попытаться

изменить Академию так, чтобы работа ее, подобно работе всего коллектива научных работников советской страны, не на словах, а на деле

«во многом преобразованная и дополненная, полной широкой струей влилась в социалистическое строительство Советского Союза» (см. отчет Академии за 1928 г.).

В этом же отчете Академии мы читаем:

«За последнее время на Академию обращено весьма большое и очень часто, к сожалению, мало доброжелательное внимание нашей широкой общественности. Мы не можем не признать, что в этой общественной критике немало и правильного, но вместе с тем мы имеем полное право сказать, что в ней много и неверного, основанного на недостаточном знании нашей работы».

Таким образом, если в 1927 г. Академия пыталась утверждать, что «она спокойно может выслушивать критику, от кого бы она не исходила», то уже год спустя она сама вынуждена была признать, «что в этой общественной критике немало и правильного».

Поскольку указанное признание Академии, пусть неполное и с оговорками, свершилось, можно было рассчитывать на то, что она сама сделает из него необходимые выводы. Дальнейшее не подтвердило, однако, и этих ожиданий. Стало ясно, что без вмешательства «со стороны» это признание останется на бумаге и к длинному ряду бесплодных деклараций прибавится еще одна лишняя.

Дальше медлить стало невозможно. Попрежнему «доброжелательно» отмахиваться от вопроса об Академии было бы ошибкой. Вопрос об Академии являлся не только академическим вопросом и потому настоятельно требовал своего разрешения.

Начавшаяся в августе 1929 года проверка аппарата Академии Наук закончилась сравнительно недавно. Судя по сообщениям в печати, она из проверки превратилась в настоящую чистку. А чистить в Академии, очевидно, было кого.

Уже после первого информационного доклада о задачах комиссии РКИ, «средняя» научная прослойка Академии заявила, что работа комиссии чрезвычайно своевременна. Научные

сотрудники Академии говорили о том, что в стенах Академии имеется ряд лиц, не соответствующих по своей квалификации занимаемой должности; что многие штатные работники, мягко выражаясь, перегружены работой в других учреждениях и мало уделяют внимания работе самой Академии; что они занимают, однако, штатные должности и не дают возможности заменить их другими работниками; ими отмечалось, что каждое учреждение знает про эти недостатки, болеет за них, но не решается и бессильно исправить их самостоятельно; они заявили, что в результате работы комиссии, которую «приветствуют все честные работники... жертвы будут, конечно, но они будут на пользу общему делу», и отмечали необходимость устранения организационных неувязок в самой структуре и системе работы Академии.

По мере развертывания работы комиссии вся здоровая, советски настроенная часть научных работников Академии, приняла в ней активное участие. Научный работник «средняк» оказал большую помощь этой работе. Организационно оформившись в локальное бюро секции научных работников при Академии Наук, этот «средняк» активно помогал комиссии своей научной консультацией и общественной поддержкой. Первые результаты работы комиссии оправдали наихудшие опасения. В рядах научных сотрудников Академии оказались лица, не имеющие никакой научной квалификации, но обладавшие в бывшем громкими придворными и царскими чиновничьими титулами. Здесь можно было встретить бывших камергеров и статс-дам, камерюнкеров и фрейлин, полицейских и жандармов, губернаторов и шпионов, дьяков, иереев и т. п.

Ученый секретарь мировой по своему значению библиотеки Академии Наук не был знаком ни с одним произведением Ленина и Плеханова. О Марксе он, оказывается, слышал только, что им написан какой-то «Капитал».

Проверка аппарата выявила, что наибольшее количество этих quasi-научных работников было принято в Академию в период 1924—1927 гг., т. е. в те годы,

когда праздновался ее юбилей и когда Академии был оказан советской властью и всей советской страной максимум внимания и доверия, когда вслед за 1917 годом ей снова был оказан громадный кредит «на веру».

Мало того, — на ряде примеров комиссией было выявлено, что Академия играла роль своеобразного приюта для антисоветского элемента. Один из вычищенных сотрудников так и сказал, что он «приютился» в Академии.

На ряду с этим молодые научные работники, в частности, окончившие советские вузы, использовались для технической работы. О выдвижении их не было и речи. Общественной инициативе научных сотрудников Академии ставились препоны. Средний научный работник был в положении своеобразного «лишенца». На его плечах лежала огромная часть научной работы всех академических учреждений, но он был бесправен, он не мог влиять на работу этих учреждений, с ним не считались и т. д.

Научный секретариат Академии, который по идее должен был увязывать всю научно-исследовательскую работу Академии, на самом деле представлял собой технический аппарат с канцелярскими функциями.

Единого, сводного плана работы академических учреждений не оказалось. Зато адм.-хоз. аппарат проводил в своей деятельности такую жесткую централизацию, что по свидетельству научных работников для починки форточки в каком-либо учреждении нужно было пройти целую бюрократическую иерархию, при чем на заседаниях президиума Академии заслушивались также вопросы, которые в любом советском учреждении разрешаются указанным завхоза.

Подготовка научной смены была поставлена плохо. Классово-социальный состав «практикантов» (аспирантов) Академии, знакомый советской ответственности по своему демонстративному отказу включить марксистский минимум в план научной работы, оказался беспомощен и с точки зрения общей научной подготовки.

«Продолжение традиций учреждения», позволившее академическим «практикантам» демонстративно пренебречь изучением общественно-политических дисциплин на двенадцатом году пролетарской революции, являлось лишней иллюстрацией к характеристике настоящего положения Академии. Этот политический выпад представлял собой очередную вылазку классового врага, жалкую в своей потуге, но симптоматичную, как отражение господствовавшей в Академии Наук политической атмосферы.

Больше ста сотрудников было удалено из Академии постановлением комиссии РКИ, как негодный антисоветский, антиобщественный, неценный для научной работы элемент, «приютившийся» в стенах Академии.

Более 150 сотрудников, числившихся в Академии «по совместительству», были освобождены комиссией от «работы», заключающейся в аккуратном получении заработной платы неизвестно за какие труды и по каким основаниям.

В июле 1927 года, когда в «Ленинградской Правде» (от 15 мая, № 109) была помещена заметка «Академический Ковчег», в которой указывалось, что в аппарате Академии имеется много «бывших людей», что в нем процветает кумовство и проч., Академия Наук в лице своих ответственных администраторов отписывалась, что «на Шипке все спокойно», а изложенное в заметке является выдумкой газетчиков. Два года прошло после этих отписок. Времени для того, чтобы проверить свои утверждения, у работников Академии хватало. Но проверкой занялись не они, а комиссия РКИ. И когда комиссия вскрыла эти провалы, руководители Академии ограничились очередной декларацией, констатируя факты, не смея против них возражать, но и не сознаваясь в своей вине.

«Сегодня пройден первый этап на очень трудном пути, и сама комиссия и все вы хорошо отдаете себе отчет в том, как трудна, тяжела и сложна была ее работа... Для того, чтобы мы могли соответствующим образом работать, комиссия была совершенно необходима... Каждый чувствует ту серьезность и внимательность, с которой комиссия относилась к своим обязанностям... Это, я думаю, надо понять и почувствовать каждо-

му, потому, что, конечно, трудно будет многим после работы комиссии, как трудно было и раньше другим... Ничего настоящего и большого не строится без определенных жертв...

...Члены комиссии отнеслись с максимальным вниманием и беспристрастным желанием действительно помочь Академии Наук, и в данном случае мы можем быть только признательным за то глубокое внимательное и по настоящему советское отношение, которое всеми членами комиссии было проявлено. Я думаю, что все присутствующие академики присоединяются к этим словам.—

так резюмировал отношение ответственных руководителей Академии к результатам работы комиссии РКИ б. непреходящий секретарь Академии.

Чистка аппарата Академии самих академиков не коснулась, хотя среди них имелись и имеются люди, реакционность и научная затхлость которых не вызывает никаких сомнений. Даже в Пруссии в 1920 году был издан закон о предельном возрасте для лиц, состоящих на государственной службе. Действие этого закона было распространено также и на профессию высшей школы, пользовавшуюся, как и наши академики, фактической несменяемостью. Закон преследовал своей целью удаление реакционных элементов, при чем эта реформа о ф и ц и а л ь н о мотивировалась соображениями о необходимости дать дорогу молодым силам, приспособить государственный аппарат к новому строю и изменившимся общественным отношениям (H. Triepel, Das Preussische Gesetz über die Einführung einer Altergrenze. Archiv des öffentlichen Rechts).

Но советские органы к моменту чистки, очевидно, решили, что эту категорию должна почистить сама жизнь. Дальнейшее показало, что реакционные элементы Академии, несмотря на преклонный свой возраст и терпимое к ним отношение, не только реакционны за чаем «für sich», но и пытались занять активным политическим вредительством.

Уже в конце работы комиссии РКИ от сотрудников Академии Наук в нее поступили заявления, что в ряде академических учреждений хранятся до-

кументы, имеющие актуальное политическое значение. Выяснилось, что эти заявления отвечают действительности. В газетах было уже опубликовано известное сообщение о том, что в числе обнаруженных документов находились материалы кадетской, эсеровской и меньшевистской партий и т. п. Частично эти материалы использовались и разрабатывались, сдавались и пересылались лицами, имеющими отношение не столько к сомнительно «чистой науке», сколько, бесспорно, к чистой политике, и, разумеется, направленной отнюдь не на пользу советскому делу.

Настроения массы научных работников Академии были ярко отражены в их выступлениях на общем собрании сотрудников Академии, созванном по этому поводу.

Для нас недостаточно только отмежеваться от этого частного случая, мы должны отмежеваться от этих старых общих порядков, должны сказать, что мы, несмотря на то положение, в котором мы себя чувствуем, ежмися от ветра, мы хотим, чтобы Академия строилась не по-старому, а по-новому, хотим, чтобы у нее было не только прошлое, но и настоящее и будущее. Мы, работники Академии Наук, хотим принимать участие, быть ответственными за эту работу, хотим советскую науку строить по-новому, хотим идти вперед. Мы требуем, чтобы эти пути, эти каменные бастионы, в которых мы задыхаемся, эти бастионы не только каменные, но и его духа, мы требуем, чтобы все это было сметено, чтобы мы могли создавать советскую науку, как следует свободным, ответственным и полноправным работникам» (проф. Тав-Богораз).

«На призыв комиссии по проверке аппарата Академии Наук низовые работники откликнулись и честно выполняют свой долг. Но вместе с тем сотрудники Академии Наук просят через правительственную комиссию наказать тех работников, которые сознательно вредили делу рабочего класса. Такова наша просьба, таков наш наказ» (научный сотрудник Ильинский).

«Мы считаем, что виновны в том, что недостаточно развешивали самокритику, недостаточно выявляли все наши недочеты... Мы должны вступить на этот путь и уже частично вступили. Первые попытки самокритики встречаются иногда враждебно, но мы должны четко определить нашу классовую линию, должны потребовать и от правительства и от Академии Наук заняться этим подробно, создать такие условия, при которых повторения подобных случаев явятся немислимыми» (научный сотрудник Серебровский).

«Ответственность ложится не только на всю Академию в целом и на отдельные ее учреждения, но и на каждого из нас, особенно на научных работников. Мы не были бы, однако, научными сотрудниками, если бы не подошли к этому факту генетически, т. е. не нашли бы источника, которым он питается, а эти источники, как это ни странно, находятся в нас самих, в нашей идеологии. Мы постараемся уничтожить те элементы антиобщественные, благодаря которым могли возникнуть такие на первый взгляд неожиданные факты. Ближе к советской общественности, активная борьба с антиобщественными элементами, вперед к строительству социализма!» (научный сотрудник Ваптин-Джаган).

«Не являются ли эти факты своеобразным отражением той внутренней дезорганизации Академии Наук, которая выступила столь рельефно перед всеми нами уже при рассмотрении структуры, как общей—учреждений Академии Наук, так и отдельных ее музеев и институтов, комиссий и подкомиссий. Несомненно, что вопиющие факты, свидетелями которых мы теперь являемся, факты, ставшие известными ныне всей стране, вытекают из несоответствия всей структуры Академии Наук и всей ее деятельности требованиям современности. Надо углубить все те мероприятия, которые неотложно должны быть направлены к оздоровлению Академии Наук» (проф. Вишневецкий), и т. д., и т. п.

В настоящее время Академия Наук находится на перепутьи. Несмотря на все выявленные и, возможно, не выявленные еще отрицательные стороны Академии, быть может, ее удастся еще сохранить для советской научной работы.

Для этого, очевидно, необходимо пересмотреть структуру и устав Академии, ликвидировать те из ее учреждений, которые не имеют научной ценности, внести больше порядка и планового начала во всю академическую работу, пополнить ее состав советскими

научными силами и обеспечить права и влияния научного «средняка» Академии на всю ее жизнь и работу.

Резкий советский удар по любому вредителю, где бы и кто бы он ни был, поддержка и помощь честному труженнику науки, не за страх, а за совесть принимающему участие в нашей работе, — таковы пути, по которым происходит реальная смычка научной работы с общей борьбой за строительство социализма.

Академия Наук, при поддержке советской общественности и опираясь внутри на все здоровые свои элементы, надо надеяться, встанет на этот путь и заслужит название, оправдывающее ее принадлежность Союзу Советских Социалистических Республик.

Иначе Академия — советская лишь по названию — стране не нужна. Потемкинские декорации, так же как и советские оды и песнопения, нам не нужны. В напряженной суровой борьбе пролетариата, кто не находится на его стороне, тот переходит на сторону врага. На поучительном примере с Академией это правило оправдало себя еще раз.

Примечание. Статья была уже закончена набором, когда из доклада А. И. Рыкова 16/II т. г. на собрании инженерно-технических работников в Москве стало совершенно ясно, что таилось в недрах Академии Наук. «Аполитичность» под защитным покровом науки показала свой подлинный лик еще раз.

С. В.

4. КРАСНЫЙ ФЛАГ В ОКЕАНЕ 1)

К. Самойлов

22 ноября 1929 года. Сегодня мы уходим в заграничное плавание. Впервые большие корабли нашего Красного флота шонесут свои вымпелы далеко за

советские рубежи. На нас ложится ответственнейшая задача — пронести с честью флаг Советов вокруг всей Европы.

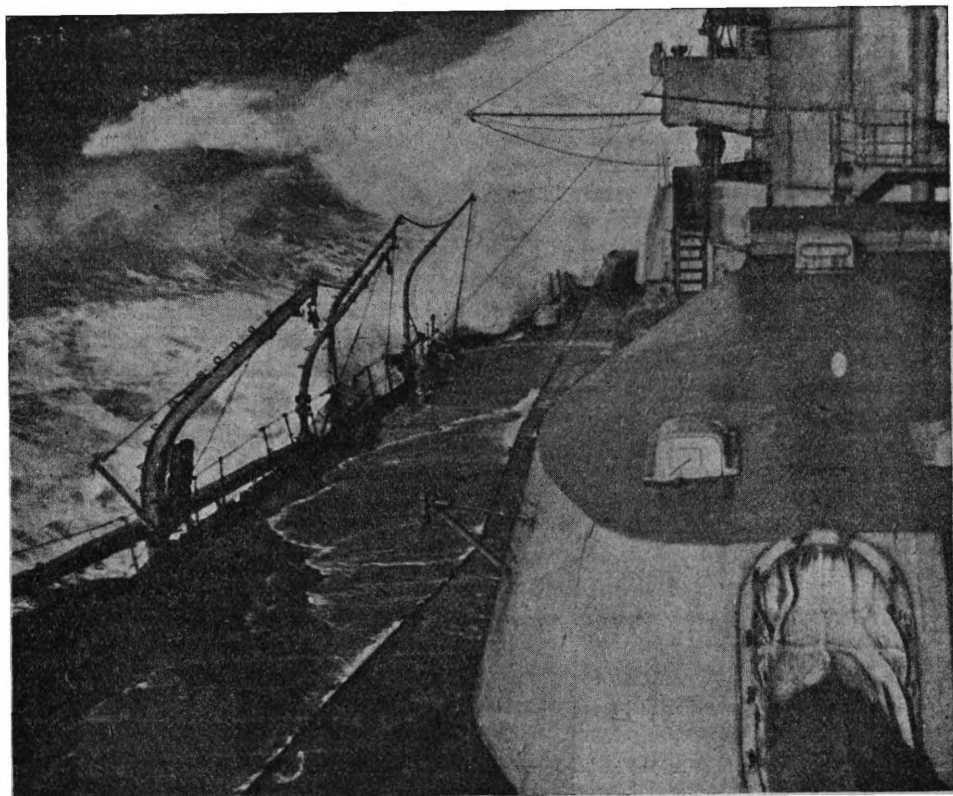
Последние приготовления, отрывистые слова команд, краткое прощаль-

1) Статья написана командиром линейного корабля «Парижская Коммуна».

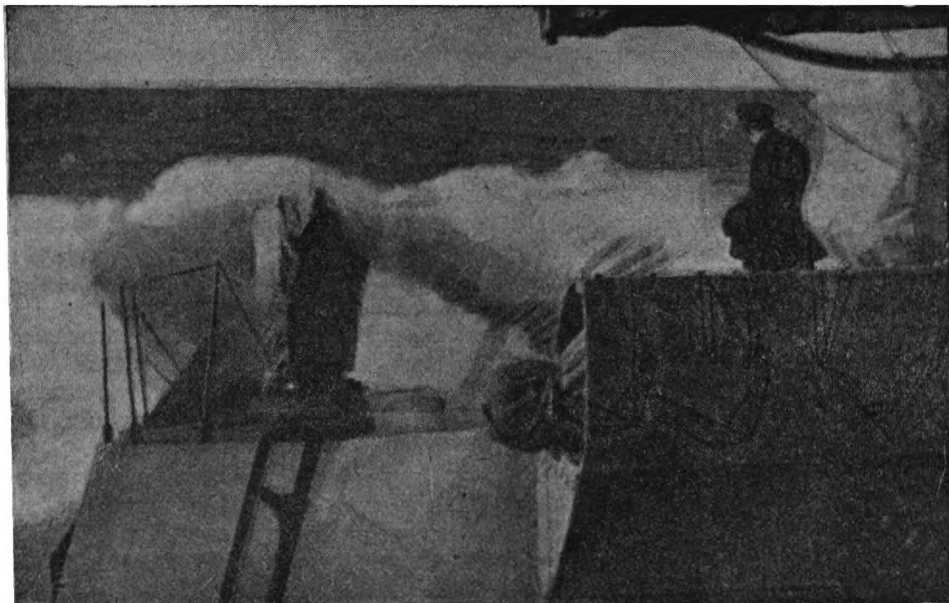
ное слово Наморси РККА т. Муклевица, быстрое, крепкое пожатие руки с пожеланием счастливого плавания. Тревожным металлическим звоном залились по кораблю колокола громкого боя, им мелодической серебрянсь трелью отозвались телефоны. Через минуту корабль уже преобразился и зажил своей боевой походной жизнью.

В 16 ч. 25 м. мы покинули Кронштадт. На ряях провожающих судов — яркие пятна сигнальных флагов, безмолвные для жителей земли и так много говорящие моряку. Они передавали нам прощальный привет. С провожающих миноносцев неслись раскатистые громы «ура». День быстро догорал. Далеко над Кронштадтом один за другим вспыхнули прожектора кораблей и крепости. Мы увеличили ход. Настроение у всех приподнятое. Кронштадт все дальше и дальше. Давно уже смолкли крики «ура», скрылись лучи прожекторов, жизнь вошла в обычную колею походного уклада, но

еще долго не ложились команда и состав спать, кто по обязанности, а кто от волнения. Пошли давно знакомые места... Сескар, Нерва, Тютерс, Гогланд... бесконечной лентой потянулись знакомые берега Финского залива и Балтики. До самой Арконы нас сопровождает свежий ветер, суровая, чисто осенняя балтийская погода с ее скверной видимостью и пустынное хмурое море. За Арконой погода немного исправилась, но не надолго, зато стало гораздо оживленнее море. Чаще стали попадаться «купцы», встречные парусники. Мы расходимся с ними, проложив наш курс на Кильскую бухту, где нас ждут транспорты с топливом. Чем ближе к конечному пункту первого этапа нашего плавания, тем больше и больше встречных судов. Когда стемнело и мы вошли в узкий плес между маяками Гиедзера и Феморнбельт, их стало попадаться такое множество, что я на мостике почувствовал себя буквально в роли шофера на улице боль-



«Парижская Коммуна» в Бискайе.



Шторм начинается.

шого оживленного города. Приходилось беспрестанно лавировать среди бесконечного количества пароходов и парусников, при чем нужно было разойтись по всем правилам, так как каждый из встречных капитанов прекрасно их знал и ни на йоту не уступил бы дороги там, где правила расхождения говорили в его пользу. Кроме того, приходилось помнить о существовании так называемых «самоубийц», т.е. кораблей, отживших все положенные и не положенные сроки службы и жаждущих найти себе выгодную кончину под форштевнем какого-нибудь зазевавшегося встречного корабля. Все искусство такого «самоубийцы» заключается в том, чтобы устроить столкновение по всем международным правилам, а затем получить за утонувшую посудину полноценную страховую премию.

Наконец, опасные места благополучно пройдены, и мы около полудня 24 ноября отдаем якорь в Кильской бухте.

На следующий день с раннего утра, не теряя ни минуты времени, корабли принялись за погрузку топлива. Вдали, на пределе видимости, весь день маячили немецкие военные корабли—один

линейный корабль, крейсер «Амазоне» и несколько миноносцев. В небольшие перерывы между работой мы смотрим на немцев и искренне их жалеем за излишнюю старательность. Присутствие их трудно объяснить чем-либо другим, кроме опасения, как бы большевики под шумок не свезли на берег десяток-другой агентов Коминтерна или запасы соответствующей литературы. Мы ловим немецкое радио: один из сторожащих нас кораблей сел на мель и просит о присылке портовых средств из Килия для снятия его. Судьба наказывает немцев за излишнюю полицейскую ретивость...

Уголь погружен с рекордной быстротой. Весь личный состав работал безукоризненно. После погрузки обычная в таких случаях генеральная приборка. Все уголки корабля скребутся и моются, как в старом купеческом доме Замоскворечья перед большим праздником.

С рассветом следующего дня мы движемся дальше. Перед нами трудная задача — пройти Большим Бельтом, соединяющим Балтийское море с Каттегатом. Для современного линейного корабля эта задача особенно трудная, так как пролив узок и мелководен, а

осадка корабля велика. Кроме того, линкор очень длинен, а фарватер извилист. Не лишним будет добавить и то обстоятельство, что система ограждения опасностей в Бельте далека от совершенства, при чем это сделано не случайно, а с холодным расчетом на живую, чтобы заставить мореплавателей, проходящих через пролив, брать лощманов и, следовательно, платить им монету. Мы решили не терять советского достоинства и идти Бельтом без их помощи, несмотря на все трудности. Погода нам не благоприятствовала, видимость была скверной. Несколько напряженнейших часов на мостике, и Бельт пройден. Мы вошли в Каттегат, по условиям плавания почти такой же трудный, как и Бельт, а за ним и Скагеррак. Ночью 27 ноября мы уже вышли на просторную воду Северного моря...

Погода решительно отказывается исправляться. Северное море встречает нас безлюдием и свежим ветром. Лишь изредка видны на банках большие группы рыболовных траулеров, занятых своей работой. Мы проходим ряд исторических мест, где десяток с лишним лет назад гигантские флоты хищников бились в смертельной схватке. Молчаливая карта бесстрастно отметила небольшими черными значками места гибели кораблей обоих противников. Сколько богатств, сколько человеческих жизней поглотила морская пучина!

С утра следующего дня заштормовало. Волны набросились на корабль и крепко хлестали по его бортам. На верхней палубе сразу стало безлюдно, море и неприветливо.

Подход к берегам Англии был очень тяжелым в навигационном смысле, так как последнее определение мы имели по Скагену, астрономическим же путем определиться не позволяла мглстая погода. Утром из радиорубки нам принесли известие, что яхта с датским королем засела где-то поблизости на камни. Величайшая бдительность и внимательность в работе обеспечили нам возможность не разделить грустную королевской участи. Днем повзались унылые и мрачные берега Англии, а рано утром на следующий день мы уже

стояли на якоре в Сенском заливе у маяка Барфлёр, на месте назначенной встречи со следующей группой наших транспортов. Погода утихла. Как только подошли транспорты, мы, не теряя времени, начали грузить уголь, воду и мазут. Тонна за тонной топлива и воды исчезали в корабельном трюме, насыщаясь после долгого перехода. Погрузка шла полным ходом. Быстрота работы оказала нам ценную услугу, так как к вечеру, когда погрузка закончилась, опять засвежело, и трудно было бы думать о погрузке с транспорта, стоящего рядом и бросаемого волнами, как щепку.

У Барфлёра повторилась та же история, что и в Кильской бухте: мы опять видели крейсерующие на горизонте суда, «оберегавшие» Францию от большевиков.

После полудня 2 декабря, при штормовой погоде, мы снялись с якоря, намереваясь продолжать свой намеченный путь. Уже в момент с'емки я определенно по ряду объективных признаков чувствовал, что нам придется встретиться с серьезными испытаниями. Мои предположения подтвердились очень скоро... Выйдя в Английский канал, корабли встретили крупнейшую океанскую зыбь, идущую с запада, и чем дальше мы шли, тем крупнее она становилась. После того, как мы прошли остров Уэссан, качка стала значительной, а волнение достигло максимальных размеров. Ночью заревел свежий зюйд-вест, и океан встретил нас штормом. Стало ясно, что зыбь была не местного происхождения, а шла откуда-то издалека, видимо от берегов Америки сквозняком через весь океан, и предвещала сильнейший шторм. Простормовав еще один день в Бискайском заливе, в знаменитой Бискайке, имеющей давно заслуженную репутацию одного из самых беспокойных мест на всем земном шаре, мы решили зайти в Брест для того, чтобы подправить своими средствами кое-какие мелкие повреждения на нашем спутнике — «Профинтерне».

В течение короткой двухдневной стоянки в Бресте погода не стихала, и шторм продолжал работать с прежней

силой. Стоя на рейде, нашим кораблям для того, чтобы удержаться на якоре, приходилось время от времени подрабатывать машинами. По ночам ветер усиливался и достигал 11 баллов. Несмотря на такую погоду, нам все же было нужно грузить топливо. Выполнение этой задачи было сложно и трудно; баржи, с которых грузили уголь, так раскачивало, что держаться на них, не будучи привязанным, не было никакой возможности. Погрузка угля из

мой упорной борьбы с океаном, были несомненно труднейшими днями нашего перехода. Сила ветра, перешедшая все пределы, обычные для этих широт, колоссальные волны, длиною не менее 200 метров и высотой порядка 11-12 метров, представляли собою трудно преодолимые препятствия даже для большого корабля. Эти четыре дня линкор жил, как в бою... Вода была нашим врагом. Звонки по телефону, доклады, распоряжения и приказание по кораблю следовали



Корма крейсера (Бискайский залив).

обыденной авральной работы превратилась волею свирепого океана в серию трудных акробатических трюков, проделанных нашими краснофлотцами с блестящей ловкостью и непреодолимой энергией.

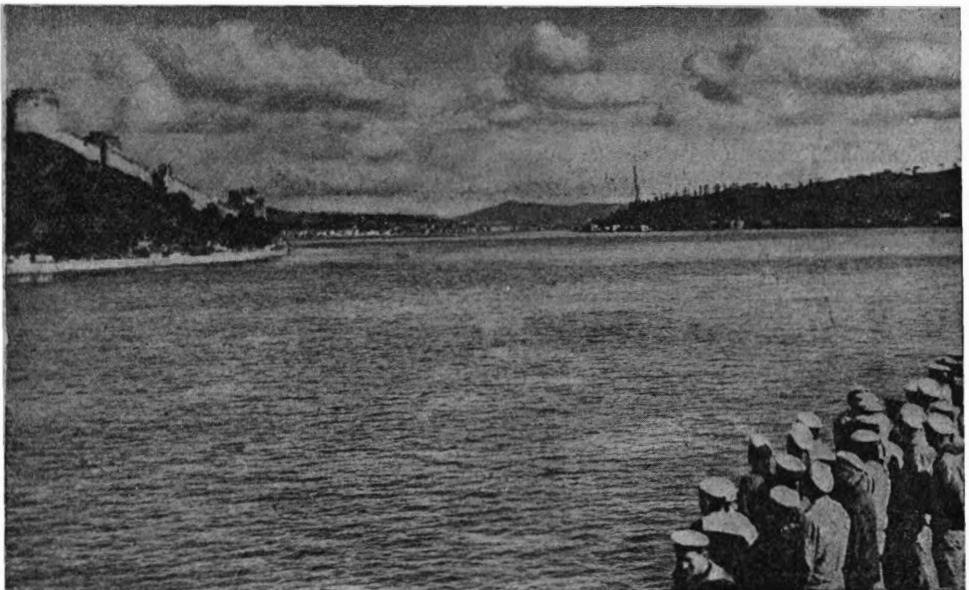
Погрузив топливо, 7 декабря мы покинули Брест. Полученная утром метеорологическая сводка не утешала нас и не сулила спокойного плавания. Отмечалась сильная циклоническая деятельность в районе южной части Британских островов и Бискайского залива. Стало ясным, что нам не миновать сильного шторма. Штормовой сигнал, вывешенный в Бресте, лишней раз говорил об этом. Однако, итти было нужно, и мы вышли в шторм. Четыре дня борьбы, са-

одни за другими. На мостике шла непрерывная работа. Мозг корабля в такие минуты должен работать, как хронометр, ибо участь корабля и тысячи жизней — на его ответственности. Спящих и отдыхающих не было, все были на своих постах, все работали не покладая рук. Наш враг нащупывал слабые места, и нужен был зоркий глаз, чтобы во-время парировать его удары, немедленно ликвидируя всякое проникновение воды внутрь. Много примеров высоко доблестного отношения к своим обязанностям дал личный состав, жертвуя не только своими силами и сверхчеловеческим напряжением, но и часто рискуя собственной жизнью. Охотников для выполнения тех или других рискованных

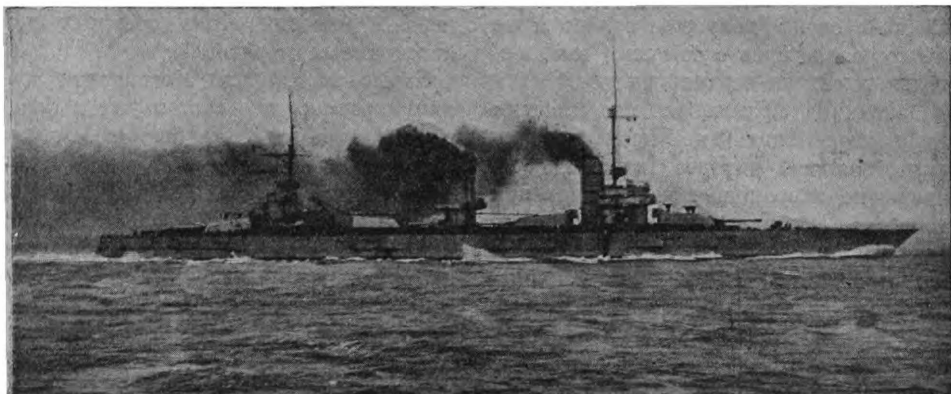
предприятий всегда находилось с излишком. Качка по временам доходила до 40 градусов. Линкор — мощный и грузный стальной гигант — бросало, как щепку, и человеку, не видевшему шторма в океане, трудно себе представить величие и ужасающую мощь развирпевшей стихии... Океан буквально кипел вокруг нас, покрытый сплошной седой пеной. Волны гигантскими горами двигались вокруг. Наш спутник «Профинтерн» то, поднятый на гребень волны, оказывался где-то высоко, высоко над нами, то опускался куда-то вниз, и от него оставались видимыми лишь кончики стенок. Стена водяной пыли стояла вокруг, и видимость была самых минимальных размеров. Мы работали машинами с расчетом двигаться 10—12 миль в час, но фактически шли 2—3 мили, а порою меньше, так как машины с трудом противостояли стихии. В ночь с 7 на 8 декабря шторм достиг своего апогея. Иностранные газеты, вышедшие в тот день, посвящали первые страницы описанию шторма. Метеорологические авторитеты Англии говорили, что дни 7—8 декабря являлись наиболее штормовыми, когда-либо зарегистрированными на южном берегу Англии. Именно в эти дни наши корабли боролись со стихией в Бискайском заливе. Радио бес-

прерывно слышало призывы о помощи со всех сторон, но середина Бискайя, где мы в это время находились, была пустыня. Шестьсот с лишним кораблей терпели бедствие в эти дни. Шестьдесят из них никогда больше не вернутся в родной порт. Шторм принес гигантские разрушения и на берегу, причинив немалые убытки прибрежным государствам. Надо было видеть силу и мощь удара волн, чтобы судить о величии разбушевавшейся стихии. Шлюпки корабля от удара превращались в бесформенную грудку щепок. Десятимиллиметровый стальной фальшборт гнулся и ломался, как размокшее папье-маше. Угольная стрела клепаной конструкции, поднимавшая шутя 1,5 тонны, была сломана волной, как спичка. Океан ревел и неистовствовал. Стало совершенно ясно, что надо выходить из шторма... Простое благоразумие и элементарный подсчет сил требовали этого. Люди боролись четверо суток, не смыкая глаз.

Организмам требовался отдых. Запасы топлива требовали пополнения, так как впереди еще лежали не пройденными до места новой погрузки в Кальяри 1.700 миль. Скрепя сердце, повинувшись холодному расчету, мы повернули в Брест.



Босфор.



«Парижская Коммуна» входит в Севастополь.

Однако, принять решение о повороте оказалось делом значительно более простым, чем его выполнить. Малый ход, несмотря на усилия машин, противный штормовой ветер, достигший максимальной силы при громадной волне, создали условия, при которых поворот был чрезвычайно труден. Лишь в третий раз, после двух последовательно неудавшихся попыток, мне удалось повернуть корабль на избранный курс. На поворот пришлось затратить около часа, в то время как в обычных условиях он совершается в течение двух-трех минут.

Личный состав с неослабной энергией продолжал свою тяжелую и напряженную работу и с честью закончил порученное дело, доведя после длительной борьбы линкор благополучно до Бреста. Придя в Брест, мы могли с удовлетворением подытожить результаты нашей борьбы с океаном: ни одного вышедшего из строя по вине личного состава механизма, и лишь сломанный волнами фальшборт на баке. Из-за починки этого фальшборта нам пришлось потерять четыре дня на переговоры с французами по поводу того, кто будет ремонтировать нас. Частная местная промышленность, представленная в лице двух художочных заводов с парой сотен рабочих, заломила аховскую цену и, главное, поставила явно непримлемые сроки. Не удовлетворяя срок и французское командование, так как ему не улыбался ни один лишний час нашего пребывания.

В конечном итоге отремонтировать нас начал казенный судостроительный завод. Начальник этого завода страшно боялся нашей пропаганды среди рабочих и обратился ко мне со странной просьбой: не агитировать французских рабочих и не совать им в карманы соответствующей литературы. Мне пришлось, правда в вежливой форме, напомнить ему, что наши корабли — прежде всего военные корабли и имеют совершенно другие задачи, поэтому он может быть спокоен за своих рабочих. Фраза начальника завода об агитации ясно говорила теперь, почему они не соглашались на наш ремонт. Починка фальшборта задержала нас в Бресте до 26 декабря. Наша команда на берегу так и не побывала, ибо «любезные» хозяева предложили нам для прогулок в строю пустынный остров в нескольких милях от Бреста. Пришлось поблагодарить портовых администраторов и отказаться от этой чести.

Наконец, с облегчением мы покинули Брест, сопровождаемые опять штормовым сигналом на мачте. На этот раз мы встретились с океаном, имея уже закалку в борьбе, и хотя нас изрядно выматывало, порок до 30 градусов, тем не менее мы преодолели Бискайку в срок. Дальнейшее плавание океаном вдоль берегов Испании и Португалии протекало более или менее спокойно, хотя нас порядком все же болтало. Привычка — великая вещь, и скоро все так привыкли к качке, что не обращали на нее никакого внимания, занимаясь

каждый своим делом, а подчас и не плохо развлекаясь с помощью самодеятельных сил на верхней палубе.

В ночь на 30 декабря мы прошли Гибралтар. Англичане проявили, видимо, большой интерес к нам, беспрерывно запрашивая нас о названии кораблей. Мы удовлетворили их любопытство, но от дальнейших переговоров уклонились. Сопутствуемые непрерывным миганием сигнального фонаря, мы прошли Гибралтар и вышли в Средиземное море, направляясь в Кальяри, куда и прибыли в четыре часа дня 1 января.

На следующий день — очередная угольная погрузка, а за ней опять генеральная приборка и покраска. Первые дни нашей стоянки в Кальяри погода была прекрасной, но затем задул свежий ветер, чрезвычайно огорчивший нас, так как пришлось разрешение побывать на берегу, а при такой погоде нельзя было этого выполнить. Лишь в последний день нашей стоянки, и то с большим трудом, удалось спустить на берег некоторую часть команды.

9 января мы пришли в Неаполь, поворотную точку нашего плавания, а там — в Кронштадт или в Севастополь, во всяком случае в советский порт. Наконец, личный состав смог получить должный и давно заслуженный отдых, мог побродить по берегу и немного поразвлечься. Короткая стоянка в Неаполе была насыщена исключительно организованным отдыхом, экскурсиями по музеям, городу и на редкость интересным окраинам. Посетил наши корабли, несмотря на недомогание, М. Горький, прибыв для этой цели из Сорренто, где он постоянно живет. Его посещение кораблей превратилось в импровизированный семейный советский праздник под чуждым итальянским небом. Громкими криками «ура», не смолкавшими долго над палубами кораблей, проводили мы нашего гостя. 14 января мы ушли из гостеприимного Неаполя. Поведение наших команд на берегу, несмотря на исключительные условия, в которых мы находились до этого, было выше всяких похвал. Не было ни одного случая пьянства или

дебаша, явленный столь обычных для иностранных моряков.

Ночью мы прошли Мессинский пролив, а рассвет нас застал уже в Ионическом море. Рассвет был не совсем обычным, на освещенной части горизонта вдали показались два английских линкора типа «Резолюишен» с их характерными мачтами-треногами. На протяжении двух часов они маневрировали у нас в голове, сохраняя почтенную дистанцию порядка 100 кабельтов, а затем неожиданно скрылись на юрде.

Вечером, не доходя до маяка Матапан, мы вновь обнаружили англичан, — на этот раз это были наши балтийские знакомцы крейсера типа «С». Почти шесть часов мы шли с ними параллельными курсами, но, наконец, нам надоело, мы прибавили ходу и ушли вперед.

В ночь на 17 января мы вошли в Дарданеллы, оповестив по положению заблаговременно международную комиссию о своем проходе.

Замелькали хорошо известные по истории мировой войны места, корабельным балагурам вспомнился «дарданельский Милюков», а на утро мы уже в Константинополе с его необычайной, сказочно восточной красотой. Не становясь на якорь, а лишь замедлив ход на время отдачи салюта, мы проходим мимо в Босфор. Нас приветствуют толпы народа с берега, машут платками и шляпами, что-то кричат... Прошли короткий Босфор. Поход приходит к концу, еще сутки — и можно будет подвести итоги. Скорее к родным берегам. Черное море встретило нас достаточно милостиво, хотя погода свежая и прохладная. Видимость, до конца преследовавшая нас своей неблагоприятностью, отвратительная и здесь. Подходим к Севастополю. Нас ждет торжественная встреча. Несмотря на прохладную погоду, нас встречают на берегу массы рабочих, красноармейцев и краснофлотцев со знаменами, оркестрами, лозунгами. Берег ликует, у нас команда во фронте, играет музыка... В 14 часов 8 минут мы становимся на бочку в Севастопольской бухте, сделав шесть с половиной тысяч миль.

Литература и искусство

1. Арк. ГЛАГОЛЕВ. О художественном лице «Перевала».—2. Ф. РОГИНСКАЯ. К вопросу о пролетарском стиле.—3. И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ. В. Хлебников и футуризм.—4. И. СЕРГИЕВСКИЙ. Путешествие по неведомому

1. О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ЛИЦЕ „ПЕРЕВАЛА“

(«Ровесники». «ЗИФ». 1930. «Перевальцы». «Антология». «Федерация». 1930)

Арк. Глаголев

I

Реконструктивный период развития пролетарской революции, мощный размах социалистического строительства и бешеное сопротивление последнему со стороны классовых врагов революции ставят перед всей нашей современной художественной литературой новые и чрезвычайно ответственные задачи. Наша современность требует от всех отрядов подлинно-советской художественной литературы решительной творческой перестройки для активного участия в происходящем сейчас поистине грандиозном социалистическом строительстве. Особо энергичный и притом не поверхностный, а глубокий, действительно творческий смотр и — в иных, весьма передких случаях — пересмотр своих литературных позиций, своих теоретических «программ», своих художественных «планов» должен произвести интеллигентский сектор нашей литературы.

Несмотря на ряд отдельных достижений в области художественного мастерства, несмотря на довольно заметный рост субъективных стремлений отдельных писателей-интеллигентов теснее сблизиться с пролетарской революцией и глубже войти в социальное строительство, многие и многие представители даже наиболее передовых

слоев интеллигентского писательства еще не освободились от целого ряда идеологических колебаний и шатаний, от значительных дефектов не только в области своего мироощущения, но и мировоззрения. Художественная идеология творческой продукции даже лучших представителей интеллигентского сектора нашей литературы действительно существенно отстает — и не только во внешне-тематическом смысле — от нашей современной действительности. Писателям-интеллигентам надо глубже, чем доселе, задуматься о своих путях приближения, смычки и союза с пролетариатом, если они действительно хотят видеть свое творчество служащим революции. Они должны подвергнуть себя основательной самокритике. Все это в значительной степени, как надо подчеркнуть, относится и к «Перевалу».

Свидетельствуя о творческой одаренности некоторых отдельных «перевальцев», «Антология» и «Ровесники» в целом указывают нам на значительнейшие идеологические дефекты, и недочеты в художественном творчестве «перевальцев», вырастающие в некоторые определенные, крайне отрицательного характера тенденции. Сборники показывают значительное отставание «Перевала» — далеко не только в смысле «злободневности» — от нашей действи-

тельности, от подлинных задач литературной современности. «Антология» и «Ровесники» наглядно демонстрируют совершенную необходимость для «перевальцев» значительной творческой перестройки. Необходимость последней как-будто бы осознается и самими «перевальцами» (см. некоторые их заявления, недавно помещенные в «Литературной Газете» сего года), однако, приходится подчеркнуть, что творческая самокритика не развернута «перевальцами», «перевальцы», как свидетельствует, например, вступительная статья к «Ровесникам», не осознали всех отрицательных сторон своего творческого облика.

В предисловиях к своим сборникам «перевальцы» настаивают на их творческой целостности, они указывают, что задачей последних является стремление «выразить художественную сущность перевальского движения», дать ее «обобщающий очерк». Своими сборниками «перевальцы» хотят дать «представление о своем творческом коллeктивном лице». (Подч. нами.— Арк. Г.). Это дает нам полное право рассматривать данные книги не как простое собрание вещей отдельных авторов, но именно как целостное художественное течение, и рассматривать идеологические дефекты этих сборников не как отдельные ошибки некоторых писателей, но как пороки всего «Перевала» в целом. Разумеется, вместе с тем мы не отказываемся от дифференциации этого «течения» на некоторые отдельные художественные «потоки». Более того, эта дифференциация совершенно неизбежна, без нее не сможет произойти творческое оздоровление «Перевала».

II

В помещенном в «Антологии» отрывке из книги А. К. Воронского «За живой и мертвой водой» — «Две жизни» — имеется чрезвычайно характерный диалог «героя» произведения и его «дяди», некоего о. Николая, на тему о «древнем законе произрастания», о вечных стихийных биологических первоосновах жизни.

«... Произрастание... Им все же и со-
уждено: травы, деревья, скот всякий,

мужики, птицы, мы с тобой... все, что видишь в окружности... все создано произрастанием, корытным счастьем по-твоему.

— Произрастание — дело неосмысленное и стихийное, — возразил я.

— Ну да, стихийное... Миллионы людей, — закончил он твердо и решительно, — живут законом произрастания, не вашим законом. Чудо чудеснейшее окрест, а вы говорите: корытное счастье.

— Величайшее чудо, — отвечал я, — человек со своей творческой мыслью в руках... Человеку нужно не произрастание, а творчество».

И вот, когда обращаешься к творчеству «перевальцев», представленному «Антологией» и «Ровесниками», отчетливо ощущаешь значительную замороженность весьма многих «перевальцев» этим «древним законом жизни», его тайную, внутреннюю власть над творческим сознанием ряда «перевальцев», упорно тянущихся к отображению «вечных» стихийно-биологических сторон жизни, весьма часто вспоминающих о «первобытном», природном в жизни.

Разумеется, отношение «перевальцев» к этому «древнему закону», к этой извечной биологической жизненной стихии весьма отличается от отношения о. Николая из книги Воронского. Оно совершенно свободно от теистических элементов «философии» о. Николая. Оно гораздо тоньше, сложнее, материалистичнее. Власть этого «закона» над творчеством «перевальцев» проявляется в существенно видоизмененной форме. Этот «закон» живуч не столько в сознании «перевальцев», сколько в их подсознании. Они даже упорно стремятся преодолеть гипноз «железного круга» стихийно-биологического бытия, они усиленно выдвигают против «биологии» «антропологию», против «произрастания» — «творчество» человека. Но, несмотря на весь этот антропологизм, «гуманизм», на творческом облике «Перевала», по крайней мере в том его виде, в каком он представлен «Антологией» и «Ровесниками», лежит явственная печать далеко еще целиком не определенного «биологизма», сказывающегося подчас даже на характере самого антропологизма «переваль-

цев» и на их понимании «творчества» человека. Значительная часть «перевальских» художников прежде всего биологи, натуралисты, охотники, пейзажисты, творчески настойчиво влекущиеся к «простым законам» искони-природного в жизни. Звериный, растительный мир, изначально-биологическое, психофизиологическое в человеке — немалосущественная тема для «перевальцев». Не даром, совсем не даром «перевальцы» так нередко вспоминают о Бунине. Кое-что бунинское (не только в смысле технологическом) есть в творческом облике некоторых «перевальцев». Наиболее ярко иллюстрируют биологизм «перевальцев» такие вещи, как «Древность» Н. Зарудина, «Железный круг» Л. Завадовского, «Лоси» И. Касаткина, произведения М. Пришвина, некоторые творческие высказывания А. К. Воронского и Ник. Смирнова, ряд стихотворений Зарудина, Дружинина, Семеновского. Здесь «перевальский» «биологизм» проявляется наиболее резко, обнаженно. В других вещах эта психоидеология проявляется в несколько иной, более завуалированной форме. Некоторым переходом между вещами этих двух видов являются «Жестокие рассказы» М. Барсукова.

Такие произведения, как, скажем, «Древность» Зарудина, «Железный круг» Завадовского или рассказы Пришвина, «биологичны» вовсе не только внешне, по своему материалу. Это вовсе не только простые охотничьи рассказы или «безобидные» зарисовки природы. Нет, эти вещи гораздо более «философичны», они обладают определенной психоидеологией. Эти вещи — художественное и притом весьма яркое утверждение «биологизма», как некоего необходимого элемента художественной философии. Они, особенно зарудинская «Древность», как предугадательно и поясняет смысл этой вещи А. Лежнев, — «видение древнего, лесного, первобытного мира», символы вечного стихийного природного «биологического» бытия, его «непобедимой древности» (выражение Зарудина), символы вечной правды стихийного «закона произрастания», его «чародейной» красоты и силы. «Древность» Заруди-

на — это не только картины ночной охоты, августовской ночи, это — взор в «путь» стихии, взор в собственную, «сокровенную» ночную человеческую природу, это — «охотничья» стихия в ее «первообразе». Изобразительные средства Зарудина здесь подлинно изобразительны, но эти художественные качества «Древности», ее художественная крепость именно и подчеркивают ее идеологическую специфику. Изобразительные средства Зарудина совершенно недвусмысленно выявляют этот особый специфический культ «древнего, охотничьего», первозданного и извечного «биологического» бытия. «Древняя ночь августа», «столетний мрак леса», «вековые недра лесов», «старинная река», «почти каменноугольный ландшафт», «древний», «непобежденный» лес. Зарудин всячески художественно подчеркивает всю специфичность своего «видения», «древнего, полночного»: «журавли стоят в чародейном тумане», «таинственный лик», «таинственные бремовские слова» и т. п. Местами перед нами предстает целая мистерия «неясной лесной жизни», «темного, неуловимого, неосязаемого»: «... Раз... Два... Три...—считаю я до ста с тайной надеждой, что вот тогда все устроится, все прояснится и я увижу (хотя бы один раз) то таинственное, уже ставшее для меня страшным в своей необычности и в своем невероятии, что вдруг должно появиться неведомо откуда, из темных, жутких, давно знакомых, но уже исчезнувших дремучих дебрей. Какая смутная, древняя, языческая сила должна привести сюда, в эти звездные сумерки, ее, эту странную громадную птицу, живущую еще до сих пор далеким, древним миром, который может сниться только в неясном детстве?» Художник неоднократно выявляет свое субъективное отношение к изображаемому, например, в символе «старой охотничьей птицы», «смотревшей» по слову автора, «через всю его жизнь» (подчеркнуто Зарудиным) и проходящей через все разбираемое произведение. Культ «охотничьего, древнего» с предельной силой

и отчетливостью замечается в таком еще его художественном высказывании: «Держа птицу за длинные шершавые ноги в плоских роговых пластинках, Зарудин (весьма, между прочим, характерно это «совпадение» фамилий писателя и его «героя». — Арк. Г.) еще раз ощутил истому дикого, необъятного счастья... Собаки заливались впереди, и это сулило еще то новое, тревожное, острое в своей сладкой и сердечной тоске, которое, он чувствовал, повторится опять, которое было сейчас и которое будет еще впереди без конца... Это без конца (подч. Зарудиным. — Арк. Г.) было особенно сладостно и, очевидно, потому, что охотничье, древнее всегда поднималось из пройденного, векового, затерянного в забытом, туманится синеватым куравом потухших костров, светивших много лет назад, зовет неизведанными дорогами вперед, — никогда не иссякнут темные, уходящие вдаль неведомые охотничьи дороги, никогда не умрет темное счастье предчувствий, погоны, удачи, счастливой охоты...» (Подч. нами. — Арк. Г.). Художник остается глубоко, навсегда прельщенным этой «охотничьей» стихией. «Это никогда, никогда не кончится...» Непобедимая «древность»! Могучая власть и «чародейная» красота того, что у Воронского было названо «законом произрастания», усиленно «гипнотизируют» автора «Древности», — это совершенно ясно для всякого внимательно прочитавшего произведение Зарудина. Такой же культ «биологии», такой же «гипноз» «закона произрастания», «бесконечного» «охотничьего», хотя и без того символизма, который проглядывает в зарудинской «Древности», выявляется в вещах Касаткина, Завадовского и др. «Дремная глухомань», зимний лес, лоси, их «извечный» стихийный звериный быт, красота стихийно «произрастающей» жизни заполняют «Лоси» Касаткина. Такая же «глухомань», такой же зимний лес, «настоящий», «серьезный», все та же звериная стихия у Пришвина в «Медведях» — повести о зимних медвежьих берлогах, «медвежьим запахе», «охотничьем сердце»... Зимний лосиный лес,

облитый лунным светом, не менее пленителен и «волшебен» для Касаткина, чем «древняя ночь августа» для Зарудина, как равно не менее прельстительна и удивительна для Пришвина «фантастическая лесная зимняя повесть». И так же, как у Зарудина, и у Касаткина и у Пришвина отчетливо видна «древность». Она в «древней зелени» лисьих глаз у Касаткина, она в пришвинском переносе творческого «воображения в такую даль времен, когда человек обладал такой же чудовищной силой (как у медведя. — Арк. Г.) и боролся с медведем на равных правах», она в пришвинском воспоминании о «древнем культе медведя». С огромным художественным вниманием, волнением и «сочувствием» обрисовывает Завадовский волчью жизнь, любовь, игру стихийных сил, повинующуюся лишь единому, вечному и могучему «закону произрастания». Эта же психоидеология, этот же «биологизм» наполняет в достаточной степени и «перевальские» стихи. Для примера можно назвать П. Дружинина «Зима бела...», Зарудина «Яблоки», Тарусского «Крякуши», Александра Соловьева «Стужа» и др. Такие мотивы, как: «И снова тихий бор, — и чую снова я — сосновое разговорожитье сосновое» (Дружинин); «тютчевские» «ощущения» «сердца мироздания» (Семеновский), буниинские мотивы, всевозможные зарисовки природы, пейзажи упорно повторяются в «перевальской» поэзии.

Под знаком того же «биологизма» стоят и «Жестокые рассказы» М. Барсукова, обрисовывающие стихийные переживания детской «души», ее инстинктивные движения, стихию детских «страхов». Несмотря на внешне кажущееся тематическое отличие «Жестоких рассказов» Барсукова, например, от вещей Зарудина или Пришвина, они психоидеологически глубоко родственны. И Зарудин и Пришвин тесно связывают «охотничье» и «детское». «Одно для меня ясно, — читаем мы у Пришвина («Охота за счастьем», «Антология»), — что охота неразрывно связана с детством». «Детское», «отдаленные детские времена» присутствуют и в «охот-

ничьих» переживаниях Зарудина, зафиксированных в «Древности». И это вполне закономерно, ибо и то и другое лишь только разные формы проявления одного (по крайней мере в той художественной трактовке, которую мы наблюдаем у некоторых «перевальцев») — извечной «биологической» стихии.

И вот этот весьма специфический «биологизм», особая «биологическая» направленность довольно значительной части творческой продукции «перевальцев», направленность, совершенно свободная от всякой «примеси» художественного социологизма, является одним из существенных идеологических пороков художественной позиции «перевальцев», представленной «Антологией» и «Ровесниками».

Мы не хотим утверждать, что тема природы, растительного и животного мира и т. п. вообще (помимо вопроса о том, насколько актуальной может явиться она в настоящее время) не имеет права интересоваться революционного художника. Мы не хотим сказать, что, например, даже тема «охоты» остается для нас навсегда принадлежностью только старой дворянской литературы. Искусство грядущего коммунистического общества, несомненно, не пройдет мимо темы «природы», любви и т. п. Дело в ином, дело прежде всего не в самом материале, а в способах его художественной обработки, в характере его художественной подачи читателю, суть в художественной методологии. Дело в том, чтобы «биологический» материал разрабатывать не «биологически» а «социологически», дело в том, чтобы метод не был в рабской зависимости от материала, нужно, чтобы этот метод был методом диалектического материализма. У «перевальцев» же в их зарисовках природы последний подменяется «тютючновщиной», «бунинством», эстетическим любованием, скатом в «пантеизм», возведением «охотничьей» стихии в некий метафизический абсолют, в специфический культ «закона произрастания», подменяется уходом в «древность», в «детское», «трагедийностью», «таинственностью». Вышеприведенные цитаты и выписки, число которых можно было бы еще более увеличить, дают

нам право это заключить. Однако, к этим цитатам присоединим еще несколько, дабы особо подчеркнуть наличие «трагедийности» в отношении некоторых «перевальских» художников к «вечным» «биологическим» темам. Эта «трагедийность» ощущается в заявлении Ник. Смирнова («Юная зима») о «чувстве неизбежного конца каждой человеческой жизни», в словах Воронского о «темной второй жизни и бессилии перед вечным законом уничтожения» («Две жизни»), эта «трагедийность» в пришвинской «горечи» от чувства «утраты» современным человеком медвежьих «гигантских рук», «синих мускулов», «прежней силы» «наших волосатых предков» («Медведи»). Бежние «трагедийности» явственно ощущается в зарудинской «Древности», в зарудинской «острой жалости» «от сознания», что «топор и пила» «обнажат» «голову земли» от сказочных «зелено-черных кудрей» древних лесов, к коим художник испытывает «мучительную влюбленность». С точки зрения диалектического материализма это «трагедийное» противоречие между «неизбежным концом каждой жизни», «бессилием перед вечным законом уничтожения» и законом вечного стремления всего живого к «произрастанию», противоречие между «синими мускулами» и «ничтожным теперь человеческим телом» (Пришвин), противоречие между «древней ночью» и «будничным дневным светом» (Зарудин) и прочие тому подобные «трагедийные» противоречия диалектически снимаются при выходе (совершенно необходимом) из сферы чистой «биологии» (в конечных выводах неизбежно приводящей нас к идеализму, индивидуализму, даже к пессимизму, в «лучшем» случае «пантеизму») в область социального. Социальный человек свободен от «бессилия пред вечным законом уничтожения», он обладает более мощными «руками», чем «утраченные синие мускулы», для него нет «непобедимой древности» и «железного круга» «закона произрастания». В произведениях Зарудина, Завадовского и других, выше указывавшихся, нет того «антропологизма», того преодоления «закона произрастания» «творческой мыслью», к коим

призывает «герой» «Двух жизней» Воронского. «Двух жизней» нет в этих вещах, и их психоидеологию, находящуюся в плену чистого «биологизма», сейчас невозможно не считать значительнейшим тормозом в деле формирования психоидеологии нового социального человека. Эти произведения действительно далеки от современности.

«Антология» и «Ровесники», однако, не исчерпываются одними этими «биологическими» произведениями, в них имеются и вещи с несравненно более «антропологической» тематикой. Какой же характер этих последних?

III

При обращении к «антропологической» тематике «перевальцев» прежде всего ярко бросается в глаза один определенный образ, упорно приковывающий художественное внимание ряда «перевальцев». Это — образ чудака, мечтателя, странника, одержимого «на всю жизнь» «беспокойством», лирического человека, специфический образ «поэта».

Этот образ в центре таких вещей, как «Шематоны» П. Павленки, «Палех» Е. Вихрева, «Этюды» Н. Колоколова, в стихах «Чудак» Д. Семеновского и всех других его вещей в «Ровесниках», «Поэт» Г. Глинки, «Л. В.» Н. Тарусского и др. Все эти произведения пронизывает единая психоидеология.

Все эти «перевальские» чудаки, — ближайшие, между прочим, родственники чудаков позднего Горького, — типичные дети уездной, сельской, «захолустной», старой России, и отталкиваются от нее и невольны к ней все же притягивающиеся.

Элементы отталкивания в психоидеологии «перевальских» чудаков очень сильны, иначе, впрочем, ясно, они ведь тогда бы и не были «чужаками». Всех их глубоко гнетет это домашнее уездно-сельское житие, родимое «захолустье», воспринимаемое ими чаще всего, как унылая «скука», «бесприютность», «муть». Им душно от «дней слепых» в «пыльном переулке» (Е. Эркин. «Три стихотворения». «Ровесники»). Им часто противно «комодное счастье» «мещан и мещаночек» (Семеновский.

«Из стихов о захолустье»). «Перевальским» мечтателям «оскорбительны» «жалобная скука, скучные жалобы», заволакивающие, как «промоглый туман», «железнодорожные станции», «увязнувшие в редком и голом перелеске» (Н. Колоколов. «Этюды»). И они усиленно отталкиваются от своей «конуры», к которой у них начинается пропадать всякий «интерес». «У себя, знаешь, интересу какого-то нет», «к своему никакой доверчивости нет» — откровенно признаются павленковские «тористы». Они стремятся уйти от «осклизой осени» домашнего захолустья-жития. Попытки преодоления последнего идут через мечту, «тюризм», искание новых, неизведанных и прекрасных областей и стран жизни, через своеобразное творчество. Все они «тянутся к солнцу». Одни, как павленковские «шематоны», бегут «к южным морям», другие только страстно и неустанно мечтают о таковых, как колоколовский северянин-цветовод, маленький «захолустный» педагог с большой мечтой о «морском просторе» «под полным солнцем». Они пытаются преобразить «вековечную» расейскую муть в чудесной творческой игре прихотливых узоров и необычайных красок, как палешане Вихрева, развеять человеческую хмурию радостной песней, подобно «затейливому старику» из «Этюдов» Колоколова. В родстве с этим образами и тот облик «ююта», который обрисовывается в ряде «перевальских» стихотворений («Поэт» Глинки и др.). Все они внешне по-разному, внутренне одинаково «золотят» своими «грезами» неприглядную «явь», для которой они остаются только «странными и непонятными «чужаками», «вредным», «легким» «народом».

Отношение авторов «перевальцев» к своим «чужакам» отчетливо субъективно-сочувственное. Это отношение совершенно очевидно в стихах, где образ «чудака», «мечтателя» является единым с образом «автора». Это же отношение к своим «героям» не менее очевидно и в прозаических вещах. В четвертой главе рассказа Павленки «Шематоны» имеется целая философия, целая апология скитальчества — «этого глубокого, в крови зачатого влечения

к странствованиям...», заслуживающего всяческого поощрения, — нужно «построить не санатории для больных, но кочевья для здоровых». «Огромным богатством» представляются Колоколову его «затейливые» песенники и мечтатели. Не менее явно зачарован своими «палешанами» Вихрев, для которого они, «сейчас далекие и невозвратимые», облекаются в «романтическую одежду», столь пленительную для художественного взора писателя, тщательно коллекционирующего «палешские» образы.

Каковым же должно быть наше отношение к этим образам и, следовательно, к общественной значимости самих произведений, повествующих об этих «чудаках»?

Нет никакого сомнения в том, что для дореволюционной уездной России эти «чудаки» являлись социально-прогрессивным фактом. Их яркое внутреннее недовольство гнилым расейским бытом, их творческое искание лучшей жизни — все это положительные черты; поскольку кое-где еще и у нас сохранились остатки глухого «захолустья», постольку «перевальские» «чудаки» могут играть там известную социально-положительную роль. Однако, такое «захолустье» сейчас даже в самых «медвежьих» закоулках нашей действительности все же надо разыскивать с микроскопом, и «перевальских» «чудаков» надо сейчас рассматривать — с точки зрения общественной, с точки зрения социально-типического, а не в смысле индивидуальных исключений, — больше как достояние истории, а не как живой фактор современности. «Чудаки» — люди «души», а не «разума», люди стихии, люди индивидуального, а не социального «характера» (здесь лежит психоидеологический мост между «биологической» и «чужацкой» тематикой творчества «перевальцев»¹). Отталкивание «чудаков» от гнили и скуки окружающей их действительности носит также совершенно стихийный, аморфный характер. В этом отношении весьма характерно стихотворение Та-

русского «Л. В.»: «Мы живем не по плану. Не так, как хотелось. Мы гибнем в ошибках...» И сейчас эта стихийность, «неплановость» протеста «чудаков» против старой жизни весьма снижают общественное значение отталкивания «чудаков» от гнилого быта. Сейчас методы перестройки жизни, борьбы со старым иными, более совершенными, чем «методология» борьбы со старым у «чудаков». Более того, стихийность этого «чужацкого» протеста нередко ведет к весьма неполному отрыву от своего «домашнего» жития. Кляня свою «конуру», изнывая в «тоске», «чудаки» далеко не всегда вполне уходят от старого. Какими-то окольными, бессознательными путями даже наиболее передовые из числа «чудаков» и их идеологов возвращаются на свои «чердаки». Это возвращение иногда совершается в очень тонкой форме. Стихи Семеновского, дающие нам характерный образ «чужака» со всеми его «плюсами», вместе с тем не менее ясно обнаруживают и все минусы психоидеологии «чужацества». Полная неопределенность, социальная аморфность в обрисовке новых путей, сменяющих старые «мещанские» «комодные» дорожки. Идеализируемые Семеновским, противопоставляемые им «мещанам да мещаночкам» «цыгане» и «цыганочки» по своим, столь дорогим Семеновскому, свободным путям, однако, «потянутся неведомо куда». К числу психоидеологических элементов, по зрелому размышлению никак не могущих служить делу преодоления старого, могущих питать лишь только пассивное в психологии человека, нужно отнести, например есенинские мотивы, — «брежуя юностью, полем, рекой, — дом вспоминаю родимый», — культ интимно-семейного счастья. У целого ряда «перевальских поэтов» — носителей «чужацкой» идеологии или которым образ «чужака» весьма нечужд — явственно проступают следы далеко не изжитой близости к старому уездно-сельскому захолустью (например, Дружинин и Тарусский).

Явная художественная симпатия проявлена к «уездной русской зиме», ко всем атрибутам русского уездного жития в рассказе «Юная зима» («Анто-

¹) Характерно в этом последнем отношении, что скитальчество оправдывается у Павленки «биологически», как «глубокое, в крови зачатое влечение».

логия). В этом рассказе—целый культ «уездного Николина дня», «домашнего уют» «с большим портретом седого, спокойного, незабвенного Тургенева». Трудно даже поверить, что этот бесконечно старческий по своим настроениям рассказ, весь обращенный «ко дням минувшим», принадлежит перу молодого писателя, а не какому-нибудь «маститому», на досуге предающемуся элегическим размышлениям о давно прошедших временах, унесших с собой невозвратную молодость. Автор «Юной зимы», в качестве литературного критика всегда тонко ощущавший необходимые пути здорового развития того или другого художественного творчества, несомненно, осознает всю необходимость своего удаления от той художественной направленности, которая отличает его «Юную зиму», в коей читатель наших дней справедливо усмотрит очень много «зимы» и очень мало «юности». К именам Семеновского, Дружинина, Тарусского, Смирнова, Глинки, над коими явственно чувствуется власть «захолустья», уездного, прошлого, можно прибавить и Зарудина с его «рождественским миром», поэзией «вечера синего и уездного» с «грустной тайной млечной», Пришвина с его размышлениями все о том же прошлом («Охота за счастьем»). Все это стоит под знаком единых настроений.

Так первый вид «антропологической» тематики «перевальцев» — тема «чудаков» и находящиеся в соседстве с ней «уездные» настроения, являющиеся (как приоткрывают нам «перевальские» стихи) другой стороной той же «чудаческой» психологии, — оказываются не менее малоактуальными, чем цикл «биологических» произведений «Перевала». Наличие «уездного» в «биологических» вещах (Зарудина, Пришвина) и, наоборот, «биологического» в «уездных» и «чудаческих» произведениях (Дружинин, Павленко, Глинка) вполне понятно, — и те и другие стоят под знаком стихии, нутра, все они мало обращены к социальному.

IV

Под знаком стихийности, нутра, довольно значительного отрыва от социального находится и та философия

творчества, которую художественно пропагандируют произведения П. Слетова «Мастерство» и «Смелый Аргонавт». Художник П. Слетов—прямой родственник «перевальских» «чудаков» и «мечтателей». Творчество Луиджи, мастерство бильярдной игры Димы так же «беспредметно» и социально аморфно, такая же «чистая» «эстетика», такое же голое нутро, как садоводческое мастерство колоколовского северного мечтателя, как прихотливая фантастика старых палешских мастеров Вихрева. Только у Слетова эта социальная аморфность, жизненная «бесприютность», индивидуализм «поэта» подчеркнуты, пожалуй, еще более выпукло, чем, скажем, у Семеновского, Колоколова или Глинки. «Насколько там, среди шелканья слоновой кости, в бильярдной, был Дима прост и находчив, настолько же здесь (везде в жизни.— Арк. Г.) натянута и скована. Ему приходилось думать и мучительно решаться на каждое слово или жест». Творчество Димы (а Дима в своей области такой же творец и художник, как и Луиджи) совершенно оторвано от жизни. Оно — только ширма, скрывающая Диму от последней. Дима, как свидетельствует отрывок, помещенный в «Антологии», и та повесть в целом, откуда взят этот отрывок, — тип совершенно деклассированного человека. То же мы видим и в обрисовке Луиджи. Последний также социально обретаётся в очень узком кругу жизни. Он человек «цеха», но не социальный человек. «...Для Луиджи не было человека выше мастера, а талант он считал лучшим даром, чем благороднейшее происхождение и величайшее богатство. Поэтому-то он относился с таким пренебрежением к самому уважаемому человеку, раз он не артист и не мастер в каком-либо художестве. Поэтому-то он говорил всегда свысока со всеми, кроме Бергонци, Сториони и еще немногих других»¹⁾ (таких же мастеров, как Луиджи.— Арк. Г.). И повествование П. Слетова объективно оправдывает эти слова. «Пренебрежение» слетовского мастера к «бо-

¹⁾ Или еще: «Луиджи жил одиноко... к нему захаживали изредка только собратья его по ремеслу...» (Подчеркнута. — Арк. Г.).

гатству» и «благороднейшему происхождению» не является чем-либо похожим на социальную враждебность, социальную ненависть человека одного класса к людям другого класса. В этом «пренебрежении» Луиджи невозможно усмотреть какие-либо социальные эмоции, классовые чувства, это — чисто стихийное, «биологическое», «психофизиологическое», профессиональное отталкивание «таланта» от «бездарностей», человека одного «цеха» от другого. Луиджи проходит перед нами замкнутым, уединенным человеком. Бродяжничество Луиджи или его «попойки» со своими «товарищами» по ремеслу, о которых мимоходом и глухо упоминается в повествовании, нисколько социально не расширяют облика Луиджи. Связь Луиджи с революцией в виде его дружбы с французскими революционными войсками или его антиклерикализма психоидеологически имеет совершенно внешний, случайный характер. Она не выявлена художественно-органически. В основном в образе Луиджи принципиально ничего бы не изменилось, если бы этой связи и не было. (Не даром образ Луиджи так близок слетовскому же Диме — человеку, весьма и весьма далекому от идеала революционного художника.) Эта-то черта психоидеологии Луиджи, между прочим, быть может, совершенно неожиданно для Слетова приоткрывает нам некую именно «сальерианскую» черту в облике Луиджи, не в смысле «биологическом», психофизиологическом, не в смысле отсутствия у него «таланта», даже не в смысле отсутствия у него столь необходимого в свете традиционного понимания «моцартианской» стихии¹⁾ «богемничания» (элементы «богеми» — в лучшем смысле этого слова — у Луиджи имеются), а в смысле социальном, в смысле отсутствия социально открытого сознания, в смысле общественной замкнутости Луиджи. В художественном показе образа Луиджи есть нечто и «сальерианское», оно — в доминировании в повести Слетова освещения характера технологии мастерства Луиджи над

освещением его социального бытия¹⁾. Если уж говорить о «Моцартах», как антиподах узких «технологов», цехово-замкнутых «Сальери», то вовсе не Луиджи окажется подлинным антиподом «Сальери», а такие образы (оставляя даже в стороне подлинных революционных творцов, а беря примеры из того же социального мира, к какому приблизительно относится Луиджи), как, скажем, Леонардо-да-Винчи, Гете... Гениальные артисты, не менее — как, вероятно, согласится П. Слетов — одаренные, чем его Луиджи, проявлявшие себя в разных областях искусства, они были широко общественными, глубоко социальными людьми. Творцы высокого искусства, они вместе с тем были и политиками, дипломатами, общественниками, передовыми людьми своего класса, жадно и неустанно впитывавшими в себя всю столь одиозную для некоторых «перевальцев» «злободневность». Проблема «моцарта» и «сальери» (терминология весьма, между прочим, неточная и неудачная), точнее, проблема подлинного творца заключает в себе далеко не только «биологический», психофизиологический момент — противоположность «таланта», «творца» и «ремесленника», «мастера» (это только половина проблемы), но и момент социальный — противоположность человека класса и человека цеха, социального художника и «творца» «чистого» искусства, человека общества и человека своего «чердака». Правильно разрешая проблему в ее первом, «психофизиологическом», моменте (противопоставляя механическому, чисторассудочному, безобразному рамесленничеству органическое творчество²⁾,

1) См., напр., те места повести Слетова, где Луиджи ведет длительные беседы о приемах преодоления сырого материала, о сортах дерева, нужных для тех или иных скрипок и т. п.

2) В этом плане «перевальцы» правы, когда высказываются против механистических «теорий» «социального заказа», механического изготовления штампов и трафаретов, когда стоят за органическое творчество, за искренность в искусстве и т. п. (См., напр., § 6 декларации «Перевала» в «Лит. Газете», № 15 с. г.), — это правильно, но в этом нет ничего специфически «перевальского», это — необходимая предпосылка всякого подлинного искусства.

1) А, напр., слетовско-лежневская интерпретация «моцартианства» весьма близка к последнему.

П. Слетов (как и многие другие «перевальцы») забывает о втором, социальном, моменте проблемы — о необходимости борьбы с «сальерианством» в социальной плоскости, с общественно-политической замкнутостью, с отворачиванием от «злободневности», с «цеховщиной», хотя бы и высокой — подлинно художественной — «квалификации», с Лунджевским индивидуализмом. Нужно не «трагедийно» противопоставлять «газетным лозунгам текущего дня» «великие идеи времени», но уметь в первых находить последние, и это смогут сделать только те, кто подлинно преодолевает социальный «сальеризм», у коих «биологический» «моцартизм» станет и социальным, у коих психофизиологическая талантливость станет исполнять социальные функции, у коих цех не будет загораживать класса, словом, те, кто сумеет преодолеть тот индивидуализм и социальную аморфность, которые присущи слетовским образам творца — Луиджи и Диме (как и образам «поэта» у Дм. Семеновского, Г. Глинки, образом «перевальских» «чудаков»).

Так, подобно другим «перевальским» произведениям, и психоидеология слетовских вещей обнаруживает малый художественный социологизм, она находится в довольно крепком плену у «биологии» («психофизиологии»), трансформируемой в данном случае в игнорирование социальной стороны проблемы «моцарта-сальери», в допустимость (по крайней мере фактически) отрыва художника от «злободневности», в замену четкой марксистской интерпретации искусства, как искусства классового, нечеткой и расплывчатой формулировкой искусства, работающего на свое «время».

Проблема подлинного социального искусства, искусства победоносного пролетариата вовсе не исчерпывается лежневским противопоставлением слетовского «моцартианства» и «фактографии». Нужно диалектически снять то и другое. (В этом отношении декларация «Перевала», опубликованная в «Лит. Газете» № 15 с. г., по сравнению с предисловием А. Лежнева к «Ровесникам», представляет в некоторых своих частях кое-какое, хотя еще и весьма не-

четкое, улучшение при сохранении целого ряда идеологических ошибок в декларации в целом. Насколько это улучшение окажется реальным, должно показать дальнейшее идеологическое и художественное развитие «перевальского» творчества.) Искусство пролетарской революции — искусство не голого «нутра», голого «таланта» и не голого «рассудка», оно — искусство большого разума. Оно — «умное» искусство в глубоком смысле этого слова. Будучи полноценным, органическим образным искусством (свободным от всякого схематизма или «фактографизма» — «фотографизма»¹⁾, искусство пролетарской революции будет (и некоторые ростки этого уже можно прощупать) художественно-методологически весьма отлично от стихийного интуитивизма и общественной ограниченности слетовских «творцов», как равно и от методов ныне столь распространенного в нашей современной литературе весьма примитивного психологизма, по большей части выдержанного в духе «классических» методов художественного психологизма XIX в.²⁾

V

Значительное и действительное отставание от нашей современности обнаруживает большинство «перевальских» произведений, посвященных деревне. В рассказах Р. Акульшина,

¹⁾ Отрицая слетовскую философию творчества, между прочим, вовсе не надо, вопреки А. Лежневу, делаться сторонником художественной методологии Безыменского, как равно, отрицая последнюю, вовсе не надо относиться к Безыменскому полемически: закрывать дорогу в искусство Безыменскому, в которое он входит, преодолевая очень нередко свою методологию большим и прекрасным не только «рассудочным», но и во многом «разумным» творчеством.

²⁾ Мы не можем сказать, что этот психологизм был «ошибкой», нет, он был совершенно закономерным этапом в развитии нашей пооктябрьской литературы, это была совершенно закономерная художественная реакция на предшествующий примитивный бытовизм, раннюю примитивную агитку и т. п. Сейчас мы просто своим художественным сознанием переросли этот психологизм. Время начинает требовать иного стиля.

А. Хованской, В. Кудашева перед нами предстает старая, дикая, убогая деревня, стихийный, зоологический, жестокий быт, те картины, которые изображал еще Николай Успенский. Эти рассказы — не только вещи единой психологии, но и единых сюжетов. Так, например, «Трахома» Акульшина и «Железновы» Хованской имеют совершенно одинаковый сюжет — убийство нелюбимой, затравленной жены. Вообще, убийства доминируют в сюжетике всех этих произведений (кроме указанных вещей, убивают еще у Кудашева в «Яблоках», у Акульшина в «Лизаре»). Деревенская жизнь, представленная этими «перевальцами», на редкость безотраднa. Ничего светлого, ничего напоминающего нашу новую деревню. Беззащитны убиваемые женщины, оборотисты и хитры кулаки, за «яблоко» убивающие детей, бездейственна, жалка, безысходно отстала основная масса мужиков, за десятирублеву подачку смиряющихся с кулацкими убийцами своих детей, бессмысленно истязующих своих единственных, с огромным трудом приобретенных лошадей и т. п. Неизбывной горечью, беспросветным мраком пронизаны деревенские рассказы Хованской, Акульшина, Кудашева. «Железновы», «Яблоки», «Трахома», «Лизар» — темная стихия, стародавний расейский деревенский мрак без единого проблеска нового сознания.

Значительное тематическое улучшение, актуализацию тематики, несравненное приближение к нашей современности представляет «Молоко» Ивана Катаева, рассказ, также посвященный деревне. Деревня Катаева резко отличается от деревни предыдущих авторов. У него деревня не «успенских» времен, а наших дней, деревня перестраивающаяся, деревня новая, где есть «сельские комитеты взаимопомощи», «молочные товарищества», «кредитки», где идет упорная классовая борьба, в которой неустанно крепнет и развивается социальное сознание бедняцко-средняцких масс, которые у Катаева несравненно более соответствуют современной деревенской действительности, чем «доисторические» мужики Акульшина и Кудашева. Однако, несмотря на свои огромные пре-

имущества по сравнению с последними, «Молоко» И. Катаева — одно из многих произведений разбираемых «перевальских» сборников, переводящих нас из сферы стихийной, «биологически-чуждаческой» тематики и психологии в область социального, — все же далеко не свободно от ряда идеологических дефектов, ведущих к искажению объективного представления о типе современной деревенской действительности (чрезмерное любование «европеизированным» фермером-кулаком Ниловым при малом выявлении его подлинной классовой кулацкой природы, ее отрицательных и враждебных революцией сторон). Однако, все же невозможно, как это делали по существу некоторые критики, зачислять «Молоко» в разряд произведений, чуть ли не на все сто процентов льющих воду на мельницу кулацкой психологии. Думается, что эти критики все же недостаточно внимательно прочли «Молоко», когда писали следующее: «Катаев беспощадно разоблачает рассказчика-инструктора, серенького советского чиновника и обывателя, но утверждает Нилова, эту тень фединского Свакера» (И. Нович. «Литературная Газета», № 12). (Подчеркнуто Новичем. — Арк. Г.). Это утверждение тов. Новича неверно вдвойне: 1) если Катаев «беспощадно разоблачает» «рассказчика-инструктора», то тем самым Катаев «беспощадно разоблачает» и Нилова, ибо «утверждение» последнего прежде всего идет именно со стороны «рассказчика-инструктора», — тов. Нович тут сделал явный логический «ляпсус»; 2) Нович далеко не точен и фактически, — «рассказчик» вовсе не «утверждает» Нилова столь категорически, как это кажется И. Новичу, катаевский рассказчик и отталкивается, несмотря на элементы любования, от Нилова. Тут мы возражаем и против некоторых категорических утверждений тов. Гельфанда. М. Гельфанд, напр., писал, что катаевский «рассказчик» «явно скорбит о своем «ортодоксе» (Нилове. — Арк. Г.), когда последнего приходится «выгонять» из правления молочного товарищества, или еще что катаевский «рассказчик» «трогательно реагирует»

на действия другого кулака. Между тем в катаевском рассказе его центральный «герой» не только «утверждает» кулака, не только «скорбит», о нем и «трогательно реагирует», но он и сомневается в кулаке, ощущает его неправду, видит кулацкие мошеннические махинации, начинает чувствовать их социальную обреченность. Несмотря на все свое очарование Ниловым, катаевский «рассказчик» при появлении «щекотливых слухов» о кулацких махинациях, правда еще сохраняя «робкие надежды», «не мог не признать свою политическую ошибку». Чем более явными становятся кулацкие проделки в молочном товариществе, тем сильнее начинает «герой» Катаева менять свои отношения к Нилову. «На собрании беднячком вера моя в Нилова и симпатия потерпела окончательный урон». (И далее, см. весь первый абзац главы 6 «Молока».) «Рассказчик» Катаева не только «жалует» разоблаченных кулаков, напр., Мышечкина, но начинает ощущать и «страшную фальшь» «в каждом его жесте и слове», начинает чувствовать общественную обреченность кулака, «что-то застывшее в нем, гробовое». «Скорбящий» о Мышечкине «рассказчик», однако, в конце своего повествования заявляет, что «мне стало ясно и понятно, что действительно и вор он, и хитрец, и бессердечный, на всякое преступление способный человек...» Таким образом, «рассказчика» нельзя считать определенным подкулачником, носителем кулацко-фермерской идеологии, его следует социально квалифицировать, как колеблющегося середняка, и «утверждающего» кулака и разоблачающего его. Но общественный провал у Катаева в «Молоке», как надо подчеркнуть, и мееется. Он в том, что колебания «рассказчика» не разреше- ны, он в том, что переход основной крестьянской массы на сторону деревенских передовиков (Будрина и др.) выявляется автором не как явление социального, закономерного порядка, а как явление стихийного, индивидуально-психологического и потому случайного характера. Случайное убийство сына Нилова стихийно настроивает крестьянскую массу против Нилова.

Объяснение этому перелому крестьян дается чисто «биологическое»: «Не уважает наш мужик несчастья, и к несчастному человеку у него никакого доверия нет. Вот ежели ты силен, здоров и доволен, — почет тебе и вера. А чуть пошатнулся человек, появляется к нему какое-то отвращение... И все это у них вполне искренне и даже бессознательно происходит... Так, я полагаю, и с Ниловым вышло. Какой же он для них доверенный, ежели он без шапки по морозу бегает?.. Разочаровались мужички...» Разоблачительная общественная работа крестьянских передовиков (Будрина и др.), сами их образы в рассказе И. Катаева в конце концов оказываются художественно «смазанными». «Биология» обесценила «Молоко», ибо не вследствие «бессознательных», стихийных причин кулаки оказываются побежденными в нашей реальной современной деревенской действительности.

VI

Помимо переходного (от «биологии» к «социологии») «Молока» Ив. Катаева, в «перевальских» сборниках можно найти и еще ряд произведений, приближающихся к социальной тематике, к современности. Таковы: «Город» (отрывок из «Сердца») Ив. Катаева, «Любовь постороннего человека» Андрея Новикова, «Поезд на юг» А. Малышкина, отчасти «Сыновья» и «Известная Шура Шапкина» Бор. Губера.

Разумеется, все эти вещи, особенно Б. Губера и А. Новикова, еще только попытки, намеки на социальную тематику. Намеки хотя бы уже потому, что еще только предварительные эскизы, первоначальные редакции, отрывки в целом незаконченных произведений. Их оценка поэтому может носить также только предварительный характер.

Особливо промежуточный характер носят губервские «Сыновья». В них «биология» в сильной степени довлечет над «социологией», старое над новым. Центральный образ вещи Андрей, выходец из помещичьей семьи, порвавший в годы революции с прошлым, с семьей, боровшийся на стороне рево-

люции в момент развертываемого в произведении действия советский журналист, предстает перед читателем раздвоенным человеком. «Уверенность в своей правоте и в необходимости полного разрыва с семьей» начинает казаться Андрею «фальшивой». Воспоминания о работе «в продотряде» перемежаются с воспоминаниями о детстве, о старом, дореволюционном, о «густом колокольном благовесте» и т. п. Старое, «бабушкино», «биологическое» (вся эта сыновья жалость к отцу, все это новое знакомство с братом, все эти интимные эмоции и ощущения «близкого, родного» в обликах отца, брата, людей, общественно должествующих быть далекими Андрею), все это, перекликающееся в «Сыновьях» Б. Губера с «Бабушкой» Тарусского, «Юной зимой» Н. Смирнова, — все это значительно перевешивает в произведении Б. Губера ее общественно-актуальные стороны (образ Андрея, как общественно-советского человека, образ Веры Михайловны и т. п.). «Биология», «чувство жалости», «гуманизм», чувства «нового», стихийного знакомства со старым, отцом, братом заполняют произведение Б. Губера. Художнику следует обратить самое серьезное внимание на «Сыновей» и помочь Андрею преодолеть свою изначальную дворянско-уездную «бабушкину» природу, преодолеть «биологические», «сыновние» инстинкты социальным сознанием нового человека, человека, причастного революции, каким как будто бы Губер хочет все-таки подать нам своего Андрея, иначе его произведение пройдет мимо современного читателя.

«Любовь постороннего человека» Андрея Новикова намечает (но именно пока только намечает) весьма интересный образ человека, не лишённого «большевистской живой силы». Этот образ бывшего «ремонтного рабочего», полагающего, что «человек» — «не вещество, а вечное целеустремление», стоящего не за голую «механику», а за «силу ее действия», стоящего за «разум», а не за простое «подражание действиям механизмов», этот образ, представленный А. Новиковым, является общественно весьма актуальным. Этот образ

человека, насаждавшего большевистскую власть в деревнях первого года революции, проникнут той социальной динамикой, той подлинной «большевистской живой силой», которая неустанно разрушает всяческое антиреволюционное «механическое» «блтиие». В динамическом человеке Андр. Новикова ощущается та ненависть к социальной «статике», к «механике», к «социальному окостенению», ощущается тот живой большевистский энтузиазм, которым движимы сейчас передовые ряды пролетариата в борьбе против остатков дореволюционного «механического» быта и «механических» навыков в нашей современной жизни и работе, тот социальный динамизм, который так могуче сейчас проявляется в таких явлениях, как социалистическое соревнование, рабочее ударничество, рабочая самокритика, освобождение от механического аппарата и т. п.

Дальнейшее продолжение произведения Андр. Новикова покажет, куда приведет движение его динамического человека; будем надеяться, что именно в ту сторону, куда движется «живая» большевистская «сила» нашей динамической современности.

Замечательное «Сердце» Ив. Катаева, отрывок из коего приведен в «Антологии», хорошо известно (при всех своих «плюсах» и некоторых «минусах») современному читателю. Отметим лишь один прекрасный, социально глубоко-выразительный образ пролетарского города, подлинного «сердца» нашей жизни, нашей страны, отдыхающего после трудового дня.

«Любимый мой город, надежда мира, устало дышит внизу... О, конечно, районы великого города стоят небесных созвездий!.. Этот город — мужественное сердце страны... Вся страна в движении, все отдано на потребу этому городу, — только не обмани, научи, переделай головы и сердца, дай разумную сталь и стальную мысль, перестрой жизнь так, чтобы она стала еще краше, чем сейчас, — в тысячу раз милее и краше! И город не обманет... Я ручаюсь за него! Он сделает все, что нужно...»

За недостатком места мы с сожалением вынуждены привести нашу вы-

писку только в этом сокращенном виде. Многим, многим «перевальцам» надо пристально взглядеться в этот образ, он поможет им скорее освободиться от их «уездничества», «охотничества», их социальной ограниченности, он поможет им найти подлинное «сердце», он научит их «разумной стали», приблизит их к современности, к пролетариату, он ответит их художественный взор от стихийной «древности» «небесных созвездий» (столь завораживающей сейчас некоторых «перевальцев») к подлинному настоящему.

VII

Итоги. Сборники «Ровесники» и «Антология» знаменуют собой несомненный отрыв «перевальского» творчества в значительной своей части от нашей современности.

Сборники показывают, что творческий метод «перевальцев» в значительной степени лишен необходимого художественного социологизма.

Сборники отчетливо обнаруживают «гипноз» над творческим сознанием многих «перевальцев» «биологии», неопределенного «закона произрастания», что в чистой форме проявляется в художественном культе охотничьей, природной, звериной, «произрастающей» стихии, в художественном утверждении «непобедимой древности» и вечной красоты этой стихии (Зарудин, Касаткин, Завадовский, Пришвин, стихи), в «трагедийном» отношении к этой стихийной, «первобытно-страшной и простой» древности (Ник. Смирнов, Зарудин, Пришвин, Воронский). В завуалированной форме этот «биологизм» (асоциологизм, половинчатый материализм и подчас в конечных выводах субъективный идеализм) проявляется в виде художественного романтизирования образа «чудака» (более стихийно «произрастающего», чем живущего ясным социальным сознанием) (Д. Семеновский, Г. Глинка, Колоколов, Вихрев, Павленко), далее, в виде культа чисто интуитивистского процесса творчества, в виде игнорирования социальной стороны проблемы «моцарта-сальери», в виде отрыва художника от социальной

«злободневности» (П. Слетов, А. Лежнев).

Это доминирование «биологии» над «социологией» гормозит изживание «перевальцами» — в основном интеллигентами, выходцами из уездной, сельской России — остатков специфической интеллигентско-уездной психоидеологии. Призраки детства, связанные с уездной Русью, еще манят творческое воображение некоторых «перевальцев» (все эти «Николины дни», «колокольные благовесты», «рождественские миры» и т. п. (Смирнов, Зарудин, Губер, Тарусский и др.).

Не социологичен, архаичен подход «перевальцев» (Хованской, Акульшина, Кудашева) к деревне, представляющей их художественному взору сплошной стихией, без проблесков нового сознания.

Попытки обращения к социальной, современной тематике, к художественной социологии (Ал. Малышкин, Ив. Катаев, Андр. Новиков), многочисленные в отдельности, еще слишком малочисленны для всего «Перевала» в его целом.

Более поздние, чем «Ровесники» и «Антология», теоретические декларации «Перевала» признают, хотя и далеко не полно, дефективность «Ровесников» и «Антологии». Рядом с некоторыми отдельными суждениями (борьба против приспособленческой литературы), декларация, однако, не может нас удовлетворить вполне, ибо в ней творческая самокритика развернута еще весьма слабо, нет глубокого осознания принципиального значения тех творчески-отрицательных уклонов, кои обнаружили сборники «Ровесники» и «Антология», нет подлинного марксистского социологизма, что видно хотя бы из того, что последнее заявление «Перевала» («Лит. Газета», № 15 с. г.) называет «основным методом в искусстве пролетариата» не диалектический материализм, а расплывчатый (с успехом могущий быть и идеалистическим) «динамический реализм».

«Перевальцы» должны подвергнуть себя гораздо более энергичной, чем доселе, творческой самокритике, гораздо более жестокому самоэкзамену. К это-

му их обязывают талантливость, несомненное субъективно-искреннее стремление многих из них честно служить делу пролетарской революции, наконец,

и начавшийся процесс их личного осознания дефектов и нежелательных уклонов в их творчестве.

2. К ВОПРОСУ О ПРОЛЕТАРСКОМ СТИЛЕ ¹⁾

Ф. Рогинская

1

Вопросы стиля приобретают сейчас особую актуальность. Строительство новых социалистических городов — первая предпосылка для конкретной постановки этого вопроса. Колхозное движение — вторая. Проблема стиля отнюдь не сводится только к проблеме архитектуры. В одинаковой мере это и вопрос о комплексе предметов массового потребления и проблема «интерьера», т. е. внутреннего оборудования жилья. Интерьер — самостоятельная категория, не идентичная сумме предметов массового потребления, так же, как планировка города, проблема градостроения, не является просто суммированием отдельных домов. Те же условия, которые выдвигают актуальность вопроса о новом стиле в архитектуре, имеют одинаковую силу и в отношении интерьера и в отношении предметов массового потребления. И здесь тоже предпринимаются реальные шаги. При ВЦИК создан комитет по разработке типов мебели, посуды, костюма и т. д. для массового потребления в социалистических городах. От Колхозцентра во Вхутеин поступил заказ на изготовление образцов рисунков для некоторых категорий продукции. Те же задачи решаются и в художественном совете Всесоюзного текстильного объединения, который вызвал на соцсоревнование все остальные отрасли производственных искусств. Все это подтверждает мысль, что вопрос о стиле, помимо большого теоретиче-

ского интереса, приобретает сейчас и вполне конкретное, почти злободневное значение.

2

Прежде всего надо договориться, о каком новом стиле идет речь. Каков будет стиль проектирующихся социалистических городов, совхозных и колхозных центров индустриализованной деревни и вообще всего нашего нового строительства? Будет ли это уже стиль бесклассового общества?

Если Маркс говорит о том, что в социалистическое общество перейдут остатки буржуазного права, то с тем большей уверенностью можно утверждать, что на первых порах стиль социалистического общества будет еще стилем последнего господствующего класса, т. е. стилем пролетариата. Тем более это относится к тем социалистическим городам, которые строятся сейчас и которые естественно должны быть показательными островками среди старых городов. Осуществляемые в условиях переходного времени, в условиях классового общества и классовой борьбы, они, естественно, не могут считаться выразителями социалистического стиля. Они должны осуществлять ту показательную систему социалистического жизнестроения, которую пролетариат противопоставляет другим классам, которые еще существуют в настоящее время и с которыми он ведет борьбу. Но даже на первых порах социалистического общества стиль должен будет еще содержать основные

¹⁾ Печатается в дискуссионном порядке.

особенности пролетарского стиля, так как целый комплекс старых бытовых предрассудков, старых воззрений будет еще существовать и этот стиль должен будет продолжать свои функции противостояния им.

То же самое относится и к стилю создающихся колхозных центров. Хотя в основу его ложатся, так же, как и в социалистических городах, обобществленные формы хозяйства, все же это тоже еще не будет социалистический стиль, стиль бесклассового общества. И этот стиль формируется и растет в условиях классовой борьбы в деревне.

3

Практика в отношении формирования стиля в советских условиях знает до сих пор две линии развития.

Первая особенно ощутима в национальных республиках. Взамен эклектической архитектуры «предреволюционного периода выдвигается так называемая национальная архитектура, т. е. архитектура, характерная для последнего периода национальной независимости данной народности. В Закарпатских республиках и в Прикарпатском районе именно по этой линии развития построен ряд клубов, театров и других зданий общественного назначения. Аналогичные попытки были предприняты и в Киеве, например, в связи с постройкой киевского вокзала. Но здесь эти попытки встретили энергичное сопротивление молодых киевских архитекторов. Материалы по этому делу вскрывают до некоторой степени ту почву, на которой вырастает так называемый национальный стиль.

Существовали два варианта постройки вокзала. Один в стиле украинского барокко, другой в плане железобетонной конструкции. Протокол РКИ по этому вопросу в целом ряде пунктов четко устанавливает большой экономический эффект второго варианта. Пункт «б», например, указывает, что он обойдется дешевле по минимальному подсчету на 130 тыс. рублей», а п. «г» сообщает, что этот вариант «имеет место мансард, запроектированных в украинском варианте единственно ради стиля, в боковых корпу-

сах полные светлые этажи». Затем протокол перечисляет ряд преимуществ санитарно-гигиенического порядка и возможность избежать применения дефицитных материалов, чего не допускает так называемый украинский вариант. Подробно перечислив все эти преимущества, протокол РКИ кончается, тем не менее, следующим неожиданным заключением: «Приведенные соображения являются вполне реальными, почему, следуя экономическим и практическим принципам, необходимо высказаться за осуществление нового варианта, если эти принципы признать более важными, чем необходимость отражения украинского стиля на здании вокзала в Киеве» (Разрядка моя. — Ф. Р.).

Как можно расшифровать это заключение? Только так, что, исходя не из «экономических и практических» принципов, а из принципов идеологических, следует высказаться за осуществление варианта гетманского барокко, принимаемого киевским РКИ за сто процентный украинский стиль.

Такая точка зрения может вырасти на представлении о существовании раз навсегда заданного стандартного стиля, неизменно присущего данному народу. Это — идеалистическая, совершенно ошибочная точка зрения. Возьмем, например, Францию. Что может считаться французским стилем: готика собора Парижской Богоматери, или рококо XVIII века, или здания Корбюзье и металлическая мебель современного Парижа? Ни один из них и каждый из них. Каждый из них для своей эпохи — стиль Франции¹⁾, но ни один из них не является национальным французским стилем, потому что в стиле решающим являются не национальные особенности, а общественно-политические предпосылки, тот этап социального развития, который переживает данный народом. Национальные особенности сообщают только «местный

¹⁾ Точней — господствующих классов данной эпохи. Об этом ниже.



Новый рабочий городок Армениканан (сравните с «Улицей новых домов» Бруно Таута).

колорит» этим типовым чертам. Это — основные предпосылки для суждения о стиле. Этот факт очень убедительно доказал Гаузенштейн (правда, главным образом на примере станковых искусств, в разрезе проблемы обнаженного тела, в своей книге «Искусство и общество»), когда раскрыл наличие основных родственных черт феодальных культур Европы, Азии и Америки, отделенных друг от друга и хронологически и территориально.

Тот же факт можно доказать и в разрезе бытовых искусств. Чрезвычайно отчетливо, например, общность стиля выступает в так называемых народных искусствах, т.е. в искусстве земледельческих (периода натурального хозяйства) и скотоводческих (кочевых) народов. Несмотря на ряд национальных отличий и специфических особенностей, вызванных местными условиями и климатом, доминирующими все же являются черты сходства. Эти интернациональные черты покрывают черты сходства. Эти интернациональные черты покрывают черты местных и

национальных отличий (покрой костюма, орнаментальность угвари, богатая красочность и цветистость и др.).

Если мы возьмем искусство феодальное, мы увидим и в нем совершенно очевидные интернациональные черты не только в христианских странах, где они доходили почти до тождества (замки сюзеренов, храмы, рыцарская одежда и вооружение). Даже если мы проведем параллель между феодальным востоком и феодальным западом, то и здесь основные принципиальные стилистические черты останутся общими (торжественность и роскошь культового искусства, храмовой архитектуры, замки-крепости). Очень характерен, например, тот факт, что ткани на всем феодальном западе и востоке для высших классов и духовенства изготовлялись совершенно одинаковые и по характеру своей выделки и по основному типу своей орнаментики. Это были тяжелые ткани, расшитые золотом и серебром, покрытые плоскостным растительным орнаментом. Это сходство резко порывается, когда Европа

на путь феодализма выходит на дорогу капиталистического развития, а восток вступает на предыдущей фазе развития. Тогда стилистическое сходство сразу разрыхляется.

Становясь на путь возрождения так называемых национальных стилей, союзные республики фактически становятся на путь возрождения стиля, характерного для данной страны в период тех социально-экономических отношений, которые были ей присущи в момент потери национальной независимости, т. е. в большинстве случаев на путь возрождения феодального стиля.

Объективно — это резкий путь отступления; путь назад на несколько столетий. Памятник Ленину, который поставлен в Алма-Ате, может служить характерным примером такого отступления. Здесь консервация реакционных отживших форм, находящихся в резком противоречии со смысловой значимостью памятника, выступает особенно наглядно. Имитация под старые восточные ковры, которую выложен постамент памятника, служит символом старого косного востока, в част-

ности старого косного быта. Узорный характер надписей и лозунгов на этих «коврах» виртуозно повторяет старый алфавит, который сейчас повсеместно заменяется новым и который тесно связан с культом. Так же и в архитектуре. Повторение форм дворцовых и культовых зданий объективно реакционно.

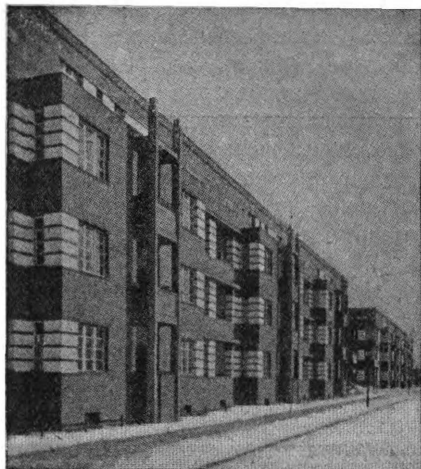
4

Не меньшим, а, пожалуй, гораздо большим авторитетом пользуется представление о том, что новый стиль должен в своих основных чертах повторять современный новаторский западный стиль. Если в первом случае в задачу возврата к старым стилям выдвигался принцип национального культурного строительства, здесь выдвигается как будто бы прогрессивный лозунг интернационализма. В действительности же применение в данном случае принципа интернационализма совершенно не оправдано. Как уже упоминалось выше, если ряд предшествовавших стилей, как готика, приобретал интернациональный характер, то этот интернациональный характер об-



Новый клуб в Ростове-на-Дону (какая разница между ним и казематом?).

яснялся общностью социально-экономических предпосылок. Между тем между современным западом и СССР не только нет общности социально-экономических предпосылок, но, наоборот, есть самое резкое противопоставление. В настоящее время эта точка зрения представляет наибольшую опасность, потому что она пользуется определенным успехом не только среди бывших «лефов» и конструктивистов, но и среди левопопутнических и даже пролетарских архитекторов и художников производственников. Например, на выставке выпускников дерево- и металлообрабатывающих факультетов Вхутеина молодые художники показали ряд проектов, подражающих западным новаторским образцам. Они дали макеты стандартной мебели для клубов, кино и т. д. из металлических составных элементов, гнутых, полых трубок. Это у нас, в СССР, при наличии огромных лесных массивов! Даже по подсчету самих авторов, и притом при массовом размножении, эта мебель будет стоить дороже, чем аналогичная деревянная, изготовленная кустарным способом. В данном случае мебельщики идут на поводу за молодыми архитекторами, которые тоже механически копируют заграничные образцы. Принципы функциональности, утилитарно-

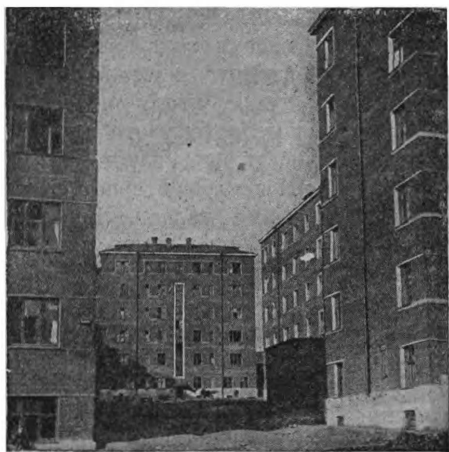


Бруно Таут (Берлин). Улица стандартных домов (см. новый рабочий поселок Арменинакан).

сти и рационализма становятся фетишами и доходят иногда до абсурда, до собственного противопоставления. Пример — мебель, выполняющая тройственные функции: кровать — шкаф — письменный стол. Это и антигигиенично и в бытовом отношении исключительно неудобно, хотя, может быть, и дешевле, чем покупка каждого из этих предметов в отдельности (интересно было бы выяснить у автора, куда надо выкладывать соответствующие вещи при очередных превращениях конструкции?). Проект шкафа — дивана — кровати давал на последней выставке и Изорам (Изо-мастерская рабочей молодежи, словособразование, аналогичное Трам).

В прошлом году со стороны этой части художников были произведены две попытки проявить свое творческое кредо уже не на бумаге, а в реальной конструкции. Здесь имеются в виду две театральные постановки: «Инга» в театре Революции и «Клоп» в театре Мейерхольда, которые с точки зрения своего оформления имели программное значение (в фойе предполагалась даже специальная выставка мелансвой продукции, с которой надлежало бороться по методам, намеченным оформлением спектаклей).

В первом случае сделана попытка показать идеальное оформление клуба



Двор на 5-ой Звенигородской улице (Красная Пресня). (Неужели эти тюремные здания — образцы пролетарского стиля?)

в современных условиях. Во втором (в «Клопе») дается представление автора оформления (правильнее было бы сказать—всего направления, выразителем которого является автор) о пролетарском стиле. Вторая часть «Клопа», как известно, происходит через 50 лет после наших дней, но еще—по пьесе—не в обстановке развернутого социализма.

В «Инге» «программа» начинается уже с клубного буфета. В костюмах подавальщиц автор пытался разрешить проблему максимальной рациональности, применив тот принцип «дуплексного» использования одной и той же



Коттэдж. Макет А. Сулек (Вена).

вещи, о котором говорилось выше в отношении мебели. Подавальщицы приступают к своим обязанностям в белых передничках и шапочках. Это, конечно, не плохо. Но зато зритель не без содрогания видит, что, окончив свою работу, они, не мудрствуя лукаво, переворачивают свои белые колпачки наизнанку и одевают их, как шляпы, а перевернув белые передники, превращают их в кокетливые хвосты юбки платья. Может быть, это и красиво,—не будем об этом спорить,—но представляем читателю судить, насколько это гигиенично и удобно. Очень сомнительное удобство представляют и стулья, несмотря на их многообразные возможности (а может быть, и вследствие этого). Чтобы продемонстрировать их, артисты проделывают самые разнообразные операции: раздвигают,

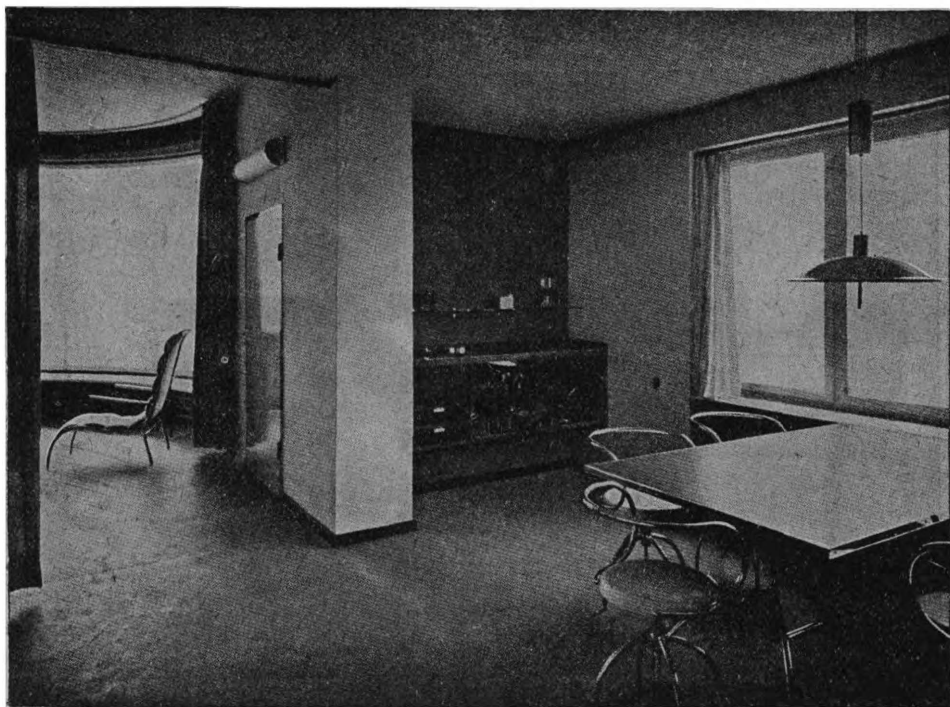
сдвигают, откидывают то сиденье, то спинки и т. д. В обычное время стулья лежат, как брусья, сваленными у стены. В момент заседания каждый рабочий бросается к стене, быстро волочит за собой стул и раскладывает его на заранее уготовленное благоразумным режиссером место. Может быть, это жизненно в театре после ряда репетиций, но легко представить, какой кавардак создавался бы на реальных заседаниях, если бы большая аудитория должна была бы каждый раз проделывать все эти манипуляции. В целом же клуб аскетически скуден, мрачен, гол и лишен красок. Непрерывные «трансформации» предметов придают его интерьеру летучесть, неустойчивость, анархичность.

Еще ответственнее постановка «Клопа». Если в «Инге» ряд неприятных мелочей можно оправдать стремлением приспособиться к нашим скромным материальным возможностям, то в «Клопе» эти «смягчающие обстоятельства» пропадают. Между тем в нем налицо все эти «мелкие неувязки». Например, мужчины и женщины носят зачем-то на голове крепко обтягивающие и закрывающие уши шапочки даже в закрытом помещении. Женщины одеты по последнему крику парижской моды. Мужчины—в какие-то ливрейные костюмы сомнительной красоты и еще более сомнительного удобства (например, у хирургов такие длинные рукава, что, умываясь перед операцией, им приходится все время судорожно их обтягивать). Приходится останавливаться на этих мелочах, потому что они программны, потому что удобство и рациональность признаются здесь единственным критерием правильного решения задачи. Но дело в конце концов не в этих мелочах, а в общей принципиальной установке этого оформления. Неужели кто-нибудь может всерьез предполагать, что эта эстетика рабочего дома, эта тоска оголенных стен, эта холодная пустота жилья и аскетический костяк в его оборудовании есть подлинный стиль пролетарского искусства, да еще пролетарского искусства на грани завершенного соци-

ализма. Ведь по существу такое оформление может быть использовано как агитация против социализма, потому что оно перекликается с обывательским представлением о его сущности. То, что естественно и нормально в условиях капитализма последней формации, то звучит вопиющим противоречием как образец пролетарского стиля.

ные быть образцами нового жизнестроения, они кажутся воплощенными казармами дореформенной эпохи.

На примере строительства новых клубов можно убедиться в малой эффективности принципа «голой» функциональности в смысле дифференциации облика зданий. Если же архитекторы пытаются придать известную специфичность, своеобразие своим



Интерьер, типичный пример новаторского западного стиля

Но в конце концов театральная постановка при всей своей программности остается театральной постановкой. Гораздо существеннее те печальные опыты, которые реализуются в жизни. Я имею в виду здесь целые кварталы новых кооперативных рабочих домов, выросших в наших индустриальных центрах, мрачные ряды тюремно-казарменных зданий, создающих настроение беспросветного уныния (см. рис.). Они значительно безотрадней даже своих западных первоисточников (см. рис.). Как всегда, эпигоны «перебарщивают»!

За что агитируют их здания? Целые островки среди старых городов, долж-

строениям, они тотчас же забывают о социальной функциональности, о специфичности задач советского рабочего клуба, как средства воспитания коллективистических навыков.

Пример—клуб коммунальников, в котором архитектор Мельников разделяет по сверхаристократическому принципу балконы и галереи в клубном театре друг от друга капитальными стенами.

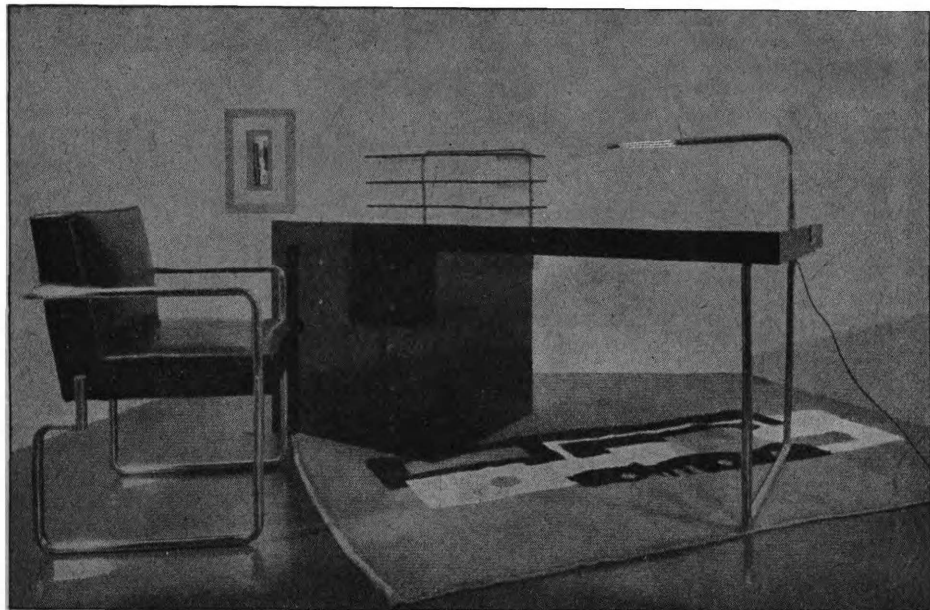
Даже буржуазные театры демократичнее!

Самую большую опасность искажения социальной функциональности представляет тогда, когда оно осу-

оществляется при социалистическом градостроении. К сожалению, эта опасность вполне реальна. В марте 1930 года в Москве демонстрировались проекты Магнитогорска и проекты грандиозных домов-коммун для Сталинстроя. Здесь можно было убедиться, к каким результатам приводит раболопное преклонение перед Западом. Проект Магнитогорска, представленный Мосстроем (архитектора — ОСА), построен целиком по

чтобы понять его в том смысле, что города будут созданы по образу и подобию самых отсталых форм деревни (цепь отдельных изб). Не город превратится в примитивную деревню, а и город и деревня придут к новым формам социального бытия. Это первоначально. Это — общее место, не нуждающееся в доказательствах.

Но даже в тех проектах, где основной жилой единицей являются дома-коммуны с большим общественным



П. Барб (Париж). Письменный стол с настольной лампой и кабинетное кресло.

принципу коттеджной архитектуры. Маленькие одноквартирные домики вытянуты в одну длинную многоверстную улицу. За игрушечной рациональностью одноквартирного домика, оборудованного по последнему слову техники, авторы проглядели не более не менее как классовую рациональность и целеустремленность строительства соцгородов. «Немало не сумняшеся», для оправдания своего индивидуалистического проекта они выставляют, как щит, слова Маркса и Энгельса о том, что при социализме сотрется грань между городом и деревней. Никто не сомневается в правильности этого положения. Но насколько надо быть исключенным из нашей эпохи,

сектором (столовые, ясли, физкультурные залы и т. д.), сохраняется тот же фетишизированный принцип голого абстрактного утилитаризма и практицизма при проектировании внутреннего оборудования жилья. Чрезвычайно существенно и печально, что тот же подход налицо и в проектах ВОПР, (т.е. Всесоюзного объединения пролетарских архитекторов). Оборудование жилой ячейки — откидной столик на металлической ножке, аналогичный стул, диван-кровать — все это заимствовано в проекте ВОПР из заграничной литературы с значительным заострением в сторону казематного вагонного характера.

Надо прежде всего указать на явную

недостаточность лозунгов рациональности и функциональности в применении к пролетарскому стилю. Сами по себе они не вызывают, конечно, возражений, так как соответствие данного предмета выполняемой ими функции, наибольшая экономичность и удобство конструкции — это те основные требования, которые необходимо предъявлять и ко всякому сооружению и ко всякому предмету бытового потребления. Но если сами по себе эти условия необходимы, то они ни в какой мере не достаточны. Под подобными бесцветными и бесклассовыми формулировками с удовольствием подпишется и подписывается любой буржуазный художник и теоретик искусства. В них нет специфичности пролетарского стиля. Если все задачи художника свести только к этим лозунгам, они могут послужить рассадниками искусства, совершенно чуждого пролетарскому.

За примерами ходить недалеко. Именно под этими лозунгами растет новаторское западное искусство, которое представляет собой характернейший образец искусства капитализма последней формации. Оно отворачивается от всяких изобразительных моментов. Не только станковая картина изгоняется из жилища (некоторые исключения делаются для беспредметной живописи). Не только



Головные уборы 1760 года. Высота практически доходила до 1,3 метра.

фреска не находит себе применения. Даже и в отношении производственных искусств выбрасывается лозунг — «форма без орнамента». Все образные, все изобразительные, все идеологические возможности искусства отсекаются. Взамен выдвигается культ техницизма, фетишизм рационализации, практицизма и делячества. Очень важно отметить, что практически они приводят не к рациональной, с точки зрения бытового использования, конструкции, а к обнажению, к нарочитому раскрытию конструктивной основы, конструктивного скелета и всех предметов потребления и в архитектуре. Не случайно ведь в архитектуре сейчас стали появляться среди комнат колонны, поддерживающие потолок. По существу архитектура находится на такой стадии развития, когда она может давать достаточно большие пролеты без внутренних подпорок. Только стремление выпятить конструкцию заставляет художника воздвигать колонны там, где они по конструктивному смыслу отнюдь не необходимы. Тот же разлад с подлинно-рациональным применением налицо и в мебели. Например, вряд ли кто-либо станет отрицать, что железная мебель чрезвычайно неудобна — холодна зимой, накаляется летом. Но зато она лучше всего дает «скелет» конструкции. Целый ряд неудобств представляют и жесткие кожаные сидения. Вряд ли также те образцы посуды, которые приводятся на



Моды французской аристократии эпохи Людовика XVI.

специальных выставках, могут считаться удобнее бытующей посуды. Больше всего они напоминают по одной или лазарётную посуду.

Этот мобилизационный характер, этот походный отпечаток понятен и характерен именно для западного стиля, являющегося детищем своей эпохи, стилем буржуазии последней стадии развития капитализма.

Капитализм переживает сейчас период все более и более ожесточенных боев с наступающим пролетариатом. Чтобы удержать «омандные высоты, ему нужно величайшее напряжение делового темпа. Он отбрасывает поэтотому ненужную ему сейчас мишуру старых дворянских стилей, которые еще совсем недавно обладали для него большим обаянием, и, засучив рукава и сжав зубы, сражается не на жизнь, а на смерть. А так как исход этой борьбы предрешен, — отсюда проистекает величайший пессимизм этого искусства, не знающего, по словам Меринга, «такого выхода из нужды, который доставил бы ему радость». Вот какой социальный смысл, резко противоположный пролетарскому искусству, фактически приобретают, казалось бы, невинные лозунги «голового» утилитаризма и техницизма.

5

Теоретически вопрос о стиле почти совершенно не разработан марксистским искусствоведением. Ряд книг, затрагивающих эту проблему, дает противоречивое решение. Интересная в своей парадоксальности книга т. Иоффе «Культура и стиль», абстрагируясь от содержания и от формы, трактует понятие стиля как культуру того или иного материала. В понятие материал включается даже представление о слове, т.е. литература, например, трактуется с точки зрения культуры слова, как материал, — подход, в данном вопросе близкий к позиции формалистов. «Даже теория, — указывает Иоффе, — есть применение и обработка одного материала, как средство фиксации и передачи приемов обработки другого

материала». Подход к стилю с точки зрения идеологии встречает с его стороны самый резкий отпор: «Впадают в идеализм те из марксистов, — утверждает он, — которые расценивают произведение (искусства. — Ф. Р.), как явления содержания, смысла, как сгустки психологии и т. д.». «Надстройка, — по его мнению, — так же материальна, как и база, и для постройки ее так же требуется материал и человеческий труд, как и для базы. Только культура этих материалов вторична и дополнительна к базовым». Он заходит даже дальше и утверждает, что вообще духовная деятельность квалифицируется как высшая форма деятельности только у буржуазии и аристократии. В конечном итоге социализм согласно такой концепции вырастает в какой-то маниакальный, непрерывный производственный процесс. Естественно, что при такой «своеобразной» трактовке трудно ожидать от книги т. Иоффе правильной установки в вопросе о формировании пролетарского стиля. Надо полагать, что оформление «Клопа» вполне «созвучно» с ее безнадежно-унылой установкой на социализм.

Ряд интересных материалов содержит книга т. Маца «Искусство эпохи зрелого капитализма на Западе». Но использованию ее, как руководящего материала, мешает представление автора о сущности смены стилей. В его представлении стиль капиталистического Запада — это и есть в зародышевом состоянии в основных своих чертах стиль пролетариата. Этот зародышевый пролетарский стиль не может должным образом развиваться, так как вступает, по его мнению, в «неразрешимое в пределах капиталистического производства противоречие». «Ибо, чтобы при условии капитализма сделать стандартные вещи массовыми, необходимо снизить качество материала или заменить их суррогатами. В этом случае форма, созданная в качестве естественно иного материала, снова превратится в декоративный элемент... (рярядка моя. — Ф. Р.) Это — одно. Второе — превратившиеся в массовую продукцию стандартные формы теряют свою привлекательность для верхушки общества, и

начинается разложение стиля и по другой линии».

Итак, основная беда в том, что «форма, сделанная в качественно ином материале, снова превращается в декоративный элемент. Следовательно, если бы их размножили, сохраняя первичный материал, т. Маца благословил бы эту трансплатацию. Соображения тов. Маца, как видим, приводят к выводу, что пролетарский стиль не включает никаких принципиальных расхождений с основами западного буржуазного стиля.

Такая постановка вопроса у т. Маца — не случайность. Он великолепно понимает, что стиль, формирующийся на современном Западе, — классовый стиль, характерный для капитализма последней фазы развития. Он даже определяет его рационализм, как «рационализм эксплуататора», правда, оговариваясь: «в самом широком смысле этого слова». И если он все же ставит вопрос таким образом, это проистекает потому, что он долагает, что всякий последующий стиль уже «задан» в зачаточном виде в последней стадии развития предшествующего (не что в роде игрушечных яиц, вложенных одно в другое). В значительной степени вся его книга строится на этом положении. Этот эволюционизм верен в отношении процесса смены стилей одного класса, особенно на том сравнительно коротком участке его развития, который охватывает книга т. Маца («искусство зрелого капитализма», начиная от импрессионизма). Но тот же эволюционизм неверен и ошибочен, если его применять к смене стилей, происходящей вместе с коренной сменой социальной структуры общества, т. е. эволюционизм неверен, если его применять к смене стиля одного класса, стилем другого класса.

Плеханов, например, придерживался в данном случае точки зрения, противоположной эволюционизму. Он полагал, что каждый класс в силу своего экономического положения является носителем своих представлений «о хорошей жизни, как она должна быть», и выводил отсюда разность и противоположность

эстетических представлений разных классов. («Эстетика Чернышевского»).

На это очень четко указывает Гаузенштейн, несмотря на то, что именно он подчеркивает влияние буржуазии и на живопись рококо. «Классицизм — насквозь буржуазное направление искусства» — указывает Гаузенштейн. «Искусство Давида — это искусство буржуазного радикализма французской революции». «Рационалистический элемент... характерно начинается с прямой борьбы против сенсуалистической горячки общества рококо». «Нападают не только на прошлость Буше, не только на его эротическое щекотанье. Нападают на гораздо большее. Подразумевается весь образ жизни общества рококо. Подразумевается то, что у него осталось от барокко, мистический ореол монархии, упоение церковью, претензии дворянства, которое окружает себя и свою любовную жизнь мифологией, чтобы защитить себя от профанирующих взглядов скептического третьего сословия. Давид совершенно открыто признается, что его нерасположение носит не только эстетическое, но социально-эстетическое значение. Его гнев относится к эпохе, когда искусство служило только для удовлетворения надменности и капризов нескольких сибаритов, засыпанных золотом».

Как видим, не эволюция, а противное положение, мотивированное, как и у Плеханова, тем, что каждый класс несет с собой свое представление «о хорошей жизни, жизни, какой она должна быть».

Если пользоваться биологическими терминами, — здесь происходит не эволюция, а разрыв эволюции, мутация, которая кладет начало новому эволюционному (для данного класса) ряду. И эта «мутация» характерна отнюдь не только для живописи. Архитектура, мебель, костюм женский и мужской — все они претерпевают ту же «мутацию».

Так же решается вопрос о смене стиля капиталистического Запада стилем пролетариата. Если действительно известно влияние пролетарских элементов на формирование капиталистиче-

свого стиля и имеется, то все же этот стиль так же мало превратится в стиль революционного растущего и побеждающего пролетариата, как рококо, несмотря на вливание буржуазной крови, не превратился в стиль революционной буржуазии.

6

Когда мы говорим о стиле рококо или вообще о стиле какой-нибудь данной эпохи, мы до сих пор еще по традиции, оставшейся от идеалистического искусствознания, говорим о нем, как о единстве, предполагая существование единого синтетического стиля, пронизывающего данное общество через все его социальные слои, являющегося своего рода «равнодействующей» жизни данного общества. Распространение стиля предполагается через всю толщу классовых и сословных перегородок, не только по горизонтали, но и по вертикали.

Эта точка зрения нуждается в решительной переоценке. Стиль каждой данной эпохи в классовом обществе — не единство, а диалектически взаимодействующая система. В каждом данном классовом обществе сосуществует несколько классовых стилей, т. е., если придерживаться предыдущего сравнения, вертикальный разрез через толщу дал бы представление о нескольких стилевых слоях, при чем основная сфера каждого стиля распространяется по горизонтальной плоскости своего слоя. Это не значит, конечно, что стили данной эпохи представляют параллельные ряды, независимые друг от друга. Между ними существует и взаимообусловленность и взаимодействие.

Придерживаясь теории единого стиля, мы фактически говорим постоянно о стиле господствующего класса, протгдывая стили остальных. Все буржуазное музейное строительство историко-культурного порядка строилось именно по этой линии. Собирались только специфические художественные раритеты даже в музеях типа Исторического. Поэтому, когда сейчас Исторический музей хочет

восстановить бытовой комплекс купечества 30—40 годов XIX в., несмотря на сравнительно небольшой период, отделяющий нас от этой эпохи, он не может достать эти материалы со сколько-нибудь исчерпывающей полнотой.

Остановимся на самом факте существования нескольких стилей. Вряд ли кто-нибудь решится утверждать, что стиль придворного дворянства, в формах которого традиция представляет екатерининскую Россию, был действительно единственным стилем своей эпохи. На ряду с ними существовал, например, вполне четкий стиль крестьянства и, быть может, именно этот крестьянский стиль был характерен для данной эпохи. Во всяком случае, народный лубок того времени столь же показателен для характеристики эпохи, как и придворная портретная живопись. В России можно говорить о «наносном» стиле верхушки придворного дворянства. Но и пресловутый стиль предреволюционного французского дворянства, столь пламенно воспетый «Миром Искусства», отнюдь не был универсальным стилем предреволюционной Франции. Он также был характерен для аристократии, и то лишь для определенных ее слоев. Купечество Островского, несомненно, имело определенный и стойкий стиль, но этот стиль отличался от других классовых стилей своей эпохи, от стилей, например, промышленной европеизированной буржуазии и бюрократии и от стиля крестьянства.

Помимо четко сложившихся классовых стилей, каждая эпоха знает стили формирующиеся и стили промежуточные, переходного характера, тяготеющие к другим стилям.

Но, так же, как в биологии, наличие промежуточных стадий, стирающих на низших ступенях грани между животными и растениями, не мешает установить деление на животный и растительный мир, так же и в этой области наличие соприкасающихся участков не должно мешать утверждению основного положения о том, что не существует в классовом обществе единого стиля, а каждая данная эпоха являет-

ся системой диалектически взаимодействующих сосуществующих стилей. Представление о наличии единого стиля базируется на том, что до сих пор объектом изучения было искусство и обиходовое быта господствующих классов.

Конечно, «сосуществование» данных стилей именно в данную эпоху не случайно. Оно выражает общественно-экономическое отношение своей эпохи, в частности и классовую борьбу. Нельзя представить себе, чтобы стиль двора Екатерины сосуществовал, скажем, со стилем американского фермерства, потому что оба они — порождение разных общественных структур. Одинаково невозможно предположить, чтобы современный капиталистический стиль сосуществовал со стилем екатерининского крестьянства.

Стилевая система каждой данной эпохи не находится в состоянии равновесия. Стиль растущего класса претерпевает наибольшие изменения. Поскольку такой растущий класс становился впоследствии господствующим и оставался господствующим даже и тогда, когда склонился к упадку, естественно, что он оставался в центре внимания при изучении проблемы стиля. Новая фаза социального развития выводит из равновесия новый классовый стиль. Например, бытовой стиль русского торгового купечества остается в течение чрезвычайно продолжительного времени одним и тем же. Только переход к промышленному капитализму резко видоизменяет его характер. Стиль крестьянский, так называемый народный, остается почти неизменным в течение ряда столетий, пока он вырастает на базе расплывчатого индивидуального хозяйства, пользующегося примитивными методами земледелия. При переходе к более высоким формам земледелия благодаря применению машин и т. п. он теряет черты народного искусства (американское фермерство, определенные отряды европейского крестьянства). Сохранение стиля при изменении социально-экономической роли данного класса возможно только искусственным путем.

Представление о едином стиле, определяющем данную эпоху в целом, затушевывает те основные идеологические функции, которые выполняет каждый стиль.

Какие же функции выполняет стиль в классовом обществе? Это функции двух родов.

Когда так называемый «дикарь» покрывает свое лицо и тело боевыми красками своего племени, в этом поступке уже заключены основные черты стиля, как средства, связующего отдельных членов одного и того же клана, и стиля, как средства размежевания от членов других кланов. В классовом обществе эти особенности переносятся не на членов своего и враждебного кланов, а на членов своего класса и других классов. Стиль каждой данной эпохи и выполняет эти две основные идеологические функции. Первая — функция классового размежевания, вторая — функция внутривидовой солидарности и взаимопомощи. Возьмем, например, стиль дворянства XVIII в. под углом зрения классового размежевания. Мы увидим, что он выполнял эти функции с величайшей активностью.

Вспомним, например, грандиозные сооружения причесок (см. рис.), огромные кринолины на металлических обручах (см. рис.), делавшие совершенно невозможным выполнение самых несложных трудовых процессов и требовавшие огромных апартаментов. Мебель, кушеточки и козетки меньше всего были приспособлены для отдыха (лечь во весь рост на них нельзя было). Даже костюм мужчин, коротенькие панталончики, требовавшие шелковых чулок, были своего рода символом привилегированного положения. Каутский в своей книге «Противоречие классовых интересов в 1789 г.» указывает, что «совершенно неправильно переводить «санкюлоты» словом «голоштанник». «Silottes» — это короткие, доходящие только до колен панталончики, составляющие одежду высших сословий; те же слои населения, из которых рекрутировались санкюлоты, носили длинные брю-

ки на современный образец и за-служили себе потому от аристократов презрительную кличку «санкюлоттов».

Эволюция моды вообще больше всего расширяется под углом зрения классового размежевания со стороны господствующих классов. Гроссе указывает, что в племенах, не знающих социальных привилегий, мода неподвижна, как вода в болоте. Но и в классовом обществе изменение моды характерно в первую голову именно для господствующих классов. Народный стиль, например, не знает моды. Крестьянское платье у целого ряда народов в течение столетий остается одинаковым (так называемый национальный костюм).

Если в стиле французской аристократии XVIII века преобладали черты классового размежевания, в стиле современного капитализма наглядней черты внутриклассовой взаимопомощи, взаимомобилизации. Это, конечно, не случайно. Аристократия эпохи, предшествовавшей французской революции, была внутренне разложившимся классом, неспособным к ютпору, в течение очень продолжительного времени оторванным от каких бы то ни было производительных отраслей труда и к тому же совершенно развращенным и дезорганизованным благодаря своей роли прихлебателей двора. Современный капитализм — гораздо более серьезный противник. Он держит в своих руках средства производства и склонен самым реальным образом защищать свои имущественные интересы. Отсюда — его интересы в направлении стиля обращены не к тому, чтобы создать завесу, импонирующую внешним образом наступающим на него врагам, а к тому, чтобы содействовать мобилизации имеющихся в его распоряжении сил. Кроме того, сравнительно высокий уровень массовой культуры ослабляет воздействие внешне импонирующего, костюма и антуража со стороны развенчанных уже в представлении масс господствующих классов.

Царь, усыпанный драгоценными камнями и одетый в специальное торжественное одеяние, мог чрезвычайно им-

понировать, скажем, в древней Руси или в какой-нибудь восточной деспотии. Но если бы сейчас короли появлялись на улицах в таких облачениях, вместо благоговейного восторга они вызвали бы только насмешки. Это не значит, что стиль перестал выполнять функции классового размежевания. Более тонкими методами, но совершенно те же функции выполняет и стиль современного капитализма. Весь он обращен к тому, чтобы показать себя эксплуатируемым классам в полной боевой готовности, чтобы показать себя способным в любой момент дать жесткий отпор всяким погрозновениям на его господство.

Обе эти функции — функция классового размежевания и внутриклассовой взаимопомощи — пользуются методами классовой агитации. Тот же антураж и костюм и прически французского дворянства XVIII века не только пролагали грань между ним и народом, но еще и агитировали за то, что обладатели и носители их являются людьми высшей породы, служили одним из средств содержания этого народа в известном почтении и трепете. Те же задачи выполнял и русский боярский костюм, например, аршинной высоты меховые шапки. В огромной степени функции агитации выполнял костюм духовенства и весь церковный антураж, строго регламентированный даже особыми постановлениями. Даже Петр остановился перед овященным традицией костюмом духовенства. Характерным примером стиля, обращенного к задачам внутриклассовой взаимопомощи, может служить мелко- и среднебуржуазный стиль. Хаосу и беспорядочности экономических отношений капиталистического мира, ожесточенной борьбе за существование он противопоставляет ажурность, уравновешенность, спокойный уют, полное отсутствие резких граней, мягкое ощущение покоя и благополучия. Эти черты очень ярко выражены в архитектуре и интерьере фламандского искусства и в бытовом антураже мелкобуржуазного стиля. Именно этим путем они осуществляют функции внутриклассовой помощи.

Целям внутриклассовой солидарности служили сословные и классовые костюмы. Сейчас эта роль костюма стирается. Между бытовым платьем буржуазии и пролетариата — мужским и женским — становится все меньше отличий. Однако, даже современность дает достаточно примеров подобного использования костюма. Остановлюсь на двух: костюм германского ротфронта, носители которого подвергаются таким суровым репрессиям, и костюм фашистский. Каждый из них служит целям консолидации своих классовых сил.

Признавая «заданный» нам стиль социалистических городов и коллективизированной и индустриализированной деревни стилем пролетарским, стилем классовым, мы тем самым, естественно, признаем за ним все специфические условия формирования и все функции классового стиля. Признаем не в целях статистики и регистрации, а для того, чтобы нащупать отправные пункты для целеустремленности исканий в этой области.

Остановимся прежде всего на специфичности условий формирования стиля в классовом обществе, т. е. на факте наличия в нем нескольких стилей. С какими стилями реально приходится сталкиваться и бороться растущему пролетарскому стилю? Прежде всего и раньше всего с мелкобуржуазным стилем. То, что мы обычно называем мешанством, безвкусицей, гумовской и сухаревской продукцией и т. д., и т. д. — это не результат безграмотности или некультурности, не досадное недоразумение, не имеющее под собой конкретной почвы. Такое отношение к этому комплексу предметов было бы чрезвычайно ошибочно. Мы сталкиваемся здесь с реально и конкретно сложившимся мелкобуржуазным стилем, обладающим определенной силой воздействия даже на пролетарские и близкие к пролетариату слои. (Вспомним хотя бы случай, когда специальная сухаревская витрина, показанная на выставке в большом рабочем клубе имени Кухмистерова, как отрицательный материал, вызвала большой живой интерес рабочего зрителя, значительно пре-

высивший интерес к основной экспозиции, к выставке художников РОСТ.) Этот мелкобуржуазный стиль является реальным противником еще и потому, что до сих пор он господствует в наших массовых производствах и имеет горячих приверженцев среди торгующих и производственных организаций, являющихся распространителями массовой продукции. Наконец, этот же мелкобуржуазный стиль — со специфическими поправками — характерен и для кулацких слоев деревни.

Далее мы имеем так называемый народный стиль, который в значительной своей части находится в состоянии распада под влиянием роста новой деревни. Специфический народный костюм, например, становится все больше и больше лишь праздничным одеянием. Многочисленные промыслы, — производные от народного стиля, — существуют главным образом за счет экспорта, а не за счет широкого внутреннего потребления. Свое бытовое значение они сохраняют только в наиболее отсталых районах.

По-иному обстоит в национальных республиках, особенно на Востоке, где старые национальные стили еще прочно бытуют и элементы их становятся порой для реакционных групп символами старого быта, разрушаемого революцией. Вспомним хотя бы широкую борьбу против паранджи, за снятие которой убита не одна женщина Востока. Как уже говорилось выше, и значительная часть нового строительства в союзных республиках идет за счет возрождения форм старых феодальных стилей. Наконец, хоть это и звучит парадоксально, молодые отряды наших архитекторов и художников-производственников, даже лево-попутнические и пролетарские, являются фактически в значительной части своей продукции проводниками западных буржуазных влияний. Вот основное стилевое окружение и основные стилевые тяготения, через зону которых должен пролагать себе дорогу пролетарский стиль и которым он должен не только противостоять, но и преодолеть их.

Какими средствами будет пролетарский стиль выполнять основные свои

идеологические функции — функции классового размежевания и функции внутриклассовой взаимопомощи?

Было бы, конечно, неуместно пророчествовать уже сейчас о том, какие формы примет выкристаллизовавшийся пролетарский стиль. Этот вопрос остается еще открытым и для всех видов искусства. Но можно наметить несколько отправных пунктов.

Опорными пунктами его будут не твердыни культовых храмов, не коттеджная архитектура, по английскому принципу «мой дом — моя крепость»; не казарменные ряды доходных домов, приукрашенных унылой косметикой фасадной архитектуры, характерные для буржуазных городов XIX века; не стандартные «коробочные» цепи улиц нынешних рабочих поселков Запада и не камерно-ватонные поселки, к сожалению, строящиеся у нас в последние годы благодаря «левым» архитекторам. Опорными пунктами будут дома-коммуны с широким обобществленным сектором, с физкультурными залами и столовыми, яслями и т. д., дома-коммуны, обнесенные широкими зелеными насаждениями. Такие дома-коммуны приведут к совершенно другому типу города. Исчезнут тесно прижатые друг к другу беспросветные ряды каменных громад, одной стеной выходящие на свет, а другими обращенные в темные закоулки.

Принцип домов-коммун — это основной социально-политический принцип нового строительства, городского и деревенского. Отправляясь от него, намечаются основные вежи развития и архитектуры и интерьера, и комплексы бытовых искусств.

Именно они и будут в наибольшей степени воздействовать обеими идеологическими функциями классовых стилей. Как они их будут осуществлять? Прежде всего, стиль их будет чрезвычайно оптимистический стиль, олицетворяющий оптимизм класса, несущего освобождение всему человечеству. Оптимизм его должен сказываться во всем — в формах архитектуры, в колорите и в формах всех предметов и т. д. Он также будет отличать-

ся от нового буржуазного стиля Запада, как настроения и песни наступающей и побеждающей армии от настроения и песен отступающей и побежденной.

Этот оптимизм не будет единственной его специфической чертой. Стиль, вызывающий к громадным коллективам, стиль класса, создающего все величие и правоту своей социальной роли, должен обладать пафосом высокого напряжения. Вот это-то соединение оптимизма и под'ема в высокой степени будет служить задачам внутриклассовой солидарности, давать зарядку и бодрость в борьбе.

Но этого основного эмоционального тонуса Пролетарский стиль использует, конечно, и до оружие, которым пользовались до него предыдущие стили, а именно — средства агитации и пропаганды, и использует их гораздо полней своих предшественников. Если буржуазное искусство «не знает такого выхода из нужды, который доставил бы ему удовольствие», то пролетарское искусство знает такой выход. Поэтому, если буржуазное искусство отсекало для себя сферу образного воздействия, начиная со станковых форм искусства, кончая лозунгом «форма без орнамента», пролетарский стиль все изобразительные образные возможности обратит для воздействия на массы. Этими способами он будет воздействовать, борясь с враждебными ему классами. Их же он обратит на внутриклассовую агитацию и на агитацию по направлению к близким ему слоям. Отказаться от образного воздействия — это для пролетариата значит вступить на путь идеологического разоружения в этой области. Поэтому и агитационно-озабоченная, тематически значимая станковая живопись, и фреска, и максимальное использование в тематическом разрезе всего комплекса производственных искусств — естественная особенность пролетарского стиля.

Вполне своевременно поэтому вслед за текстильщиками и мебельщиками выдвигают вопрос об изобразительных

поверхностях в мебели (газета Вхутеина).

Будет ли благодаря этому пролетарский стиль вступать в противоречие с принципами экономичности и рациональности конструкции? Конечно, нет. В противоположность западному стилю,—который фактически является анти-утилитарным, выражающим дух прагматизма и делачества через посредство обнажения конструктивного скелета,—стиль пролетарский будет исходить из предпосылок социальной целесообразности, используя и приспособляя для нее все достижения производственной экономичности и рациональности.

Критерием функциональной оправданности для него будет служить не абстрактно взятое соответствие материала и формы, о нарушении которого при переходе к массовому размноже-

нию скорбит т. Маца, а соответствие и материала и формы тому социальному бытию, которое данной вещи предстает. От принципа массового стандартного размножения было бы также нелепо отказываться, как, скажем, отказываться от тех возможностей ежедневно выпускать газеты огромными тиражами, которые являются следствием высокого уровня современного механизированного печатного производства. Но эти массово размножаемые элементы будут использоваться так же, как газета использует свои страницы, т.е. они будут не социально-немыми техническими единицами, а, выполняя свою бытовую функцию, они будут выполнять и те идеологические функции, которые присущи каждому классовому стилю.

3. В. ХЛЕБНИКОВ И ФУТУРИЗМ

(К выходу II тома собр. соч.)

И. Поступальский

1

Принадлежность поэта к тем или иным пластам истории далеко не всегда определяется его политическими воззрениями, его прямым гражданским исповеданием. Есть поэты, общность которых с временем можно доказать только после полного, всестороннего изучения. Но мы не сделаем ошибки и никак не огрубим тему, если, исходя из того, что первые стихи В. Хлебникова рождаются в годы русско-японской войны и в период близлежащий, раньше всего обратимся к политическим инвективам поэта. Одной из этих инвектив, кстати, второй том и отщывается:

Мы желаем звездам тыкать,
Мы усали звездам выкать,
Мы уважали сладость рыкать.
Будьте грозны, как Острица,
Плагов и Багьянов,
Полно вам клеваться
Роже бусурманов.
Пусть кричат вожаки,
Плжонте им в зежки!

Будьте в вере крепки,
Как Морозенки!
О, уподобьтесь Святославу, —
Врагам сказал: иду на вы!
Помержнувшую славу
Творите, северные львы.
С толпою прадедов за нами
Ермак и Ослябя.
Вейся, вейся, русское знамя,
Веди через сушу и через хлябы!
Туда, где дух отчизны вымер
И где невери в пустыню,
Идите грозно, как Владимир.
Или с дружиною Добрыня.

Стихи эти, написанные около 1906 г., до сих пор остаются в основном фонде поэта. Тем знаменательнее их характер. Произведение, необычайное по своему языковому составу и по своим ритмическим признакам, в действительности соответствовало тому периоду русской общественной жизни, который ознаменовался крушением завоевательных планов отечественного самодержавия на Дальнем Востоке и на ряду с тем оказался вступлением русского империализма в агрессивную фазу. И речь пойдет не об одном сти-

хотворении. Целый ряд молодых произведений В. Хлебникова крепкими тросами связан с пафосом того времени, с активным шовинизмом, с подновленным славянофильством, с захватническими устремлениями правивших в ту пору классов. Намеренно задержимся на этом этапе, проследим на конкретном материале отношение молодого поэта к русско-японской войне.

В начале этой войны отечественная поэзия развивалась под лозунгом «шашками закидаем». Когда ж японцы разгромили православное воинство, когда подержанный российский флот почил в чужих водах, когда провалилась затея с Квантунским полуостровом и «брато-океаном», — обстановка изменилась. Большинство стихотворцев стыдливо умолкло, другие стали ждать у моря погоды, третьи прельстились мистикой и эротикой. Недавний патриот Брюсов устремился к первой революции. А В. Хлебникову, пришедшему позже, досталась только тема реванша. Разберите хотя бы такие стихотворения, как «Были вещи слишком сини», «Олень», «Памятник», «Алферово». В первом из них — крик о мщении, ничем не приглушенный («мы клятву даём: вновь оросить своей и вашей кровью сей сияющий, беспредельный водоем... бледнейте, смуглые японцев лица!...») Во-втором — в символическом образе оленя, во время бегства превратившегося во льва и показавшего «искусство трогать», тот же мотив. «Памятник» (предвосхитивший выдумку Маяковского в «Последней петербургской сказке») — не менее яростная вещь. Как же: во время сраженья при Цусиме «стоявший на берегу пустынном всадник» ринулся к своим. «И русским выпал чести жребий: на дно морское шли японцы». В это время в Петербурге на Знаменской площади люди беснуются вокруг пустого пьедестала. После же паденья из облаков «того, кто в могиле синей закопал врага», статую Александра III везут в участок, где предписывают ей к сокрушенью поэта впредь пребывать на площади «без гривы, дела, куцо». Когда же мы подходим к «Алферову»,

то и там замечается та же линия, но уже в ее откровенном завершении.

...Над пропастью дядя оскал,
Когда русские брали Гуниб.
И от раны татарскою шашкой стежал
Ручей. — Он погиб.
То бобыли, то масть вороняя
Под гулкий звог подков
Носила седоков
Вдоль берегов Дуная.
Копюшен дедовских копыта,
Шагами русская держава
Была походами покрыта,
Товарищами славы.
Тот на Востоке служил
И, от пули смертельной не сделав
изгиба,
Руку на сердце свое положил
И врагу, улыбаясь, молвил «спасибо».
Теперь родовых его имений
Горят дворцы и хутора.
Ряды усадебных строений
Всю ночь горели до утра...

У Гумилева в «Чужом небе» есть превосходное в своем роде стихотворение о «туркестанских генералах», которым памятли «поля неведомой земли и гибель роты несчастливой, и Уч-Кудук, и Киндерли, и русский флаг над белой Хивой». Приведенные стихи В. Хлебникова внутренне аналогичны «Туркестанским генералам» и даже создавались едва ли не одновременно. Но «Алферово» интересно еще и тем, что здесь после оригинального панегирика «русской державе» появляются строки о крестьянских восстаниях 1905 года, и строки очень прочувствованные, проникновенные...

2

Творчество В. Хлебникова на протяжении первого десятилетия пыталось преимущественно реакционнейшими идеями и эмоциями. При чем приходится сразу же отметить, что молодой В. Хлебников в конце концов как-то нарушает нашу обычную концепцию, по которой русский футуризм является конгломератом хотя и индивидуально несхожих, но в основном только буржуазных эстетических величин. Первые шаги Хлебникова — шаги поэта, не оторвавшегося еще от дворянского, усадебно-деревенского быта...

Вот пункт, вносящий ясность. И для крушной и для средней городской бур-

жуазии вопрос об индустрии, технике, цивилизации вопросом мучительным не был и не будет. Странно для нее протестовать против железнодорожных мостов, пароходов, аэропланов и т. п. А В. Хлебников в этом смысле дает такой специфический материал, что нельзя не задуматься. Стоит обратить внимание на стих. «Крымское» («где шествовал бог—не сделанный, а настоящий, там сложенные пустые ящики»), на «Бунт жаб» («и гибли младые лягушки под рукопожатьем колес, а паровоз жесточе пушки свои мозоли дальше нес. Его успехи обеспечены, а жабыя что ему слеза?..»), на 5-й «парус» в «Детях выдры» («и он идет: железный остов пронзает грудью грудь морскую, и две трубы неравных рёстов бросают дымы; я тоскую...») или же на стих. «Вы помните о городе, обиженном в чуде»:

Пастух с свирелью из березовой коры
 Рыне замолк за грохотом иной поры.
 Где раньше возглас раздавался маль-
 чически прекрасных труб—
 Тем ныне застит дыма смольный зуб.
 Где отражался в водах отсвет ко-
 ровых ног,
 Над рекой там перекинут моста же-
 лезный полувенок...

Отложим в сторону остальные стихи того же рода, скажем лишь, что подобные настроенья обычно являются (это доказано основоположниками современной критики...) уделом классов, изживающих себя. Такое отношение к индустрии не даром процвело пышным цветом в мелиобуржуазной крестьянской литературе, достигло такой силы хотя бы у Клюева. И очень характерно, что приблизительно так же относились к «трубам» и «мостам» и все эпигоны дворянства. Автор незаслуженно забытой «Первой пристани», рано умерший В. Комаровский, очень хорошо выразил все эти тенденции в стих. «Самонадеянно возникли города», и взять оттуда пару—другую строф вполне уместно:

Так: прежде хищника блеснул зеленый
 глаз,
 Отвертвник уносил когтями.
 И бодрствовал пастух, и опекая, пас
 И вёл обильными путями.
 Но вымя выдоил и нагрузил коня

Повсюду осквернивший руку:
 По рельсам и мостам железом зазвения,
 Несет отчаянье и скуку...

Это «отчаянье» и эта «скука» свойственны и молодому В. Хлебникову, хотя он и не был графом, как В. Комаровский...

3

Следуем дальше. Взглянем строже на знаменитую хлебниковскую архаику, на его «славянщизну». Можно, конечно, трактовать ее по-формалистски, видеть в ней только «привлечение свежей лексики» и т. п. В действительности же перед нами рецидив славянофильских идей, опять-таки обусловленный классовой природой поэта. Безусловно, некоторые корни языковой работы молодого В. Хлебникова надо видеть и в творчестве Вячеслава Иванова и в богатейшем славянском фольклоре. Тут мы имеем и непосредственные указания В. Хлебникова (см. в «СвоЯси»: «найти, не разрывая круга корней, волшебный камень превращения всех славянских слов одно в другое, свободно плавить славянские слова—вот мое первое отношение к слову»). Но уже при просмотре стихов, относящихся к русско-японской войне, нас поразила слитность этой стиливой архаики с мировоззрением поэта. Славянофильство В. Хлебникова даже на основании одних этих стихов мы в праве сблизить с Тютчевым, Майковым, Хомяковым и другими дворянскими поэтами-славянофилами. Очень четкое славянофильство...

Ранний В. Хлебников может характеризоваться, как сторонник всяких потусторонних воззрений, как мистик и идеалист. Мышление его предельно антропоморфично и анимистично. Поэтический мир переполнен странной, а иногда и чудовищной жизнью. Какое-то подспудное, потаенные силы правят данным миром. В этом немного от наигранного подчас мифотворчества С. Городецкого, — мифы В. Хлебникова нередко изумительно-реальны. «Ночь в Галиции», «В лесу», «Зеленый леший» и мн. др. стихи соперничают с лучшими из уцелевших

образчиков старо-народного творчества. Вместе с тем в них данные фольклора модернизированы до неузнаваемости:

Любите носить все те имена,
Что могут овеять в Лялю.
Деревня сюда созвана,
В телеге везет свою кралю.
Лялю на лебедь
Если заметите,
Лучший на небе день
Кралей отметите.
И крикнет, и докнет весенняя кровь:
Ляля на лебедь — Ляля любви!

Но это, так сказать, «область стилизации». Более симптоматична и ощутима архаичность хлебниковского мировоззрения в крупных построенных поэта...

С легкой руки Ю. Тынянова и Н. Степанова может, пожалуй, привиться отношение к Хлебникову, как к подлинному научному поэту. Надо решительно воспротивиться вздорным и идеалистическим утверждениям. Безусловно, В. Хлебников пытался смолу до вовлечь в сферу своей поэтической деятельности различные научные дисциплины, думал о самых широких категориях, хотел создать какое-то собственное, неповторимое мировоззрение. Но эти искания остались незавершенными даже к концу жизни поэта и привели к результатам особые (освежили его стихи, подтвердили лишней раз неизбежность будущего слияния поэтической мысли с мыслью научной, и только). Когда выйдет уже обещанный пятый том, где будут собраны теоретические и «философские» работы В. Хлебникова, я попробую доказать это с непреложной ясностью. А покамест покажу на нескольких примерах идеалистический сумбур, повластно царивший в голове дореволюционного В. Хлебникова. Вот центральная вещь второго тома «Дети выдры», поэма, в которой Н. Степанов усматривает «огромный масштаб захваченных... эпох и событий, объединенных общностью философского замысла». Подойдем к этой вещи трезво. Конечно, потенциально поэма глубока и выразительна. Большие исторические пласты действительно вскрыты, отдельные страницы и строки действительно эффектны. Стержень поэмы — Волга,

древняя Ра, река «индуроссов», стык славяно-варяжского мира с Востоком, с Персией Александра Македонского. Немыслимо изложить эту необычную поэму, — чего только в ней нет, кто только в нее не попал по самым случайным мотивам! Но, когда мы обращаемся к наиболее отчетливым частям поэмы, мы устанавливаем в ней раньше всего знакомые националистические тенденции (приподнятый пафос в описании «руссов», Запорожская Сечь, как «русский ответ на западных меченосцев и девтонских рыцарей» и т. д.). Густая мистика обволакивает иные «паруса» поэмы (см. в первую очередь хотя бы посмертный полет погибшего за «святую Русь» Паливоды к господнему престолу). В «парусе» 5-м стих В. Хлебникова обладает более своеобразной философической нагрузкой, но какова же эта нагрузка? Все то же пессимистическое отношение к «парходам», отрицание значения подлинных успехов человечества («морские движутся хоромы, но, предков мир, не рукоплещь, до сей поры не знаем, кто мы: святое я, рука или вещь? Мы знаем крепко, что однажды земных отторгнемся цепей, так кубок пей, пускай нет жажды, но все же кубок жизни пей!»). Неуверенная полемика с лицом, просящим: «мир Верни, где нет винта и шестерни», «будетлянина» сводится к проблематичной, скорее всего пифагорейской, мистической вере в «число».

Меж шестерней и кривошпатов
Скользит задумчиво война,
И где-то гайка, с оси выпав,
Несет крушение шатуна.
Все те же 300—6 и пять
Зубами блестяще опять.
Их, вместе с вами, 48,
Мы, будетляне, в сердце носим...

Особая математическая поэзия, диалектико-материалистическая в основе? Нет, простая числовая метафизика. Напомню позабытые «Числа» мистической поэтессы Э. Гиппиус:

Бездонного, предчувственного смысла
И благодатной мудрости полны,
Как имена вторые, нам даны
Божественные числа.
И день, когда родимся, налагает
На нас печать заветного числа,
До смерти ваши мысли и дела
Оно сопровождает.

И дальше: «никто сплетенья чисел не рассек. А числа, нас связывшие навек,—2, 26 и 8». Принципиальной разницы между Гиппиусом и Хлебниковым тут нет, пусть осмыслят это те, кому следует!). Или же люди попадают на удочку рядом находящихся строчек?

И вечер, и речка, и черные хвои,
И оси земной в тучах спрятанный вал—
Кобзу кобзарю подавал,
А солнце—ремень по морям и широтам
Скользит голубым поворотом...

Стихи, что и говорить, сильные, но, конечно, в наших глазах они также далеки от подлинной научной поэзии. Уж лучше будем восхищаться идеалистическим сциентизмом М. Волошина («Космос», «Путями Каина», «Таноб»). Там, по крайней мере, мы имеем стройную, хотя и враждебную диалектическому материализму, систему...

Наконец, перед нами заключительный 6-й «парус». Это уже идеализм от начала до конца, идеализм дикий, путанный, но в одном смысле очень последовательный. Ганнибал, Сципион, Святослав, Пугачев, Самко, Гус, Ломоносов, Разин, Волынский, Коперник, духи, какие-то безликие «множества» — кошмарный синклит! О чем идет беседа, как к ней относится поэт? «Великие» громят... Маркса и Дарвина («...мрачный слух пронесся, что будто Карл и Чарльз они. Два старика бородаты, все слушают бород лохматых»...)! Речь Ганнибала:

Итак, пути какой-то стоимости.
О слава! стой и мости.
Причина кость или из'ян
Есть у людей и у обезьян.
Ты веришь этой чепухе?
Ей богу нет. Хе-хе!

Сходно говорят и другие персонажи. И знаменательно, что именно после недоумения Ганнибала, очутившегося в чрезмерно большом обществе («ужель от Карлов наводнение ведет сюда все привидения?»), раздается подтверждающий «воплъ духов»:

На острове вы. Зовется он Хлебников.
Среди раз'яренных учебников
Стоит, как остров, храбрый Хлебников,

¹⁾ См. дополнительные «Числа» еще и в «Зареве зорь» К. Вальмонта. Пифагорейский смысл их там окончательно ясен.

Остров высокого звездного духа.
Только на попрыге острова сухо—
Он омывается морем ничтожества.

А потом перед советом этих примечательных эмигрантов слышится вдруг «голос из нутра души», в плане биографическом, может быть, достаточно горький и правдивый, но здесь венчающий своим согласием всю эту сложную, громоздкую, антиматериалистическую, не научную постройку:

О духи великие, я вас приветствую.
Мне помогите вы: видите, бедствую?
А вам я, кажется, сродни,
И мы на свете ведь одни.

«Дети выдры» (вещь с «огромным масштабом»!..) рассмотрены наглядно. Не трудно для пущей убедительности подверстать сюда же из прочих текстов всякие возгласы о загробной жизни («сношенья с загробным миром легки»), совершенно мистические картины мироздания и преображенья духа в высших сферах («...судеб виднеются колеса, с ужасным сонным людям свистом. И я, как камень неба, неся путем не нашим и огнистым... и в этот миг к пределам горшим летел я, сумрачный, как коршун. Воззрнем старческим глядя на вид земных шумих, тогда в тот миг увидел их...») и прочие, и прочие «вещественные доказательства» хлебниковского идеализма. Но, минуя их, мы круто повернем теперь к очередным политическим стихам поэта, к стихам, вместившим в себя опыт и русско-японского цикла, и «Детей выдры», и много других произведений.

4

«Написанное до войны»—свидетельство хлебниковского мастерства и одновременно пример поэтической чуткости поэта, дышавшего воздухом своей эпохи. Цитировать все стихотворение в виду его величины не придется, но вот последняя часть этого своеобразного разговора «прохожего» с мирно трудящимся (после победы над Святославом...) «печенегом»:

...прилет петли змеиной
Смерть воителю принес.
«Он был волком, не овечкой». —
Степи молвил предводитель:
«Золотой покроей насечкой
Кость, где разума обитель.
Знаменитый сок Дуная
Наливая в глубь главы,

Стану пить я, вспомнит
Светлых клич: «иду на вы!»
— Вот, зачем сижу я, согнут,
Молодком своим стуча,
Знай, шатры сегодня дрогнут,
Меч забудут для мяча.
Степи дочери запляшут,
Дымом затканы парчи,
И подвоной землю вспашут,
Слава бубны и мяча.

Это «предсказанье», впрочем, еще ничего не значило (хотя нельзя не сказать, что оно уже отличается от первых военных стихов В. Хлебникова, относившихся к Японии). Мировая война сначала все же бросает В. Хлебникова в жар. Сейчас его отношение к войне несколько глубже, ему уже явен трагизм времени, но патриотические чувства опять нахлынули на поэта. Замечательные стихи «Смерть в озере» («но, когда затворили гати туземцы, каждый из них умолок. И диким ужасом исказились лица немцев, увидя страшный русский полк») и «Тризна» («и когда веков дубрава озарила черный дым, стужнув ружьями направо, повернули сразу мы») для познания тогдашней патриотической лирики чрезвычайно ценны. Эти стихи выделяются своей глубинной арханчностью, оказываются пределом того модернизированного славянофильства, которое воскресло тогда в последний раз. В них нет поверхностного, явно-обывательского барабанного боя Г. Иванова («Памятник славы»), С. Городецкого («Четырнадцатый год») или Ф. Сологуба («Война»). Отсутствуют в них и внушительный подчас книжный пафос «военного» Брюсова и отчетливый империалистический темперамент Гумилева. У этих стихов В. Хлебникова собственное, реакционное, но трагическое лицо...

Но подлинный опыт мировой войны у В. Хлебникова все же воплощен в «Войне в мышеловке». Именно это грандиозное произведение поэта является предвестником его будущего поэтического состояния. «Война в мышеловке» вобрала в себя лучшие мятежные эмоции футуризма в его довоенной фазе. По существу это род замаскированного дневника, записи носителя каких-то литературных и общественных принципов функции «вре-

мяроба» (поэт любил это придуманное им слово) здесь значительно расширены, и расширены в хорошем смысле. За эксцентричными выкриками «председателя земного шара», за футуристическим эпатажем и моментами патологини («весь род людской сломал, как коробку спичек... я, носящий весь земной шар на мизинце правой руки» и т. п.), за великолепным, но отвлеченным и декларативным историзмом некоторых стихов («и когда земной шар, выгорев, станет строже и спросит: кто же я? мы создадим Слово о Полку Игореве или же что-нибудь на него похожее») теснятся нередко замечательные строки, осуждающие кровопролитие:

...Я, оскорбленный за людей, что они
такие,
Я, вскормленный лучшими зорями Рос-
сии,
Я, повитой лучшими свистами птиц,—
Свидетели: вы, лебеди, дрозды и жу-
равли!
Во сне провлекший свои дни,
Я тоже возьму ружье (оно большое и
глупое,
Тяжелее почерка)
И буду шагать по дороге,
Отбивая в сутки 365,317 ударов—ровно.
И устрою из черепа брызги,
И забуду о милом государстве 22-лет-
них...

...Поймите, люди, да есть же стыд же,
Вам нехватит в Сибири лесной ко-
стылей,
Иль позовите с острова Фиджи
Черных и мрачных учителей.
И проходите годами науку,
Как должно есть человечесю руку...

«Война в мышеловке», конечно, вещь в основе пацифистская. Но это не совсем тот пацифизм, который сводится к бездейственному ужасу перед насилием и убийством (ярчайший образчик — молитвенно-беспомощные стихи Вячеслава Иванова: «когда ж противники увидят с двух берегов одной реки, что так друг друга ненавидят, как ненавидят—двойники?..»). В поэме В. Хлебникова налицо элементы совершенно младенческого теоретизирования на социально-политические темы (например, см. диковинный эпилог поэмы, где найден невероятный выход из положения,—«Конецарство»: «гривonos благородный свое доверяет копыто ладони... мы стали лучше и небесней,

когда доверились коням... над людом конских судей род» и т. д. — совсем страна Гуингмов по Джонатану Свифту!). Но текст той же поэмы проникают ноты активного протеста, пусть и абстрактно. «Нет, о друзья! Величаво идемте к Войне Великанше, что волосы чешет свои от трепья. Воскликнемте смело, смело как раньше: мамонт наглый, жди копья!» Очень важно отметить, что именно в реве войны, в той ее фазе, когда кровопролитие достигало высшей точки («...смерть, храпя на дышле, дрожит и выбилась из силы. Она устала. Пожалейте ее за голос куд-кудах! Как тяжело и трудно ей итти, ногами вязнет в черепах...»), — у В. Хлебникова рождается мысль о свободе «народа», о каком-то абстрактном народоправии, сменяющем монархию и прекращающем бойню:

Овобода приходит наяга,
Бросая на сердце цветы,
И мы, с нею в ногу шагая,
Беседуем с небом на ты.
Мы, воины, строго ударим
Рукой по суровым щитам:
Да будет народ государем,
Всегда, навсегда, здесь и там.
Пусть девы споют у оконца
Меж песен о древнем походе,
О верноподанном Солнце,
Самодержавном народе...

«Война в мышеловке», создававшаяся в период 1915—1917 гг., должна находиться в одном ряду с «Войной и миром» Маяковского, с антивоенными произведениями Асеева и Пастернака, с пацифистскими стихами Блока, Вячеслава Иванова, Белого, Мандельштама и пр. Поэма является мостом к революционной классике В. Хлебникова. И она же суммирует первое десятилетие поэтической работы В. Хлебникова.

5

Просмотр стихотворного наследия дореволюционного В. Хлебникова произведен. Время оглянуться и собрать воедино факты и доводы.

Схема такова. Русский символизм укрепился на связи интеллигенции конца XIX—начала XX вв. с обуржуазив-

шимся крупным землевладением. Дворянство еще не отошло, —отсюда декаданс и смешение дворянских и буржуазных идеологий почти у всех поэтов символизма — у Мережковского, у Гиппиус, у Коневского, у Сологуба, у Бальмонта, у Волошина, у Вячеслава Иванова, у Белого, у Блока (отчасти выпадают из этого ряда только Сологуб, связанный с мелкой городской буржуазией, и Брюсов, законное чадо капиталистического города, предвестник будущего акмеизма и русского буржуазного сциентизма — течения «подземного», но реального...). Акмеизм же, как это уже установлено работами некоторых современных критиков и исследователей, объективно создавался усилиями крупной и средней буржуазии, преодолевшей первые выступления рабочего класса и вошедшей в стадию агрессивного капитализма (присутствие у некоторых акмеистов какой-то дозы помещичьих чувствований объясняется их первоначальной и длительной близостью к символизму и так называемым «третьеиюньским блоком...»). Что же касается футуризма, то это литературное течение в общем и целом выросло на почве того же буржуазного декаданса, что и символизм, но уже являлось производным только от городской буржуазии и не имело связи с дворянско-помещичьей культурой. Футуризм поэтою по своей социальной природе занимает ответственное место после акмеизма (хотя футуристы и акмеисты возникли одновременно).

Речь идет, разумеется, о футуризме, как о течении, определяемом существованием основных социальных подпорок. Но не надо видеть в такой формулировке утверждение абсолютной сцементированности. Ее вообще не бывает. Здесь на сцену естественно входят индивидуальности поэтов, факты их биографий, личных психологий и т. п. В русском футуризме В. Хлебников оказался фигурой наиболее двойственной, индивидуальностью резко очерченной. Связь его с символистами была не только формальной, она определялась и классовой природой поэта. Сын попечителя округа,

В. Хлебников провел детство и почти всю юность в условиях сельской, по характеру дворянски-мелкопоместной жизни (к сожалению, тут приходится говорить общо, так как биография поэта пока что известна условно, а «Биографические сведения» Н. Степанова, приложенные к первому тому, в данном смысле поверхностны...). Несомненно, именно эта полоса жизни наложила отпечаток на ранние стихи поэта и сделала исключительным поэтическое лицо Хлебникова-футуриста. В дальнейшем факты внешнего бытия воздействуют иначе. В. Хлебников постепенно и своеобразно деклассируется в сторону городской буржуазии. Появляются настроения, совпадающие со всей линией футуризма. Мотивы люмпен-пролетарские у В. Хлебникова в конечном счете редки, и дореволюционный В. Хлебников остается поэтом буржуазным, с различными, но незначительными индивидуальными «уклонами». «Пустил в дворянство грязи ком» — эта строчка из сатиры «Петербургский Аполлон» (датирована 1909 г.), подобно многим другим стихам, знаменует разрыв поэта с породившим его классом. Дальнейшая амплитуда общественных колебаний у В. Хлебникова (вплоть до революции, повернувшей В. Хлебникова в сторону пролетариата) определяется, как патания между идеологическими и философскими комплексами упадочной мелкой городской буржуазии и буржуазии крупной, империалистической (поэтическое выражение — акмеизм, как целое...). В этом противоречивость личности В. Хлебникова... Едва ли поэт успел осознать свою роль даже перед смертью, в первые пореволюционные годы. Но, конечно, фактами преодоления буржуазного сознания (в частности пацифизма...) в пореволюционных поэмах и стихах В. Хлебников посмертным образом заставляет нас предположить, что, продлись жизнь поэта дольше, творчество его приобрело бы мощные устои и достигло бы полного значения. К сожалению, время оказалось для В. Хлебникова жестоким, а многие люди — слепыми и нечуткими. 28 июня

1922 года В. Хлебников умер в новгородской глуши от голода и тяжелой болезни. Умер, как известно, создателем классического «Ладомира», «Ночи в окопах» и прочих революционных поэм и стихотворений...

6

Картина стилистических навыков В. Хлебникова дана мною в статье, посвященной первому тому («Новый Мир», книга 12, 1929 г.). Но в связи с уже определенной новоиспеченной «модой» на В. Хлебникова надо проследить, в чем действительная, утилитарная ценность поэта в текущем времени, что и как усваивалось и усваивается из его наследия современными поэтами. Стало быть, некоторые эскурсы в область органического стиля В. Хлебникова (стиля в широком понимании) нам на момент понадобятся...

В теоретических работах В. Хлебникова интересно подразделение поэтического слова на два лагеря. Подразделение своеобразное и настоящее идеалистическое, что последовательные формалисты обязаны подписываться под ним беспрекословно. Приведу интереснейшую заметку В. Хлебникова, напечатанную в 1922 году под заголовком «О современной поэзии» в № 3 берлинской «Вещи» (журнала, выходившего под редакцией Эренбурга и Э. Лисицкого):

«Слово живет двойной жизнью.

То оно просто растет, как растение, плодит друзю звучных камней, соседних ему, и тогда начало звука живет самовитой жизнью, а доля разума, названная словом, стоит в тени, или же слово идет на службу разуму, звук перестает быть «всеведким» и самодержавным, звук становится «именем» и покорно исполняет приказы разума; тогда этот второй вечной игрой цветет друзой себе подобных камней.

То разум говорит «слушаюсь» звуку, то чистый звук — чистому разуму.

Эта борьба миров, борьба двух властей, всегда происходящая в слове, дает двойную жизнь языку: два круга летящих звезд.

В одном творчестве разум вращается кругом звука, описывая круговые пути, в другом звук кругом разума.

Иногда солнце — звук, а земля — по-

ятие; иногда солнце — понятие, а земля — звук.

Или страва лучистого разума, или страва лучистого звука. И вот дерево слов одевается то этим, то другим гулом, то празднично, как вишня, одевается нарядом словесного цветения, то приносит плоды тучных овощей разума. Не трудно заметить, что время словесного звучания есть брачное время языка, месяц женихающихся слов, а время налитых разумом слов, когда спуют пчелы читателя, — время осеннего изобилия, время семьи и детей.

В творчестве Толстого, Пушкина, Достоевского словоразвитие, бывшее цветком у Карамзина, приносит уже тучные плоды смысла. У Пушкина языковый север женихался с языковым западом. При Алексее Михайловиче польский язык был придворным языком Москвы.

Должно помнить, что от сегодняшнего поэтического слова современность ждет прежде всего «тучных плодов» смысла. Отвергая реальность «чистого разума» и «чистого звука», мы хотим от нашей поэзии, чтобы именно слово говорило разуму «слушаюсь». Отсюда, разумеется, не надо делать того вывода, что мы против осмысленного словесного цветения...

К чему это говорится? А вот к чему. В. Хлебников, как идеалист, довел свое дело до конца. Его сподручный, А. Крученых, действовал с заданным пылом. Приведенная заметка — по существу одна из самых ярких деклараций зауми...

А. Крученых объявил заумь «пределом поэзии». Заумь мотивировалась тем, что «мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим языком (понятия), но и личным»... «Мы приказываем двигаться слову к яркой беспредметности, чистому словотворчеству» (А. Крученых). «Заумный язык есть грядущий мировой язык в зародыше. Только он может соединить людей» (В. Хлебников). Заумь имела основанья безусловные (поэтические, психологические и просто паталогические...). Но, идеалистически доведенная до предела, она повисала в пустом пространстве. В. Хлебников, подлинный творец этой теории в России (см. сходные теории у Малларме, Рембо и отчасти у Верлена...),

давал образцы такой работы, обнаруживая колоссальные лингвистические знания и способности, совершенно невероятное трудолюбие и редкую изобретательность. «О, засмейтесь, смехачи» — это, конечно, особая, но оправданная классика, которую надо знать всем. На ряду с этим у В. Хлебникова бесконечно много и словесного лома, черного материала или простой чепухи (и нельзя же возмущаться, когда эту часть уцелевшей продукции поэта выдают за главное). Заумь для современного поэта — только одна из боковых функций поэтической речи, функция, которая может быть оправдана только органически (заумными восклицаниями можно выразить сугубо-эмоциональное переживание, в виде зауми можно использовать иноязычные слова и т. д.).

Почему собственно «воскрес» В. Хлебников? Почему он некоторыми провозглашается величайшим поэтом не только прошлого или настоящего, но и будущего?..

Надо заявить, что провозглашение В. Хлебникова сверхгением, да еще сверхгением ведущим, является либо сознательным вредительством классового врага, либо глубочайшим и опасным заблуждением идеалистов. Уже настоящая статья, не претендующая на роль всестороннего исследования, показала, как много в поэзии В. Хлебникова отжившего и вредного (об этом мне еще придется говорить с совершенной четкостью в связи с прозой и теоретическими работами поэта). Мы стоим за трезвое, математически рассчитанное использование полезных для пролетариата произведений В. Хлебникова. Отсюда же вытекает и наше отношение к различным сторонам его поэзии и к ее осязательности в творчестве нынешних поэтов.

Никким образом нельзя поддаваться абсурдным и некритическим истолкованиям поэзии В. Хлебникова. Пусть фетишист воображает, например, что в последнем отделе 2 тома собрания те вещи поэта, с которыми надо считаться! Мы скажем ему, что тут налицо только «отсев», только «хлам» В. Хлебникова, — материалы, предста-

вляющие некоторый интерес для узкого специалиста, но не больше. И мы же извлечем из этого отдела немногие драгоценные и показательные строчки («ты богиня молодежи! Брови согнуты в истоме, ты прекрасна, ночью лежа на раскинутой соломе... и из путь меж звезд морозных полечу я не с молитвой, полечу я, мертвый, грозный, с окровавленной бритвой...»). Здесь и проявится то тригическое отношение, которое является единственно нужным...

Идолопоклонствовать перед В. Хлебниковым бессмысленно. Вместе с тем

надо всячески разоблачать невежество и верхоглядство людей, занимающихся многозначительными кивками в сторону решительно всех читателей В. Хлебникова. Время признать в нем одного из классиков—и футуризма и революционной поэзии. Лучшие его произведения должны присутствовать во всех хрестоматиях, во всех рабочих книгах по литературе. Хорошо составленная, критически объясненная антология В. Хлебникова нужна широкому потребителю современной поэзии. Пора кому-нибудь приняться за условно полезное дело.

4. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НЕВЕДОМОМУ И. Сергиевский

До самого последнего времени очерковая литература влачила существование более чем скромное. Законным местопребыванием очерка были газетные подвалы, страницы иллюстрированных еженедельников, петитные задворки толстых журналов. Чтобы проникнуть в область большой литературы, очерку обязательно надо было в какой-то мере впитать в себя элементы повести или рассказа, приобрев характер новеллы с минимальной фабулой и минимально развитой описательной частью.

Сейчас положение несколько изменилось. Очерковая литература, свободная от эстетических принципов и норм изящной словесности, начинает играть все более и более заметную роль в литературной жизни эпохи. Повседневные мелочи журнально-газетного обихода, до сих пор ютившиеся где-то на задворках литературы, по трактовке материала ближе всего тяготеющие к репортажу, уравниваются в правах с романом и повестью. Фельетонист получает право на собрание сочинений: книга очерков становится обязательным элементом каждой книжной витрины.

Перемещение очерка из периферии литературной жизни в ее центр коренным образом меняет самую установку очерковой формы. Раз очерк равноправен с повестью или романом, нет нужды как-то прихорашивать изображаемые

явления или показывать их читателю так, чтобы он при всем желании не мог нащупать границы между правдой и вымыслом. Основным мерилом пригодности отбираемого материала становится не его изысканность или необычайность, а его общественная значимость в условиях нашей действительности; основным принципом оформления — не сюжетная или стилистическая острота показа, а его полнота и рельефность.

С этой точки зрения произведение такого рода, как трилогия Улина «Север зовет», должно рассматриваться исключительно как проявление своего рода исторической инерции. Классические тени Клода Фаррера и Пьера Бенуа царят здесь полновластно и неограниченно. Изюм всех сил тянется автор, чтобы по роскоши вымысла, по обилию и замысловатости трюкового материала перещеголять лучшие образцы признанных мастеров колониального жанра. В центре действия — неутомный герой, жаждущий приключений и подвигов, какой-то неведомой силой бросаемый с камчатских рыболовных промыслов на золотые прииски Приамурья, оттуда, повидимому, в уссурийскую тайгу, герой, по несколько раз потопавший, замерзающий, проваливающийся в ледниковые трещины и переживающий сотни других голово-

ломных приключений, о которых читаешь, затаив дыхание и широко открыв глаза. Фон — суровая первобытная природа с дымящимися сопками, раскинувшейся на тысячи километров непроходимой тайгой, целебными гейзерами, в которых сходятся залечивать свои боевые раны люди и звери. Нехватает маленькой любовной интриги, — тогда классический канон колониального романа был бы соблюден полностью.

Вопрос о фактической достоверности улинских походов играет здесь роль сравнительно второстепенную. В конце концов — почему бы не поверить автору, что он в самом деле прожил интересную и богатую необычайными переживаниями жизнь, которой позавидовал бы любой из фарреровских конквистадоров и которая вполне достойна стать объектом романного изображения. Важно то, что вся эта приключенческая бутафория решительно вытесняет из поля зрения автора реальную, будничную действительность наших северных окраин, важно, что, погруженный в созерцание прихотливых узоров своей биографии, он глух и слеп ко всему, что делается вокруг.

Читатель, не особенно внимательный, пожалуй, не сразу даже заметит, что дело происходит не когда-нибудь, а именно в наши дни, и не где-нибудь, а именно в Советской России. Правда, однажды автор встречает в пути научную экспедицию, исследующую лесозаготовительные ресурсы Камчатки. Другой раз он попадает случайно на Камчатский съезд советов, где туземец впервые заявляет о себе, как активном участнике нашего строительства. Но все это лишь отдельные пятна на пестром ковре его одиноких странствований. В основном его интересы неизменно обращены к другому, к каким-нибудь розовым чайкам, обитающим в пресноводных озерах Колымы, которые расцениваются по полторы тысячи долларов за штуку и за охотой на которых погибли во льдах две американские экспедиции. Объект, конечно, достойный всяческого усердия.

Писание Улина — только одно из наиболее ярких проявлений этой авантюрно-экзотической струи в современной

очеркистике. Кроме того, и сам Улин не ставил, повидимому, перед собой очерковых задач, сознательно вводя в свои построения некоторые элементы колониально-приключенческой беллетристики. В его трилогии имеется даже как будто некоторый намек на какую-то идеологическую концепцию, весьма, правда, расплывчатую и неопределенную, которая, сводя воедино все его странствования, придавала бы им вид художественного целого.

У других очеркистов эта тенденция проявляется менее резко и обнаженно. Чтобы приключенческий материал не выглядел слишком вычурным и аляповатым, он уснащается некоторыми бытовыми подробностями. Чтобы странствования героя не принимали характера бесцельных шатаний, они оправдываются какими-нибудь особыми обстоятельствами житейского порядка. Он оказывается, например, статистиком, ведущим работу по переписи туземного памирского населения, или служащим Всекохотсоюза, направляющимся на работу в полярный город Средне-Калымск в качестве сотрудника пушной фабрики. Существо дела от этого, правда, не меняется. Прекрасное далеко попрежнему остается излюбленным местом очерковых наблюдений. Чтобы найти достойные изображения предметы, очеркист попрежнему чувствует необходимую нужду перенестись куда-нибудь за тридевять земель от своего обычного местопребывания. «Тонкая стена обыкновенного была пробита. Я вошел в чужой мир» — так начинает свои «Тихоокеанские дневники» Борис Лалин — этот классик современной очерковой мистификации.

То, что он рассказывает в своей книге, в самом деле звучит довольно необыкновенно, настолько необыкновенно, что приводимое в конце стыдливое самопризнание о даче необходимого вымысла, внесенного в развернутый строй фактов согласно законам писательского ремесла, звучит весьма убедительно. Если у читателя все равно возникает вопрос, все ли написанное в этой книжке правда, — этого уже достаточно. Мир велик и разнообразен. Если в этом разнообразии автора все равно неизменно привлекают такие области, в

которых факты по своей необычайности не отличны от вымысла, вопрос о границах этого и другого представляется не таким уже существенным.

Спрашивать нужно не о том, почему автор, рассказывая историю переезда сотрудника пушной базы Всекохотсоюза на место службы, разукрасил ее цветами поэтической отсебятины, а о том, почему он избрал именно такую необыкновенную историю. В конце концов полярные окраины Сибири посещаются жителями культурных областей не так уж катастрофически редко. Но вот, чтобы дорога оказалась до такой степени неблагоприятной, как у лапинского героя, чтобы в пути едущему пришлось пережить столько злоключений, — это в самом деле, вероятно, не так уж обычно.

Начало истории — обозначить лапинскую книжку каким-нибудь более определенным названием трудно — заставит его на крайнем восточном пункте Чукотского полуострова: он ждет здесь американской шкуны, которая должна доставить его к верховьям Колымы. Шкуна приходит, забирает путешественника и отправляется в дальнейший путь. Ее затирают полярные льды. Океанским штормом ее относит на запад к берегам Аляски. Герой несколько дней проводит в Номе. Оттуда переправляется обратно, к северо-восточным берегам Сибири. Оттуда с японским грузовым пароходом с заездом на Курильские острова — в Хакодате. На этом история обрывается. Последний рейс — Хакодате — Владивосток — показался автору, повидимому, слишком будничным, чтобы стоило о нем рассказывать.

Скажут, если бы не все эти злоключения, не получилось бы и очерка. Такой вот именно взгляд на сущность очерковой литературы и является в корне ошибочным. Если обязательным условием построения романа является смещение реальной биографии героя, если «Преступление и наказание» начинается тем, что Раскольников убивает старуху, а «Анна Каренина» — тем, что открывается неизвестная дотоле связь Облонского с гувернанткой его детей, то для построения очерка такой кризис привычной жизненной обстановки вовсе необязателен. Точнее —

факт перемены места и связанной с ним перемены образа жизни вовсе не должен приобретать в очерке значения сюжетного сдвига. Попав в непривычную обстановку, очеркист не должен упиваться этой непривычностью, не должен превращать эту непривычность в объект самодовлеющего эстетического любования. Больше того, чтобы окаяться в плену у этой своеобразной эстетики дальних странствований, он в самой необычной, в самой красочной обстановке должен увидеть деловые будни. Нужно раз навсегда запомнить, что полярные поля и ледниковые трещины, чай-ханэ и караван-сарай — для нас пустой звук, а в лучшем случае занимательное чтиво, если только они поданы не под каким-либо определенным углом зрения, хотя бы под углом зрения приобщения периферии к культурной жизни центра или исследования производительных сил наших окраин.

А главное, надо понять, что вовсе не обязательно в поисках вдохновения отправляться туда, куда ворон костей не заносил, как можно дальше от повседневности, будней, обыденщины. Если в возникновении в западно-европейской колониальной беллетристике такое бегство от окружающего к чужим народам, в неведомые страны, и было вполне понятно и исторически закономерно, то в наших условиях оно звучит так же странно, как уход в потустороннее от пустоты и скуки земной жизни. Наша-то повседневность уже во всяком случае достаточно содержательна и полноценна, чтобы можно было, не выходя за ее пределы, найти целые пласты материала, достойного закрепления в слове.

Другой путь борьбы с эстетикой дальних странствований в современной очеркистике — путь пародического снижения колониальной экзотики — неизбежно оказывается половинчатым и не доводящим до цели. Очень хороший образец такой половинчатости представляет собой «Песчаный поход» Адалис. Преодоление традиционного Востока — этой сказочной страны лени и неподвижности, в которой и сейчас те же песни и камни, что и во времена Александра Македонского, тяготеет над

всеми замыслами и намерениями автора. Ироническое смещение канонизованного колониальной классикой пейзажа и быта — основной пафос всей книги. И все же в конце концов литературный материал оказывается сильнее реально-бытового.

«Шелковый торговец полудремлет» — рассказывает Адалис. Он ведет себя, как принято в халтурных романах о Востоке. Выхолонными пальцами поглаживает черную, как смоль, бороду и затем «медленно перебирает душистые янтарные четки». Примерно так же, как в халтурном романе, ведет себя в книге, под непрекращающийся аккомпанемент авторской иронии, весь Восток. «Здесь море заменяет пустыню». Зеленовато-голубая ранней весной, свинцовая осень, бурная и бурая ветренным летом, она с рокотом, слышимым только вожаком караванов, катит свои пески между Гератом и Хивой. На дне ее покоятся сокровища погибших царств, кости павших верблюдов качаются на ее волнах, и на гребнях ее волн растет редкая горько-соленая трава». Здесь аккомпанемента почти незаметно, он только отдаленно слышится в тонкой, еле уловимой насмешливости интонации. Все остальное — такая мелодическая вязь колониальной лирики Пьера Лоти.

Разумеется, не всегда Восток у Адалис так архаично эстетен. Если бы было так, об ее очерках вообще не стоило бы говорить. Она пишет не только о мертвом зное пустынь, пахнущих солью и прахом рыб, но и о текинских ковровщиках, объединяющихся в промысловые артели, и о недочетах в организации кооперативной сети в Туркменистане, и о многом другом. Но под Восток халтурных романов стилизуется у нее и то, что не входило в поле зрения старых мастеров колониальной экзотики. Вернее, из всей массы этого нового, неканонического материала восточной действительности она отбирает только то, что может быть стилизовано и может быть подано под приправой ее артистической иронии. От революции в мелких отношениях осталась только масса кишлачного совета, перелог. полностью сельхозна-

Если же нет такого рода стилизации под канонический Восток, то нет и вообще никакого Востока. Примерно на лист тянется история о некоем безработном главбухе, кормившемся показыванием на ярмарках дикобраза в ящике, что по местным условиям равнозначно тому, если бы у нас показывали сороку в клетке. Дикобраз — конечно, специфично для Туркмении, но ситуация скорее в духе психологической новеллы, нежели путевого очерка.

Таким образом, в конечном итоге избранный Адалис путь преодоления изящной словесности в очерке к желаемым результатам не приводит. Он не решает ни вопросов отбора материала, ни вопроса об его интерпретации. Эстетическая показательность описываемых явлений продолжает у нее доминировать над их общественно-политической значительностью и лирические впечатления по поводу их — над объективным, деловым комментарием.

Здесь уместно подчеркнуть, что обращение к эстетическим нейтральному материалу, чуждому какой бы то ни было изысканности и беспредельной красоты, материалу нашей повседневной, будничной стройки само по себе еще не решает проблемы современного советского очерка во всей ее полноте. Можно писать об очень нам близких и привычных вещах и писать так, что в результате все эти вещи, о которых мы слышим каждый день, которые успели занять очень прочное место в нашем идейно-психологическом быту, окажутся все же вздернутыми на ходули «чистого» искусства. Так пишет свои очерки Борис Кушнер, в частности так написано его «Южное сияние».

Тематически он бесспорно ближе чем кто-либо сумел стать лицом к современности. Он не уводит читателя в дебри сибирской тайги или в раскаленные туркестанские пустыни, не привлекает его внимание к каким-либо героическим приключениям. Его авторское я так же просто и обычно, как просты фиксируемые им куски нашей недавней деревенской действительности. Но, снижая материал, доводя его до высшей степени конкретности, вытра-

вляя из него все элементы классической фантазии, он останавливается на полпути. Из всего, что можно было увидеть в нашей южной степной деревне, он увидел то, что можно было легче всего увидеть и легче всего показать читателю, не выходя за пределы чистого факта: увидел вещь, конструкцию. И за предельно-материальной видимостью вещи совершенно просмотрел самое важное, — вещь, как сгусток общественных отношений. Советская деревня приняла у него обличье некоего гигантского натюрморта, сложного и громоздкого сочетания машин и частей машин, разбросанных сельскохозяйственных построек и ровных, геометрически правильных пахотных участков. Социальная почва, питающая это сочетание, оказалась нейтрализованной. Техника поглотила социологию.

По отношению к западно-европейскому материалу, на основе которого построены «Сто три дня на Западе», такая его трактовка еще могла быть известным образом оправдана: «Для того, чтобы переоборудовать мир в духе заветов Маркса и Ленина, приспособить его к наилучшему удовлетворению потребностей трудящихся, нужно знать, как мир был оборудован буржуазией, как приспособляла она его к потребностям своего класса» — аргумент,

против которого в конце концов трудно что-нибудь возразить. Но в той же самой манере говорить о нашем колхозном строительстве — значит давать картину настолько однобокую, настолько узкую, что самая фактическая достоверность всего изображаемого теряет всякое значение. Писать о современной деревне и не видеть в ней ничего, кроме агротехнических перемен, значит быть в полном плену у той своеобразной индустриальной вещной эстетики, которая представляет собой не более, как оборотную сторону колониальной эстетики тропических джунглей.

«Южное сияние» — книга в этом отношении симптоматичная. Она показывает, что какой бы зрелости ни достигло очерковое мастерство Кушнера, оно не должно становиться образцом, по которому следовало бы равняться. Всякая литературная удача тогда прогрессивна, когда результаты могут служить опорным пунктом в борьбе за новые удачи. Задача очерковой литературы — не только найти нужный материал, но и правильную точку зрения на этот материал, — выработанное Кушнером умение показывать вещи суметь приложить к показу тех общественных отношений, только материальной сущностью которых эти вещи являются.

Книжное обозрение

1. «МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА». Сергея Вьюгина.—2. К. ШИЛЬДКРЕГ «Гораздо тихий государь» Г. Шторма.—3. Ив. ТРУСОВ «Собственник». Б. Гроссмана.—4. ЗИНАИДА РИХТЕР «Это и есть Москва». Ник. Смирнова.—5. ИВАН РАХИЛЛО «Воспоминания Пушкина». Н. Замошкина.—6. П. СКОСЫРЕВ «В стране белого золота». Виктора Гольцева.—7. В. А. ПОССЕ «Мой журнальный путь». Н. Прянишникова.—8. Н. О. ЛЕРНЕР «Рассказы о Пушкине». И. Сергиевского.

«Московские мастера». Издательство «Жизнь и Знание», Ленинград — Москва. Стр. 466. Цена 3 руб. 50 коп. (!).

Литературно-художественные альманахи становятся все более редкими. Причина их постепенного исчезновения заключается, конечно, не только в бумажном кризисе, но и в кризисе творческом, переживаемом нашей попутнической (а отчасти и пролетарской) литературой. Альманах «Московские мастера» является наглядным подтверждением этого кризиса.

Реконструктивная эпоха, заново переоценивающая термин «попутчик», предъявляет к писателю новые тематические требования. Она, внутренне экзаменуя писателя, значительно усложняет его задачи и в то же время открывает перед ним поистине необозримые творческие возможности. Писатель, если он хочет быть подлинным современником революции, не может отрываться от непрестанно углубляющейся действительности. Само собой разумеется, что писатель на ряду с производственными темами не может не уделять самого пристального внимания и темам внутренне-человеческим: он обязан «освещать» не только внешнюю оправу быта, но и его беспредельную глубину.

Вопросы семьи, любви, пола — то, что так настойчиво развивается в произведениях рецензируемого альманаха, — входят самой неотъемлемой частью в круг художественного творчества. Однако, разработка этих вопросов московскими мастерами (в двойных кавычках) заслуживает всяческого протеста: читатель снова встречается здесь с само-

довлеющей «половой проблемой» в ее мешански-занимательной трактовке. Эта «проблема», всячески варьруемая почти во всех рассказах альманаха, невольно заставляет вспомнить об упадочнической литературе 1907—12 гг. и тем самым дает основания утверждать наличие творческой растерянности в известных рядах попутничества.

Альманах «Московские мастера» читаешь с чувством обиды и горечи за писателя.

С. Буданцев, автор талантливой до сих пор «звучащего» «Мятежа», ненужно подробно и длинно рассказывает о том, как некий негодяй растлил четырнадцатилетнюю девочку «Мушку», рассказывает с попытками психологического углубления в обрисовке «героя», являющегося каким-то рецидивом чудовищно-призрачных персонажей из литературных подвалов Достоевского. Павел Сухотин в своем «Романтическом плоде» главное внимание уделяет «показу» ночной гостиницы, в которой останавливаются бухгалтер Мнух и сопутствующая ему «женщина». И даже обычно скромный А. С. Яковлев по какой-то роковой тематической взаимозависимости соседствующих в альманахе писателей не избежал соблазна мысленно заглянуть все в тот же гостиничный номер, поместив в нем инженера и певицу («Люди»).

Нужно надеяться, что рассказ «Люди» — с л у ч а й н ы й в творчестве Яковлева, как случайны и, несомненно, ошибочны и рассказы Сухотина и Буданцева. Тем не менее эта надежда ни в какой мере не искупает тяжести впечат-

ления, усугубляемого тем, что все рассказы (особенно «Мушка» Буданцева) написаны довольно хорошо: чувствуется и работа над словом и композиционная четкость.

«Проблема пола», если она снижается до требований читателя-обывателя, расценивающего «литературу» наравне с эротическими фотографиями, должна быть подвергнута залповому критическому обстрелу. Литература, как ставка на диспут, на «тиражность», есть, несмотря на всяческие внешние аксессуары и украшения, литература вчерашнего дня. Погоня за дешевым и непрочным успехом неизбежно вырождается в «охоту за орхидеями» (выражение Глеба Алексеева в его романе «Тени стоящего впереди»).

В «Тенях стоящего впереди» Гл. Алексеев дал недостижимый образец мещански-современного романа. В «Повести о ненаписанном законе», напечатанном в данном альманахе, писатель, вращаясь вокруг все той же «проблемной» тематики, попытался философски обосновать любовное человеческое «начало». Повесть, показывающая историю самоубийства девушки, не нашедшей любви, неудачна и по своему внутреннему замыслу и по своей форме, лишенной всяческой отчетливости и цельности. Идея повести — разрыв, дисгармония между индивидуальным и социальным, личным и общественным — не разработана и не раскрыта до конца. Повесть в художественном отношении — одна из худших вещей Гл. Алексеева.

Столь же неудачна и самая значительная по объему вещь в альманахе — роман К. Большакова «Бегство пленных».

Роман Большакова, в центре которого стоит М. Ю. Лермонтов, на первый взгляд как будто выпадает из общего тематического плана альманаха, посвященного «полу и Эросу». Однако, он на деле только дополняет этот «тон»: и углубление в вопросы пола, и историческая тема (в том виде, как она взята Большаковым) — по существу вещи одного и того же порядка. Это — об'ективный результат раз'единения писателя с современностью, с ее тема-

тическим заказом. Необходимо опять оговориться: история, прошлое, как и внутренняя жизнь человека, — не «заповедник» для писателя. Темы недавнего и давнего прошлого еще ждут своего художника. Но художник, берущийся за них, должен принести в их обработку свежесть и остроту современной мысли: он, как человек будущего, должен стоять над прошлым, холодно и строго воссоздавая «связь времен».

Ничего этого нет в «Бегстве пленных».

«Бегство пленных» — только типичный (может быть, частично занимательный) «исторический» роман, остающийся в пределах «легкой беллетристики». Написан он «средне», с необходимым знанием мемуаров, с расчетом на фальшивые, «мелодраматические» эффекты и ничего нового в трагический образ поэта не вносит: роман — вне основного русла современной литературы.

Вне большой литературы находится и весь альманах, не искупаемый наличием в нем крупных имен Вс. Иванова и Артема Веселого. Отрывок из пьесы Иванова не дает возможности судить о целом, и «Домыслы» Арт. Веселого должны быть расценены, как примеры — во многом показательные! — внутренней лабораторной писательской работы.

И только стихи Бор. Пастернака — единственное и настоящее достоинство альманаха: стихи (особенно «После дождя») еще раз доказывают, что Пастернак-лирик непрерывно растет и вместе с тем достигает той внутренней простоты, которая, не нарушая ритмической многосложности, придает слову изумительную силу глубокой впечатляемости.

Хороши — внутренне певучи и живописны — и стихи В. Ильиной.

Но хорошие (и даже замечательные, как у Пастернака) стихи не могут опять-таки оправдать издание альманаха. Он не нужен. Претенциозное же его название, оставаясь на совести составителей, заставляет вспоминать злое и яркое выражение Герцена:

— Названия — страшная вещь!

Сергей Вьюгин.

К. Шильдкрет. — «Гораздо тихий государь». Исторический роман. Изд. «Федерация». М. 1930. Стр. 345. Цена 2 р. 80 к.

Автор пишет о «тишайшем» царе Алексее Михайловиче. На заказной карточке «социального» либретто надеты жидкие холсты наивных, исторически несообразных сцен. «Изобразительный» пустырь — перед глазами читателя. Картины народных волнений, Алексей, Никон, боярское культуртрегерство — все это в плане беспомощного психологизма, в вульгарной манере, расцветаемой то трюком с приклеиванием бороды, то чревоуещанием, то порнографической гнильцой.

Есть и неточности.

Спасских ворот в описываемую эпоху не было: до 1670 г. они назывались Фроловскими; поспешил автор и с колесованьем: этот вид казни был заимствован Петром I у шведов; следует писать: «железа» (оковы), а не «железы»; «гилевщики» — не «денежные бунтовщики», а вообще «смутники», от слова «гиль» — шум; патриарху полагается иметь в руках не палицу (и не оглоблю), а посох. Впрочем, ляпсусов немного. Автор благоразумно избегает описывать быт.

Языковые средства Шильдкрета заставляют поднять вопрос об отношении к архаической лексике и стилизации вообще.

Язык не может быть отлучен от своих корней. Мы пришли на готовое и не говорим: «До нас ничего не было». Все дело в отборе материала, в том, что и как можно из него извлечь.

Что же у Шильдкрета?

На свой «исторический» бульвар он вызывает трансформированную тень п-не Курдюковой. Не видя различия между словарем живого древне-русского языка и косноязычием «памятников духовной литературы», он делает окрошку, путаясь в наклонениях и падежах («пуще лютые огни», «любовью по (?) государю преуспеваю»); словесная его кладка цементируется своеобразными «извиняюсь» и «пока».

Словечки: «покель», «откель», «машенько» — особенно в ходу. Исключительный спрос в авторском обиходе на

«колико». Нельзя не отметить речений, в роде: «Зрачек огонька... обнюхивал... патоку мрака», «дворецкий без живота... лежит» (без признаков жизни), «глаголом письменным запибу» (обругаю), «в другойцы», «чтой-то», «эстолько», «не спокитай», «токомо», «егда», «мгнуть не успел», «слова песни крученной» (кручинной?), «наломил хлеба», «брюзжащее (?) утро», «на прилипшей к щеке рыбной крошке сидела стайка трапезущих (?) мух», «прочь длань нечистую от длани высокородной», «государь, что глядит изо рта (?) Морозова и Милославского»... И так далее, в этом же роде, толико раз, колико страниц.

В заключение — курьез.

Одна из «массовых» сцен управляется возгласом: «Не выдыбай!» У автора это обозначает «не выдай!», т.-е. нечто (если уж приходится сравнивать) совсем противоположное истинному значению. «Выдыбать» — это вынырять, становиться на дыбы, выбираться из топи. («Выдыбай!» — кричал народ идолу Перуна, когда его бросили в воду). Других значений у этого слова нет. Встречается нечто и вовсе нечленораздельное (непригодное даже в отношении заговора): «Тело Маерено (?), печень тезе (?)». Таково лексикальное хозяйство Шильдкрета.

В результате — компрометирование материала и восстановление неискленного читателя против разработок писателями языковых «радиевых руд». А ведь эта наша «лучистая теплота» и так обойдена и забыта.

Георгий Шторм.

Ив. Трусов. — «Собственник». Рассказы. Изд-во «Федерация». М. 1929 г. Стр. 179. Ц. 1 р. 10 к.

Двенадцать рассказов, серых и скучных. Они написаны грамотно, но не волнуют и не запоминаются. Тусклый, невыразительный язык. До-нельзя однообразны эпитеты. Особенное пристрастие питает автор к цвету: черный, белый, синий, желтый, красный. Чередование этих «красок» говорит о безнадёжной ограниченности художественного зрения автора. Да и не только эпитеты — весь словарь Трусова назойливо однообразен. У автора нет ни до-

статочного запаса слов, ни чувства меры.

Название книги — «Собственник». Отбросим кавычки, и перед нами предстанет крестьянин, мечта которого — выбиться в люди, разбогатеть (рассказ «Собственник»), если же судьба скажет иначе и отнимет бедняцкое хозяйство, он станет батраком, а зажиточный восторжествует («Разлад»).

Книжка Ив. Трусова реакционна. Автор игнорирует движущие силы советской деревни. Немощный Аким, которому в семье стало тяжело, ибо жена и дети считали Акима обреченным, не советовались с ним, все делали самостоятельно, не позволил сыну своему Проньке пахать. Едва держась на ногах. Аким оттолкнул Проньку от сохи. В нем заговорил хозяин, подозрительный, никому не доверяющий, даже сыну. Увидав, что «колхозовское поле за лощиной уже вспахано», Аким «вдруг почувствовал какое-то злобное, тревожное отчаяние, тоску, — торопливо обил палицу, дернул за вожжу...» Изнуренный непосильной работой и злобой, он упал, «стало темно...» («До конца»). Быть может, автор хотел показать обреченность «мелкого товаропроизводителя» и наступательное движение коллективного хозяйства? В таком случае его желание — лишь благой порыв; «До конца» — рассказ упадочный: только зубовой скрежет может вызвать у бедняка или середняка нашей деревни колхозовское поле (о последнем, между прочим, всего две фразы), ибо бедняк или середняк (объективно так получается) собственником родился, собственником и умрет.

Трусов рассматривает своих персонажей в плане не общественном, а сугубо индивидуалистическом (наиболее показателен в этом отношении рассказ «Затаенное»). Крестьянином руководят темные силы, он не контролирует их своим сознанием. Отсюда — бессмысленная казнь китайца, заподозренного в убийстве богатея Комова. «Мужик» здесь не то зверь, не то садист («Жертва»).

И настолько несвоеобразна наша деревня в изображении Ив. Трусова, что если бы не упоминание о милиции или

декрете, иногда трудно было бы сказать, когда происходит действие — до революции или теперь. А такую вещь, как «Беда» даже невозможно отнести к какой-либо эпохе. Здесь говорится о беспросветной бедности отца семейства, все голодают, и в заключение издыхает мерин. Над всем «тишина и смерть». Если автор подразумевал деревню царских времен, то произведение его упадочно, оно никуда не зовет. Если нынешнюю — оно может лишь дезориентировать читателя, оно — вредно.

Индивидуалистический психологизм проник во все поры сборника, говорит ли автор о крестьянах, о деятелях ли комсомольской организации («Тяга»). Художественно-посредственная, идейно-реакционная, а потому ненужная, эта книга оставляет безотрадное впечатление.

Борис Гроссман.

Зинаида Рихтер. — «Это и есть Москва». Очерки, зарисовки, заметки. Издательство «Федерация». 1930. Стр. 245. Ц. 2 р. 45 к.

З. В. Рихтер — талантливая журналистка, несомненный (хотя и однообразный) мастер того живописного репортажа, который ставит своей задачей фотографирование и стенографирование текущей, постоянно меняющейся действительности.

Отличительные черты журналистки Рихтер — жадность к событиям, людям и фактам, умение выбрать из цепи явлений необходимое основное звено и, наконец, жанровая живость диалога и тонкая, лепная изобразительность.

В данной книге собраны очерки и фельетоны, печатавшиеся в свое время в «Известиях ЦИК СССР и ВЦИК», как отклики на темы дня. Однако, изобразительные средства З. Рихтер и ее умение отметить в быстротекущей смене дней типовое, показательное сделали то, что фельетоны и очерки оказались не устаревшими и до сих пор.

Основная и единственная тема книги — красная Москва.

Москва показана З. Рихтер со всех сторон, во всей новой многопланности — и на улицах, и в быту, и «на дне», и в ее социальных противоречиях, и в ее незабываемой героике первых лет революции.

В книге есть, конечно, немало незнатного, беглого, но на ряду с этим много, очень много истинно-интересного, впечатляющего, перечитываемого с настоящим волнением. Особенно следует отметить первый раздел книги «На улицах и площадях Москвы», где временами чувствуется подлинная и строгая художественность. Любопытен также и заключительный отдел, показывающий московское «дно»: в этих очерках Рихтер наглядно выявляет свою исключительно-зоркую наблюдательность.

В результате — цельная и нужная книга, мимо которой не пройдет ни будущий историк, ни будущий художник революционной столицы.

Ник. Смирнов.

Иван Рахилло.—«Воспоминания Пушкина». Юмористические рассказы. Рисунки Кукрыниксы. Изд. «Федерация». М. 1930. Стр. 96. Ц. 60 к.

В рассказе «Лирический разговор» автор серьезно, не юмористически обращается к читателю с просьбой высказаться о его книжке. Охотно это делаю.

Уважаемый автор «Воспоминаний Пушкина»!

Смех—большое целебное средство. И чем больше в нем горечи, тем легче дышится после него. Я очень сомневаюсь в таком именно понимании вами смеха: читая, мне приходилось натруженно смеяться и не сразу даже, а после некоторого раздумья, потому что я увидел всю примитивную механику вашего юмора.

В самом деле. Комсомолец по самому званию своему не должен разговляться, а он у вас разговляется. Или вот другое: пионерлагерь живет у вас по инструкции лагерей кавалерийских частей. Здесь хоть «социальные» дурошлепы виноваты во всем, но вот зачем и по какому умыслу поэт Серафим Огурцов—не вымышленная фамилия, а реальное лицо, большой человек,—в дымке ваших «поэтических» воспоминаний вдруг предстает в столь глупом виде? Юмор?

Вы, надо полагать, знаете закон происхождения смеха—это когда образ действия не соответствует обра-

зу смысла. Но вы не знаете, что секрет художественного юмористического изображения заключается не столько в самом факте несообразности, сколько в качестве и глубине несоответствия. Качество же у вас в большинстве случаев плохое, грубое, малочувствительное. Например, куда как легко играть именами и званиями: не поэт Пушкин, а дворник Пушкин! Удивительно, как остроумно!

Хороший юмор требует обыкновенной речи, естественной литературной речи, а у вас «кансамолы идивотские»... Неужели вы не чувствуете, как приелась и надоела «крокодиловская» страсть долбить все по одному и тому же месту: по поэтам-калтурщикам, по непризнанным гениям... Между тем добрая половина книжки отведена этой, с позволения сказать, тематике. Даже недурно сделанная «Сплетня»—и та повторяет привычный репертуар эстрадных юмористов.

Не появившись в книге рассказа «Как делают самоубийц», действительно интересного и свежего, весь сборник вместе с однообразными и художественными рисунками Кукрыниксов можно было бы не издавать.

Я удовлетворил, тов. Рахилло, вашу просьбу писать «без всяких предвзятых мыслей». С почтением

Н. Замошкин.

П. Скосырев. — «В стране белого золота». Изд. «Молодая Гвардия». М.—Л. 1930. Стр. 166. Ц. 1 р. 20 к.

За последние годы интерес к краеведческой литературе непрерывно возрастает. Широкие круги советских читателей хотят получить как можно больше достоверных сведений о жизни народов, входящих в СССР.

О Средней Азии до сих пор нам известно сравнительно очень мало. Мы имеем довольно смутное представление о том, какое огромное значение в экономическом развитии нашего Союза имеют Узбекистан и Таджикистан, какая большая творческая работа по созданию новых форм жизни производится в молодых советских республиках.

Небольшая книга П. Скосырева, посвященная именно этим вопросам, за-

служивает всяческого внимания. Автор, обнаруживающего хорошее знакомство с описываемым им краем, очень мало интересуется специфическая «экзотика» старого, уходящего в прошлое Востока. Читатель не найдет в рецензируемой книге описаний археологических памятников или каких-нибудь легенд о Тамерлане.

Хоть автор не остался равнодушным, подвезая к знаменитому Самаркандскому Регистану, но он не стал тратить много времени на изучение его замечательных построек. Вместо того, чтобы осматривать развалины древнего Мерва и глубокомысленно рассуждать об исторических судьбах исчезнувших культур, П. Скосырев все свое внимание отдал находящемуся рядом совхозу Байрам-Али, хлопковому центру Туркменистана.

Не случайно автору пришлось по душе слова одного культурного узбека из Ферганы, выражавшего недовольство по поводу того, что многие журналисты, вернувшись в Москву, «пишут о старом городе, о мечетях, о пестрых халатах и об ишаках». Этот же узбек недоумевает: «Почему узбеки у них только вешалки для халатов и тюбетеек?.. Ведь тюбетейки и мечети были и сто лет тому назад. А разве мы не изменились?» (стр. 55).

К самому Скосыреву этот упрек неприменим. Именно процесс изменения самых разнообразных сторон среднеазиатской жизни, вытеснение старого быта новым является темой рецензируемой книги. Культурное строительство, индустриализация страны, ирригационные работы, разведение «белого золота» — хлопка, — вот что описывает П. Скосырев в своих очерках.

Автору удается передать увлечение строительством, проявляемое самыми разнообразными слоями населения. Молодой актер — узбек из Ферганы, захлебываясь, говорит о постройке текстильной фабрики; возчик-арбакеш Тия-бай с нетерпением ждет фабрик, автомобилей, электрификации.

Разумеется, читатель не найдет в этой небольшой книге исчерпывающих данных о той громадной и напряженной стройке, которую можно наблю-

дать сейчас в Средней Азии. Сведения, сообщаемые автором, в некоторых случаях неизбежно оказываются отрывочными.

Написана книга живым и образным языком. Несмотря на кое-какие недостатки, она читается с большим интересом.

Виктор Гольцев.

В. А. Поссе. «Мой жизненный путь». Дореволюционный период (1864 — 1917 гг.). Редакция и примечания Б. Козьмина, предисловие В. И. Невского, с портретом автора. «Земля и Фабрика». М.—Л. 1929. Стр. 548. Ц. 4 р.

Книга представляет двойной интерес. Прежде всего, не лишен поучительности и известной показательности для некоторых групп дореволюционной интеллигенции самый «жизненный путь», проделанный автором. Он всю жизнь вращался среди революционеров, имел связи с подпольем, подвергался репрессиям, издавал марксистские журналы, теоретически занимал временами очень левые позиции, но он в сущности не был революционером, и к нему самому как нельзя лучше подходят слова, сказанные им о Короленке: «Его считали революционером, но он по натуре был мирнообновленцем».

Духом прекрасодушия и совсем неревolutionоной терпимости веет со страниц его книги. С годами эти мирнообновленческие тенденции в мемуаристе усилились, и когда, начиная с 1909 г., он стал издавать «Жизнь для Всех», не даром М. Горький с обычной прямотой писал ему (Поссе мужественно приводит это письмо): «...Журналец этот весьма не нравится мне: слишком обилен в нем «толстизм», сиречь — китанизм; сотрудишки частенько потеют лампадным маслом...» Как правильно отмечено в предисловии, автор мемуаров не мог «преодолеть старых интеллигентских идей и переживаний далеких 80-х годов», и революция застала его «на перепутье».

Сделанный совсем не из того теста, из которого делают революционеры, Поссе — типичный просветитель, гуманист. Он всегда чувствовал неодолимую потребность распространять и пускать в обращение новые идеи, а так

как к его времени самой новой и самой передовой доктриной становился марксизм, то он и был одно время виднейшим его пропагандистом: был редактором первых в России марксистских журналов («Новое Слово» и «Жизнь»), неутомимо переводил и издавал марксистскую литературу («Коммунистический манифест», «Женщина и социализм» и пр., и пр.), и если его «жизненный путь» оценивать под этим углом, то заслуги его тут неоспоримы.

Впрочем, «просветительная» деятельность Поссе достаточно известна. Гораздо интереснее поэтому другая сторона его мемуаров — живой и увлекательный рассказ о том, что наблюдал и кого встречал мемуарист на своем долгом пути. А рассказать ему есть о чем. Он знал или просто встречал огромное множество интересных людей, в том числе много исторических людей, как А. Ульянов, Струве, Л. Толстой, М. Горький, Чехов, Гапон, В. И. Ленин, Плеханов, Вандервельде, Кропоткин, Геккель и др.

Когда мемуары насыщены обильным фактическим материалом исторического значения, естественно возникает вопрос: насколько достоверен этот материал. С этой стороны мемуары Поссе производят благоприятное впечатление. Рассказывая о первом свидании с Л. Толстым, мемуарист признается: «Мы беседовали долго, но, странное дело, я совершенно не помню, о чем мы говорили». Кроме того, все важнейшие припоминания точно датированы и часто документированы письмами, хотя бы и малопривлекательными для мемуариста, как, напр., выше цитированное письмо Горького.

Внутреннее сродство с некоторыми пунктами толстовской идеологии заставило мемуариста посвятить Толстому специальную главу. О Толстом так много написано и сообщено, что, кажется, трудно уже сообщить о нем что-нибудь особенно интересное и принципиально новое, и все же некоторые высказывания Толстого, сообщаемые мемуаристом, неожиданны, например: «Я внимательно прочел «Капитал» Маркса и готов сдать по нему экзамен, но... (многозначие мое.—Н. П.) ничего нового я у него не нашел».

Полна захватывающего интереса и чисто драматического движения глава, посвященная гапоновским авантюрам после 9 января, и тот писатель, которому вздумалось бы предпринять художественное воссоздание личности Гапона, отныне не сможет миновать этой главы.

Изучающий внешнюю историю русской литературы найдет в мемуарах немало ценных справок. Благодаря главным образом энергии Поссе вышли в свет отдельным изданием первые «Очерки и рассказы» Горького, «и вместе с тем Горький, — не без гордости замечает мемуарист, — провалился в славе». В «Жизни» была напечатана значительнейшая вещь Чехова — «В овраге» (в одной книжке со статьей В. И. Ленина «Капитализм в сельском хозяйстве» — знаменательное совпадение!); в той же «Жизни» увидела свет «карьерная» повесть Л. Андреева — «Жили-были»; в «Жизни для Всех» начал писать Неверов. В приложениях к заграничной «Жизни» были впервые напечатаны тот перевод «Интернационала», который, — опять не без гордости прибавляет мемуарист, — «сделался официальным гимном и... вот уже десять лет распевается миллионами советских граждан». «Неудачник» в политике, но зато удачливый журналист, Поссе имел на своем веку немало таких местных приоритетов.

Из заграничных впечатлений интересно описание виллы и образа жизни «вождя бельгийских рабочих» Вандервельде, которому, по заключению мемуариста, «живется лучше, чем русскому царю, во всяком случае несравненно спокойнее».

В общем, оценка автора предисловия, что «мемуары В. А. Поссе — полезная и интересная книга», — правильная оценка.

Н. Прянишников.

Н. О. Лернер.—Рассказы о Пушкине. Изд. «Прибой». Л. 1929. Стр. 223. Цена 1 р. 50 к., переплет 20 к.

В названии книги ясно проскальзываетвольное или невольное приспособление к требованиям рынка: «рассказы» Лернера — вовсе не рассказы. Это сборник его статей и заметок на пушкиноведные темы, писанных на

протяжении двадцати, двадцати пяти лет, частью преследующих задачи популяризации трагического материала, частью имеющих узко специальный характер, частью, наконец, представляющих собою простые биографические или историко-литературные «курьезы».

К истории литературы, впрочем, большинство собранных в книге работ имеет отношение весьма отдаленное. Верный традициям академического пушкиноведения, в первую очередь — архивист-комментатор, Лернер питает явное тяготение к биографическим построениям. В центре его исследовательского внимания неизменно стоит не творчество поэта, а его житейская личность или его родственное и бытовое окружение. Последнее опять-таки рассматривается им в плане исключительно житейских знакомств и связей. О взаимоотношениях Пушкина и Грибоедова он рассказывает совершенно под тем же самым углом зрения, что и о взаимоотношениях поэта с своей сестрой, совершенно игнорируя всю принципиальную разнородность обоих этих фактов.

Конечно, биографизм Лернера не следует понимать так, что он пишет только о людях, вовсе не касаясь произведений. Академическое пушкиноведение вовсе не так односторонне и узко. Но о чем бы он ни писал, биографическая тема неизменно тяготеет у него над всем остальным обследуемым материалом. Строфы «Ольга, крестница Киприды» — только исходная точка для биографического этюда об Оленьке Массон, — и ничего больше.

Что касается немногих собственно литературных заметок, то это по боль-

шей части текстовые мелочи, не лишённые, правда, некоторого значения, вполне законные в текстологическом комментарии к той или иной пьесе, но, будучи выделены в самостоятельные этюды, звучащие несколько нижемерно. Довольно пространное рассуждение о том, что, переправляя стих:

Его червонцы пахнуть будут адом
на

Его червонцы пахнуть будут ядом,

Пушкин совершил художественную ошибку. на том основании, что капли ростовщика Товия лишены какого бы то ни было запаха, а ад в христианской эсхатологической традиции действительно представляется местом смрадным, — все это еще терпимо на страницах специальных изданий, но в книге, адресованной не только к специалисту, — совершенно неуместно.

Наконец, какая-нибудь вымученная историко-литературная параллель, в роде сближения сюжета «Евгения Онегина» с сюжетом одной близкой по времени рылеевской повести, — предел научных исканий Лернера, высшая ступень, подняться еще выше которой он не в состоянии, оставаясь в пределах избранной им литературно-исследовательской манеры.

Вывод: в книге Лернера собрано около тридцати разнообразнейших заметок. Часть их может быть использована специалистом-пушкиноведом в практической научной работе. Рядовому читателю, которого книга может заинтересовать своим несколько двусмысленным названием, мнимые «рассказы» Лернера не дадут ничего ни уму, ни сердцу.

И. Сергеевский.